ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ

УТВЕРЖДЕНИЕ ЕВРАЗИЙЦЕВ

КНИГА VII

1931

Евразийские издания

* 1) Исход к Востоку. Предчувствия и Свершения. Утверждение Евразийцев. Изд. 1921 г. 125 стр. долл.

2) На путях. Утверждение Евразийцев. Книга вторая. Изд. 1922 года. 356 стр. 0.60

* 3) Евразийский Временник. Книга третья. Изд. 1923 года. 174 стр.

4) Евразийский Временник. Книга четвертая. Изд. 1925 года. 445 стр. 1.25

* 5) Евразийский Временник. Книга пятая. Изд. 1927 года. 304 стр.

6-9) Евразийская Хроника. Выпуски I-IV (литографован. издание). Прага 1925. Четыре выпуска . . 1.00

* 10-15) Евразийская Хроника. Под редакцией П. Савицкого, Париж 1926-28. Выпуски V-X.

16) Россия и Латинство. Сборник статей. Изд. 1923 г. 219 стр. 0.50

* 17) С. Франк. Религия и наука. Издание 1925 года. 24 стр.

18) Л. Карсавин. О сомнении, науке и вере. Три беседы. Изд. 1925 года. 32 стр. 0.25

19) И. Р. Наследие Чингис-Хана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока. Изд. 1925 года. 60 стр. 0.45

20) А. Хомяков. О церкви (с примечаниями и предисловием Л. Карсавина). Изд. 1926 г. 89 стр. 0.45

21) С. Франк. Основы марксизма. Изд. 1926 года. 50 стр. 0.25

22) Комплектование Красной армии. Изд. 1926 года. 78 стр. 0.45

23) Евразийство. Опыт систематического изложения. Изд. 1926 г. 74 стр. 0.25

24) Л. Карсавин. Церковь, личность и государство. Изд. 1927 г. 30 стр. 0.10

* 25) Н. Алексеев. На путях к будущей России. Советский строй и его политические возможности. Изд. 1927 года. 76 стр.

ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ

СТАТЬИ: Н. Н. АЛЕКСЕЕВА, Я. А. БРОМБЕРГА, Г. В. ВЕРНАДСКОГО, Н. А. ДУНАЕВА, В. Н. ИЛЬИНА, П. В. ЛОГОВИКОВА, С. ЛУБЕНСКОГО, И. САВЕЛЬЕВА, П. Н. САВИЦКОГО, Э. Д. ХАРА-ДАВАНА, В. ЧУХНИНА, К. А. ЧХЕИДЗЕ.

ИЗДАНИЕ ЕВРАЗИЙЦЕВ
1931

Эта книга выходит в свет в те дни, когда исполняется десятилетие общественного существования евразийства. Две из ее статей посвящены обзору этого десятилетия («В борьбе за евразийство» П. Н. Савицкого и «Евразийская библиография» С. Лубенского). Книга, как целое, имеет своею задачей продолжить традицию научных изданий евразийцев (традицию «Временников»). Эта специальная ориентация книги определяется ее функцией в общей системе евразийской работы. Как раз в те же дни, когда выходит книга, произойдет Первый Съезд Представителей Евразийских Организаций, одной из целей которого является максимально четкое выявление политической линии евразийства, в условиях переживаемого момента.

Итак, книга эта есть камень, в ознаменование десятилетия евразийства. Но преимущественная обращенность ее — не к прошлому, но к будущему. Это выражено и в ее заглавии. «Тридцатые годы» указывают на новую эпоху, в которую в настоящее время вступает Россия, а вместе с нею и евразийство. Евразийцы не сомневаются, что мы накануне нового перелома. Несмотря на то, что «пятилетка», в значительной мере, удается — или, быть может, именно благодаря этому, долго так продолжаться не может. Лихорадка пятилетки, в очень многих отношениях, есть лихорад-

на творчества и роста. Но она слишком изнурительна, и в экономическом, и в психологическом смысле, чтобы страна могла долго ее выдержать. К тому же, творческий заряд пятилетки ненужным образом осложнен бесцельным и жестоким разрушением. Произведенные разрушения отнюдь не помогают преодолению трудностей. Реакция не замедлит сказаться. В течение ближайших лет, а может быть даже и ближайших месяцев, постепенным процессом или мучительным параксизмом, лихорадка «строительства» сменится периодом покоя и собирания новых духовных сил. Свой тактический и стратегический план евразийцы ориентируют на завоевание новых позиций в обстановке исторического периода «после пятилетки».

В данном случае речь идет о научной и миросозерцательной стороне вопроса. Евразийство *уже* оказало влияние на русское самопознание и самосознание. Дело заключается в том, чтобы расширить и оформить это влияние. О путях такого расширения и трактует статья сборника, посвященная «Научным задачам евразийства». Далее намечаются конкретные задачи в отдельных отраслях и разделах россиеведенья («очередные задачи правоведенья» Н. Н. Алексеева, статья И. Савельева о евразийской трактовке русской фольклористики, заметки д-ра Эренжена Хара-Давана по вопросам кочевниковеденья, постановка К. А. Чхеидзе евразийских геополитических проблем и т. д.). П. Н. Савицкий, в своей статье, продолжает построение евразийской концепции географии России.

Работа во всех этих направлениях в результате своем приводит к установлению научных истин; но не только к нему. Как это часто бывает в науке, она есть, в то же время, *творчество живой жизни*. Евразийцы стремятся положить основания самосознанию евразийских народов, как «симфонической личности». Эта личность рождается в историческом процессе. Но только в определенных идеологических положениях, и в том числе — в идеологии евразийства — она *осознает* свое бытие.

Особая статья («Еврейское восточничество» Я. А. Бромберга) посвящена в сборнике месту и роли в общем деле Россиизации Евразии еврейского народа, имеющим совершенно исключительное значение как в силу единственности и неповторимости

судеб этого народа, так и в силу того, что основная масса восточного еврейства проживает на чрезвычайно существенном стратегическом и культурно-историческом рубеже — на границе Евразии и Европы.

Евразийцы твердо уверены, что круг сознания евразийских народов не может быть ограничен положениями марксизма и ленинизма, к которым хочет свести в настоящее время интеллектуальную работу этих народов коммунистическая партия. В самом марксизме заключаются основания *для выхода за пределы марксизма*. На это указывают статьи В. Н. Ильина («Под знаком диалектики») и П. В. Логовикова («Власть организационной идеи»). Более того: евразийцы предвидят, что марксизм перейдет на почве Евразии в свою противоположность, материализм сменится утверждением решающей роли организационной идеи. В этом — одна из сторон того «эйлократического преображения науки», о котором говорит В. Н. Ильин.

Евразийцы противоборствуют марксизму-ленинизму. Но с тем большим рвением они желают изучить эти явления, оказавшие и оказывающие столь большое влияние в жизни Евразии. Евразийство в полной мере отдает себе отчет в том, что создание самостоятельного евразийского марксизмо,- и ленинизмоведенья является одной из необходимых предпосылок для преодоления марксизма. В этой связи, можно определить, как большую задачу евразийской науки, написание проводящей евразийские точки зрения *истории русского революционного движения*, а также, в частности, евразийской биографии Ленина. Первый шаг в этом направлении составляют помещаемые в этом сборнике «Заметки о Ленине» Г. В. Веркадского, рассматривающие учение Ленина об империализме — одно из тех, где с наибольшею силой выразился острый взгляд Ленина и присущее ему чутье реальности.

Так складываются в определенную систему отдельные, посвященные различным вопросам статьи этого сборника. Мы сказали уже, что не политическое, *а духовное* боренье, не публицистический задор, а научная истина является его основным стержнем. Книга эта, по мысли евразийцев,

должна быть знаком, что они неустанно ищут и идут вперед по путям познания России; что в искании этом они охватывают всё новые и новые отрасли, непрестанно расширяют свои духовные горизонты (намеченный в сборнике диалектический переход от своеобразно-евразийского, на основе его, — к универсально-вселенскому). Но раскрытие проблем было бы неполным, если бы в книге этой не была поставлена во весь рост проблема личности. Вся идеологическая система евразийства может быть выведена из идеи личности: идея Личного Бога, идея России-Евразии, как «симфонической личности», идея личности, как творца жизни. Вне идеи личности не осуществимо и религиозное преображение жизни, к которому стремится евразийство.

В предлежащем сборнике к проблеме личности восходят статьи: «Время, культура и тело» В. Чухнина и «К учению о объективном праве» Н. Н. Алексеева. — Евразийцы не только не отвергают объективной (предметной) культуры, но с величайшею силой утверждают ее значение и заняты ее организацией. Но они отрицают засилие объективной культуры над личностью. Они обращаются к основным, не связанным с вещной культурой творческим истокам личности. В этом обращении — внятный для евразийцев смысл статьи В. Чухнина.

Н. Н. Алексеев к тому же вопросу подходит с другой стороны. Он протестует против теории права, игнорирующей в праве личность, не прощупывающей той его стороны, которая утверждает личность, вооружая ее «правомочием». Право есть совокупность правомочий — таков основной тезис Н. Н. Алексеева. — Тезис этот — чисто теоретический. Но он имеет и огромное практическое значение. С особым ударением его нужно выдвинуть именно теперь, когда личность в СССР лишена всяких «правомочий».

Евразийская борьба есть борьба за личность: но не за самостную уединенную личность индивидуалистов, а за личность, соучаствующую в общем деле. Жизненный символ общего дела есть строительство, его церковный символ — соборность.

И личность есть та идея, которая сопрягает во едино от-

дельные статьи сборника. Россиеведческие его статьи посвящены изучению различных сторон в бытии «симфонической личности» России-Евразии. Другие его статьи показывают, как идея личности прокладывает себе путь и сквозь отрицающую ее систему марксизма. Наконец, только что названная группа их утверждает личность в философии и праве.

Но как идею «правомочия» сочетать с идеей общего дела? Разрешению этой проблемы, в чисто юридических терминах, и посвящена, в значительной степени, статья Н. А. Дунаева о видах правомочия. Выход из кажущегося противоречия — в установлении понятия «служебного» права. Здесь личность действует не в собственном интересе, но в интересе других лиц; используя такое право, она приобщается к «общему делу». Современность есть эпоха расширения области «служебных» прав. Прослеживая, как порядок «служебного права» получает всё более и более существенное применение в экономической жизни, Н. А. Дунаев, в своей статье, бросает, тем самым, канаты к политико-экономической программе евразийства, подробное развитие которой выходит, однако, за пределы этого сборника.

Сборником этим евразийство вступает во второе десятилетие своей жизни. Мы не говорим здесь о тех практических задачах, которые ставило и ставит себе евразийство. В чисто идеологической области оно может с удовлетворением оглянуться на прошлое.

Но даже малейшая доля самодовольства была бы гибельной. Власть будущего — вот та власть, которой должно быть покорно евразийство, входя в тридцатые годы.

В БОРЬБЕ ЗА ЕВРАЗИЙСТВО

ПОЛЕМИКА ВОКРУГ ЕВРАЗИЙСТВА В 1920-ЫХ ГОДАХ

I.

1920-ые годы кончились. Тридцатые годы ставят перед евразийством новые и настоятельные задачи. Обращаясь к их разрешению, полезно не забывать и прошлого. Настоящий очерк анализует это прошлое, в одной из его сторон. Во все минувшие годы евразийцы воздерживались от полемики. Этого правила они придерживаются и ныне. Все последующее написано отнюдь не для полемики. Но для того, чтобы на фоне прошлого и на основе его вывести у р о к и н а б у д у щ е е. К тому же, в настоящее время, в идеологической области, ясно многое такое, что было менее ясно в прошлые годы.

Библиографическая сторона этого очерка, ни в одном из отделов, не претендует на исчерпывающий характер. В частности, оставлены в стороне (за несколькими исключениями) отклики на евразийство, появившиеся в Советской России.

Первый евразийский сборник вышел в свет в начале августа 1921 г. Первые статьи о евразийстве были напечатаны в начале сентября того же года. Авторы статей не во всем соглашались с евразийцами. И все-таки, их рецензии имели скорее характер приветствий, чем критики. *И. Н.* писал в софийском издании «Зарницы»[1]): «общий дух сборника, подкупающее воодушевление авторов, объединившая их идея — безусловно симпатичны... книга расшевеливает читателя... и предостерегает общественную мысль, склонную не столько ориентироваться на новых, сколько окапываться на старых позициях, от явно угрожающего

1) No 21, 4 сентября 1921 г.

ей окаменения и измельчания». В том же духе высказывался *В. Татаринов* — в рецензии, помещенной в берлинской газете «Руль»[4]: «во всей книге чувствуется биение живой, пробуждающейся национальной мысли, которая теперь загорается повсюду — и в придавленной, рабской России, и в чуждой, холодной Европе... Что касается до общего значения идей и лозунгов, проповедуемых «евразийцами», то оно, конечно, несомненно и велико»[5]. Еще более показательна статья *И. Гессена* «Знамения», появившаяся на несколько дней позже в той же газете[4]. В ней автор рассматривает вышедшую в свет незадолго перед тем «Переписку из двух углов» В. Иванова и М. Гершензона: «Я предвижу, что отмеченная выше исключительность условий, в которых приведенные проникновенные строки написаны, может послужить доводом в пользу того, что такое настроение случайно, не показательно. Не стоит об этом спорить, потому что предо мною другое доказательство, не только решающее, но волнующее до глубины души... Я имею в виду отмеченный уже в «Руле» сборник «евразийцев» «Исход к Востоку». Беззаветно верящие в Россию, проникнутые религиозным пафосом, эти выразители молодой русской мысли не только высказывают те же взгляды, но — что действительно до загадочности поразительно — говорят одними и теми же словами... Ни большевистский режим, с одной стороны, ни бездомное скитание на чужбине, с другой, не помешали разъединенным представителям русской интеллигенции слиться мыслью и словом в одном устремлении... дух русской интеллигенции остался свободным, непорабощенным страшным гнетом, разрушившим так много культурных ценностей».

В истории евразийства «идиллия» продолжалась не долго.

Лавры первого, выступившего в печати хулителя евразийства принадлежат *Петру Рыссу*. Впрочем, хула его была голословна. В статье о «Смене вех», говоря о событиях нашего времени, он обронил следующую фразу: «Быть может, потому, что мы живем в этих событиях, что мы участвуем в них, нет оснований надеяться, что в этой сумятице может родиться новое «слово». И потому так печально-претенциозна тоненькая книжка «евразийцев» («Исход к Востоку»), кокетничающих обломками идей 40-ых годов»[5].

2) «Руль», No 243, 4 сентября 1921 г.

3) Такого же характера рецензию *В. Т.* поместил в No 166 берлинской газеты «Время» от 5 сентября 1921 г. К этому же циклу относится рецензия *В. Воути* в гельсингфорской газете «Новая Русская Жизнь» от 9 октября 1921 г. и т. д.

4) «Руль», No 255, 18 сентября 1921 г.

5) Статья «Без вех», «Последние Новости», No 439, 21 сентября 1921 г.

С конца сентября 1921 г. стал складываться анти-евразийский фронт в эмигрантской печати. — Далеко не все статьи, относящиеся к этому циклу, отвергали евразийство начисто. Наоборот, многие из них подчеркивали согласие с евразийцами в тех или иных пунктах. Но центр тяжести лежал в критике.

К. Мочульский, в противоположность евразийцам, не верил в творческие силы русского народа. Он говорил следующее: «Вместо горького питья правды — снова «вкусный лимонад» беспочвенных самообольщений. Мы знаем, чего не хотел, чего не принимал, чего не усваивал народ — все «не» и ничего положительного. Мы знаем его ненависть к формам жизни (все равно к государственным, общественным, культурным), к укладу, к «организации», ко всякому становлению. Мы знаем глухое недовольство (страшное «безмолвие») народа и открытый мятеж. Мы знаем, что в никаком земном творчестве народ не участвовал, никакой воли, кроме воли к небытию не проявлял. Какое же право имеем мы предписывать ему какую-то новую культуру и гадать об экономическом положении будущей России, в связи с мировым рынком?»[6].

Вот нигилизм — более полный и более существенный, чем нигилизм коммунистический! И это печаталось в «Общем Деле» В. Бурцева. И с таким мировоззрением надеялись одолеть коммунизм. И полагали, что подобные воззрения могут подвинуть на действие кого бы то ни было, кроме отъявленных и безнадежных слуг ненависти и мести.

К. Мочульскому остались, видимо, чужды сокровища русского фольклора, созданные под непосредственным влиянием народного коллектива (см. хотя бы печатаемую евразийцами статью *И. Савельева*: Своеобычное в русской фольклористике). Для него невнятны те полные глубокого смысла «формы жизни», о которых рассказывает русская этнография. Ему не было известно беспримерное во всемирной истории колонизационное дело русского народа, народное стихийное дело — выражение непреодолимой воли к бытию. А в экономической области — даже то, что было сделано русским народом (и другими народами Евразии) в 1920-ых годах — разве это не оправдывает полностью евразийских «гаданий» 1921 г. об «экономическом положении» России?

На истории русского нигилизма, одним из проявлений которого являлось выступление *К. Мочульского*, нужно учиться трезвому и творческому оптимизму.

Ряд авторов отнесся в особенности критически к религиозно-богословскому устою евразийства. *Марк Слоним* свою статью

6) Статья под заглавием: Будущая культура России, в газете «Общее Дело» (Париж), No 436, 26 сентября 1921 г.

заканчивал следующими словами: «особые пути» культурного и исторического развития России пройдут не там, где их предчувствовали религиозные идеалисты и славянофильские эпигоны»[7]). — *Б. Шлецер* заявлял: «...когда утверждают, как факт, «расцвет богословской мысли», когда говорят, что «православное богословие ... накопило в своем существе неоценимые дары мудрости и откровения...», тогда мы вправе требовать от автора, чтобы от общего он перешел к конкретному, чтобы указал он нам на частные, отдельные примеры, на события и реальные явления»[8]). Таких указаний в евразийском сборнике *Б. Шлецер* не находил. — *Б. Мирский* (г. Миркин-Гецевич; не смешивать с Д. П. Святополк-Мирским, в иностранной печати подписывавшимся: Д. С. Мирский) в статье «Смиренные скифы» с явным неодобрением говорил о евразийцах: «Они зовут не к политическому совершенству, не к заветам современной демократии, а к вере, вещают о грядущей «эпохе веры»[9]).

Свои критические опыты *Б. Мирский* продолжил на страницах «Еврейской Трибуны» (Париж). Здесь он приходил к заключению, что «путь обязательный, единственный и для русского еврейства — не Евразия, а Европа ... мне приходилось несколько раз намечать некую обобщенную еврейско-демократическую точку зрения в проблеме русского национального сознания; мне приходилось указывать, что в силу целого ряда причин еврейство русское всегда пойдет с Западом, и в общерусской жизни творческое западничество еврейства должно сыграть немаловажную роль»[10]). — К настоящему времени (1931 г.) еврейство дождалось опровержения этих положений. Только что приведенному тезису (быть может и не зная его) противопоставил прямо обратную программу единоплеменник *Б. Мирского*, обладающий не меньшим, чем он, публицистическим темпераментом, *Я. А. Бромберг*: «Восточному еврейству пришла пора отказаться от роли равнодушного зрителя по отношению к ходу и исходу великого противоборства восточных и западных начал... И жертвы (имеются в виду события 1917-21 гг. на Украйне, в Бессарабии и Галиции. *П. Н. С.*) и зрелище бесславного угасания западного еврейства в мертвой трясине уравнительно-демократической пошлости должны побудить нас произвести твердый и недвусмысленный выбор, должны обратить наши взоры опять к вечно немеркнущему свету с Востока, ныне восиявшему с костра самозаклания России... В данном

7) Газета «Воля России» (Прага), No 318, 29 сентября 1921 г.
8) Статья «Евразийцы», «Последние Новости», No 474, 1 ноября 1921 г.
9) Газета «Голос России» (Берлин), No 796, 23 октября 1921 г.
10) Статья «Европа и Евразия», «Еврейская Трибуна», No 98, 10 ноября 1921 г.

конкретном случае можно уповать, что в евразийской концепции впервые получит органическое осмысление роковое, исполненное мистической и онтологической значительности сплетение судеб народа, пронесшего через века живое ощущение мессианского избранничества, с великой страной, в наши дни возложившей на себя, перед лицом духовно скудеющего и погибающего человечества, тяжкое бремя вселенского призвания, в основных своих устремлениях выходящего за пределы чисто мирских планов и перспектив в область иного, чаемого царства»[11]).

Выставим же четкое евразийское утверждение: «Европа» не есть «единственный» путь для русского еврейства. И западничество не есть единственная для него возможность. Возможно и необходимо появление и развитие еврейского в о с т о ч н и ч е с т в а . С восточничеством этим евразийство должно быть в сотрудничестве и союзе.

На нечто подобное указывала уже статья *С. Полякова-Литовцева* в одном из номеров «Еврейской Трибуны»[12]). Полемизуя с *Б. Мирским*, автор спрашивал: «...если Европа и еврейство, действительно, к а к б ы п р и к о в а н ы к т а ч к е р а ц и о н а л и з м а ... почему России не искать особых от Европы путей во имя п р о с т о й с в о б о д ы д у х а , во имя великого права «самоопределения» и выбора?... Беда не в том, что евразийцы «взыскуют града нездешнего» — это явление положительное. Без него «град здешний» очень уж плосок и скучен. А в том, что, уносясь мечтою в «высшие планы», эти люди имеют склонность квиетически мириться с неправдами, уродствами и мерзостью нашей «юдоли» ... Мы (т. е. евреи)... в крайности не впадаем. Мы твердо помним о земле даже тогда, когда стремимся к небу. Мы твердо верим, что правда в сочетании двух градов, здешнего и нездешнего, и мечтаем о чудесной лестнице между землей и небом». *С. Поляков-Литовцев* возводил на евразийцев напраслину, говоря об их «квиетическом примирении» с неправдами, уродствами и мерзостью. Но указание это в его статье производило впечатление формального отвода, расчитанного на то, чтобы не разойтись начисто с сотрудником по журналу (*Б. Мирским*). Положительные же его утверждения вполне согласуемы, в данном случае, с принципами «еврейского восточничества»; и суть просто евразийские положения[13]).

11) Евразийский Сборник, кн. VI, 1929, стр. 46.
12) No 103, 15 декабря 1921 г.
13) По тону несколько похожа на выступление *С. Полякова-Литовцева* статья *Л. Неманова*: Новый мессианизм (газ. Время, No 819, ноябрь 1921 г.). В ней говорится: «Надо действительно понять, что Россия не совсем Европа и не совсем Азия, что у России имеются свои особенности». Тут же утверждается: «формы политической жизни, выработанные мировой политической мыслью и миро-

Сказанное в достаточной степени характеризует те основания, на которых покоилась полемика с евразийством в эмигрантской печати в конце 1921-го года. Это были: отрицание религиозной сущности и религиозного призвания России; неверие в творческие силы «народа». Возражения эти имеют для евразийцев не только исторический интерес. И сейчас они не лишены актуальности.

Тридцатые годы начались в России в обстановке некоторых материальных достижений, и еще бо́льших страданий, и небывалых по настойчивости попыток угашения духа. В этих условиях евразийство должно с новою силой и в новых формах утверждать и утвердить непреходящесть религиозного начала и подлинность религиозного призвания России. В начале 1930-ых годов — так же, как это было в начале 20-ых, оно должно поднимать горение веры и вселять убеждение в неистощимости творческих сил евразийских народов. Угашатели духа невластны над духом.

***

Первая статья о евразийстве не на русском языке *появилась, насколько нам известно, в болгарском журнале «Везни» 22 октября 1921 г. Она заканчивалась следующими словами: «Хаос... родит звезду. И ее сияние еще поведет быть может весь мир к новым пределам, к новому Вифлеему, где рождается Дух. Россия несет новое Евангелье миру»*[14]). Первенство в данном случае болгарской печати объяснялось, конечно, тем обстоятельством, что «Исход к Востоку» был издан в Софии[15]). Вообще же, по части евразийствоведения, славянская печать оказалась, вначале, впереди романогерманской. В январе-феврале 1922 г. наиболее серьезные (из иноязычных) статьи о евразийстве были опубликованы в чешской печати.

вым политическим опытом, могут быть общими для всех... Русской интеллигенции придется отказаться б. м. от многих романогерманских представлений, но не от идей материальной и политической культуры». — Если под «материальной» культурой подразумевать технику, то относительно нее это положение бесспорно. В области же социального и политического строя евразийцы отстаивают необходимость *своих путей*.

14) Статья «Утвержденіе евразійцевъ» за подписью *Т.*, «Везни», год III, No 2.

15) Другая болгарская статья о евразийстве принадлежит проф. *Ст. Младенову* (Национализъм, култура и човещина, журнал Съвременник, 1922, январь-февраль, стр. 290-299). Бо́льшая ее часть посвящена изложению статьи *Н. С. Трубецкого* «Об истинном и ложном национализме», применительно к условиям жизни балканских народов.

В некоторых отношениях имеет самостоятельное значение статья *Франтишка Кубки* «Евразизм», появившаяся в газете «Венков»[16]). В ней евразийство сопоставлено с некоторыми мало известными в Европе, но во многих отношениях созвучными ему явлениями русской культурной жизни в Харбине (*Ф. Кубка* как раз перед тем приехал в Прагу с Дальнего Востока) — так, напр., с содержанием журнала «Окно», выходившего в Харбине в ноябре-декабре 1920 г. Заключение *Кубки* — такое: «по сравнению с царистическим характером старого славянофильства, приятно поражает народный облик концепции евразийства. К романогерманскому западу (в смысле культурном) оно причисляет и нас, чехословацких славян, и не неправильно... За нами остается в будущем положение моста между романогерманцами (романоанглосаксами) и Россией. После революционной бури большая часть евразийской программы, очевидно, осуществится. Связи крови и симпатии сердца тем сильнее связывают ... европейскую сторону России с нами, что для нашего будущего существование России-Евразии желательней, чем существование реакционной России или иной немецкой колонии».

Еще обстоятельней, чем статья *Ф. Кубки*, была работа, подписанная инициалами *Н. В.* и помещенная в чешской газете «Трибуна» под заглавием: «Евразия, евразийцы и евразийство»[17]). Работа эта принадлежала перу известного украинского деятеля, уже в течение многих лет живущего в Праге. В ней почти целиком переведен на чешский язык ряд статей «Исхода к Востоку». Евразийство названо «достойной внимания и весьма незаурядной попыткой создать новую русскую национальную философию». Во многих местах указывается на ценность отдельных статей, на богатство и оригинальность мыслей и пр. — Критике подвергнута формула «отвержения социализма и утверждения Церкви» («Исход к Востоку», стр. VI). По мнению *Н. В.*, она показывает, что «евразийство не уразумело основ мирового социализма, неправильно отождествляя его с большевизмом, который в московской коммунистической практике представляет собою попрание действительного ... социализма, как неизбежного пути к разрешению социальной проблемы нашего времени».

В 1931 г. мы можем точнее определить наше отношение к социализму, чем мы могли сделать это в 1922 г. Вопросы общественного устройства мы не сводим исключительно к вопросам устройства политического и экономического. Исповедуя религи-

16) «Венков» (Прага), No 14, 17 января 1922 г.

17) «Трибуна» (Прага), NN от 11,16,23 февраля и 8 марта 1922 г.

озные начала, мы утверждаем философию подчиненной этим началам политики и экономики, тем самым чуждую философии социализма, в его наиболее характерных проявлениях. Но поскольку социализм, в жизненном осуществлении, преобразился в этатизм (развитие государственного хозяйства) — его устремления созвучны устремлениям евразийцев. И конечно же — наш этатизм радикальнее, чем этатизм и тех европейских «социалистов», которые вообще его признают, радикальнее в том смысле, что охватывает более широкие сферы хозяйственной жизни [18]). Радикальнее и наше понимание планового хозяйства. Интересы трудящихся мы почитаем *своими* интересами. По сравнению с евразийской государственно-частной системой, тот строй, к которому европейские социалисты прикладывают свою руку, является господством капиталистических начал. Термин социализм, в его европейском понимании, не достаточен для обозначения социальной сущности евразийства. С одинаковым правом можно сказать, что мы *отвергаем* социализм и что мы являемся *сверх-социалистами*.

Н. В. был основоположником того цикла обращенной на евразийство критики, который мы назвали бы циклом «сепаратистским» — т. е. критики евразийства с точки зрения групп, стремящихся к отделению от евразийского единства: «восточно-европейские народы западной периферии нашего континента, а именно вокруг-балтийские и припонтийские, слишком тесно связаны ... в своем культурном развитии с европейским Западом, чтобы стать поборниками евразийства ... евразийство, как попытка национального самоопределения великороссов, имеет шансы на будущее, поскольку же оно будет пониматься, как движение *всероссийское*, в довоенном объеме и смысле этого понятия, оно несомненно потерпит неудачу. Чтобы жить, оно должно быть верно своей ориентации — на Восток, и не смеет косить глазами на Запад, где также живут восточные народы, но с европейской культурной ориентацией». — Нет сомнения, что здесь в первую очередь подразумевается *Украйна*. Определение «Исхода к Востоку», как «попытки национального самоопределения великороссов» курьезным образом сталкивается с тем обстоятельством, что из *четырех* авторов «Исхода» *три* (Флоровский, Сувчинский и Савицкий) тесным образом связаны с Украиной. Если учитывать происхождение авторов и питавшую их культурную традицию, то евразийство окажется явлением в такой же мере *украинским*, как и *великорусским*. Правда, один из новейших украинских критиков евразийства — *О. Мицюк* — в брошюре своей, вышедшей в свет в середине 1930-го года, [19]) желает отсечь от украинской традиции всех украинцев, стоящих не на сепаратистской точке зрения: «Нам байдужа та «інтелігенція України», про яку говорить Трубецкой і до якої належить чимало ідеольогів евразійства; ця інтелігенція, виконуючи русифікаторське діло, безповоротно «оптірувала» московську культуру». Перейдем от малого к большему: будучи последователен, *Мицюк* должен отсечь от украинской традиции и Гоголя — так как, в его терминах, и Гоголь «оптировал» «московскую культуру»; иными словами, он должен *обезглавить* свой народ, лишить его первого, по значению, народного гения. Украинцы-евразийцы хотят сохранить Гоголя в украинской традиции. И не могут не ощущать этой традиции в себе самих. Им нечего «косить глазами» на Украину. Они могут смотреть на нее прямо. И непреклонна их уверенность, что в исторической перспективе дело их удастся *во всеевразийском масштабе*, т. е., в частности, применительно не к одному, но ко всем племенам восточного славянства.

Труд *Н. В.* был переведен на хорватский язык и напечатан в ряде номеров загребской газеты «Речь» [20]).

Наиболее ранняя известная нам *польская* статья о евразийстве появилась в варшавской газете «Роботник» от 26 февраля 1922 г. Для автора этой статьи — *Казимира Чапинского* — евразийская идеология — это только маски, под которыми создается «новое национальное самосознание новой России, буржуазной, провозглашающей капитализм, православие, войну с социализмом, национализм и империализм». Подобные поспешные и в существе не правильные (поскольку касаются *империализма, капитализма и буржуазности*) обобщения сделали традицию в польском евразийствоведении. Однако, нельзя утверждать, чтобы польское евразийствоведение сводилось *только* к таким обобщениям (см. ниже).

Первые, по времени, статьи о евразийстве в романогерманской печати были писаны русскими авторами. Сюда относятся, между прочим, статьи в журнале «Russian Life» [21]) и в литературном приложении «Times» (No 1063). Одна из них подписана *Д. С. Мирским* (Д. П. Святополк-Мирский). Названные

18) Однако, хотим подчеркнуть уже здесь, что и мы отнюдь не понимаем государственного начала как *всеохватывающего* и *всеопределяющего* принципа.

19) Евразійство, Прага 1930.

20) «Rijeć», NN от 18, 25 февраля 1922 г. и сл.

21) A review of facts and documents relating to the russian situation, No 6, February-March 1922.

статьи отличаются в невыгодном смысле от всех вышецитованных допущенными в них фактическими ошибка.

Гораздо основательнее и точнее данные французской статьи *В. Никитина* о русской эмиграции, в которой несколько страниц посвящено евразийцам[23]).

Большой напряженности полемика с евразийством достигла в эмигрантской печати в январе-феврале 1922 г. Застрельщиком, на этот раз, явился сотрудник «Руля» *Г. Ландау*. По характеру своему, выступления эти были предвестием позднейших выпадов по адресу евразийства со стороны «активистов» и «николаевцев». «Сквозь пестроту составных частиц» евразийства *Г. Ландау* пытался «определить его подлинную пружину». «Она — не в антропогеографической теории, не в религиозном устремлении, не в национальной тревоге; она — в *бездейственном* (курсив наш, *П. Н. С.*) самоутешении».—В 1925 г. *А. А. Кизеветтер* был по этому поводу иного мнения: «Евразийство вовсе не так невинно, как кажется с первого взгляда. Со временем из него могут вылупиться чисто-практические выводы и действия (курсив наш, *П. Н. С.*), далеко не безразличные с точки зрения актуального общественного поведения»[24]).

Выступления *Г. Ландау* не воспрепятствовали распространению евразийства. И уже в том же 1922-ом году — в журнале «Новый Восток», появление которого сделало эпоху в истории русского востоковедения, руководящая статья редактора журнала, покойного *М. Павловича*, стояла под знаком евразийства: «вся современная Азия является для нас терра-инкогнита ... А между тем, с недавнего времени Россия называется Евразией (Европой-Азией) и, действительно, ни одна страна европейского континента не связана, даже в самой малой степени в экономическом, политическом и духовном отношениях, так глубоко с Азией и со всем Востоком, как современная Россия ... Современная Россия-Евразия — это прежде всего учитель, руководитель стонущего в цепях духовного и экономического рабства, борющегося за лучшее будущее Востока»[25]).

Евразийство упоминается в предисловиях к ряду книг, появившихся в течение 1920-ых годов и имевших то или иное

22) Так, напр., мысли, высказанные *Н. С. Трубецким* в «Исходе к Востоку», отнесены здесь к «Европе и человечеству» (1920); термин Евразия неправильно приписан *Ламанскому* и т. д.

23) B. Nikitine. L'émigration russe, Revue des sciences politiques, Avril-Juin 1922, p. p. 209-212.

24) Статья «Евразийство», Руль, No 1247, 10 января 1925 г.

25) Статья: Задачи Всероссийской Научной Ассоциации Востоковедения, «Новый Восток», книга I, Москва 1922, стр. 10-11.

отношение к востоковедению. Обращается мыслью к евразийцам *Всеволод Никонорович Иванов* в предисловии к книге «Мы»[26]): «Движение Евразийцев должно быть приветствуемо всеми любящими свою страну русскими людьми. Из их исследований веет душистостью степей и пряными запахами Востока. Они правильно вносят поправку в дело славянофилов, ища на Востоке того, чего не хватало Аксакову, Хомякову, Конст. Леонтьеву, чтобы обосновать наше отличие от Европы. Только перетряхивая полным пересмотром историю Востока, найдем мы самих себя». Далее следуют возражения: «Но почему это должно быть движением Евр-Азийским, а не просто Азийским, вот чего я не могу понять ... культура Запада и культура Востока находятся в известном антагонизме ... нам в реальной нашей жизни не остается ничего другого, как присоединиться к одной из этих сторон, чтобы ввергнуться в реальный процесс живого становления, чтобы из темного магического кристалла будущего и явилась новая реальная культура, нам доселе неведомая, а не искать самим «средней линии». — Здесь приходится разъяснить, что евразийство не понимает и никогда не понимало своей линии, как «средней». Евразия — это не «микстум композитум» Востока и Запада. Это — неповторимая личность. Но именно неповторимость ее и не позволяет отождествлять Евразию с Азией, заключающей целый ряд своеобразных и отличных от Евразии миров. — Упоминает о евразийстве и доктор *Эренжен Давыевич Хара-Даван* в замечательном труде своем: Чингисхан, как полководец и его наследие: [27]) «Только за самые последние годы ученые евразийского мировоззрения, изучая проблему русского самопознания, стали внимательно разбираться в разных восточных влияниях на русскую историю, культуру и быт и им отчасти удалось разбить «предубеждения и предрассудки европензма», с которыми трактовался этот вопрос до них и тем самым заинтересовать широкий круг русской интеллигенции, чего не удавалось сделать нашим ориенталистам».

II.

С 1922 г. по настоящее время в русской и иноязычной печати появилось несколько сот статей, рецензий и заметок о евразийстве [28]). Совершенно невозможно на этих страницах

26) Культурно-исторические основы русской государственности. Харбин 1926, стр. XIII-XV.

27) Культурно-исторический очерк Монгольской империи XII-XIV века, Белград 1929, стр. 3, 198 и др.

28) Кроме того, нам известно до пол-десятка книг и брошюр,

рассмотреть их все. К тому же — не все они были для нас доступны.

Мы пытаемся рассмотреть полемику вокруг евразийства, поскольку она сгущается в социологическую карстину.

Евразийцы утверждают религиозное начало. Им противостоит группа критиков, отрицающих это начало. У некоторых заметны не столько анти-религиозные, сколько анти-*вероисповедные* мотивы. Особую группу образуют католические выступления, обращенные, в форме критики евразийства, в той или иной степени против Православия.

Некоторые оппоненты высказывались против русского сотрудничества с Востоком (не русским и не православным) и против признания исторического значения Востока в жизни России, которое, как задание и как факт, подчеркивают евразийцы. У некоторых критиков отрицание Востока принимало и принимает форму национального самоуничижения, связанного с превознесением Европы или иначе *европоклонством*. Иные оспаривают положительное значение *этнической базы* культурного творчества, изучением которой занимаются евразийцы.

Для других оппонентов действительность представляется не в виде «открытого поле пластичного мира», но распадается на ряд явлений, которые можно или принять или отвергнуть, как они есть. Иными словами, некоторые критики отрицают то задание творческого преобразования мира, на основе развития существующих форм, которое лежит в основе евразийства.

Предметом нападок являлись понятия идеократии и этатизма (в том числе—тезис об утверждении и развитии государственного хозяйства). — Были возражения — и притом с разных сторон — против принятых евразийством начал федерализма. Оспаривались принципы экономического самодовления и автаркии, под знак которых (не по всем, конечно, отраслям, но только по важнейшим) еще в 1921 году евразийцы поставили идею народного хозяйства России.

В области исторической и географической науки оппоненты старались разрушить те *систематические рамки*, в которых евразийцы располагают россиеведческий материал.

Таким образом можно различать несколько видов направленной на евразийство критики, а именно критику:

анти-религиозную
анти-православную

специально посвященных этой теме. Одна из них написана на украинском языке (см. выше). Все остальные — на языках иностранных.

анти-восточную
анти-русскую
анти-этническую
анти-идеократическую
анти-этатическую
анти-федералистическую
анти-автаркическую
анти-систематическую.

Мы полагаем, что разнообразием отрицаний тем ярче подчеркивается объем *положительных содержаний*, заключающихся в евразийстве.

Мы дадим по одному или по несколько примеров каждого из перечисленных видов критики. Но прежде, чем это сделать, мы должны оговорить несколько специальных пунктов.

Прежде всего, имеется ряд возражений, основанных на недоразумении или, быть может, на сознательном искажении евразийских тезисов. Такие возражения мы считаем нужным упомянуть отдельно, так как, по существу, они не могут быть приняты во внимание при рассмотрении полемики вокруг евразийства. — Так, к числу основанных на недоразумении приходится отнести некоторые возражения *А. А. Кизеветтера*. В основу евразийства он кладет «мысль о том, что в национальных культурах нет общечеловеческих элементов... что нет и не может быть таких культурных духовных ценностей, которые имели бы значение общечеловеческое. Вот мысль, в признании которой, евразийство, как самостоятельное учение, получает действительное обоснование, и с отвержением которой рушится и все здание евразийского мировоззрения... Весь смысл евразийства, весь raison d'être его как самостоятельного учения, и сводится к отрицанию таких общечеловеческих начал в культурной жизни мира».[29]) В других местах, в подтверждение приписываемых евразийцам тезисов, *А. А. Кизеветтер* приводит выдержки из евразийских писаний. Здесь он не делает этого, хотя, как мы видели, и придает изложенной им мысли кардинальное значение в евразийском учении. Более того: он не принимает во внимание, что существуют евразийские утверждения, прямо противоречащие тому тезису, на котором он *(А. А. Кизеветтер)* хочет построить все евразийское учение: по убеждению евразийцев, история толкается в наши ворота «не для того, чтобы породить какое-либо зоологическое наше «самоопределение», — но для того, чтобы в великом подвиге труда и свершения Россия так же раскрыла миру некоторую общечеловеческую правду, как раскрывали ее величайшие на-

29) Статья «Евразийство», Русский Экономический Сборник, III, Прага 1925, стр. 56-57.

роды прошлого и настоящего». Это — из основоположной декларации евразийцев—из предисловия к «Исходу к Востоку» (стр. IV). Это ли—отрицание общечеловеческих начал? В «Евразийском Временнике», книга III (1923), сказано: «Явственнее, чем другие народы, русские имеют одновременно две родины: Россию и мир».[30]) — В частности, относительно христианства, *Н. С. Трубецкой* замечает: «для христианина христианство не связано с какой-нибудь одной определенной культурой. Оно не есть *элемент* определенной культуры, а *фермент*, привносимый в самые разнообразные культуры».[31]) Христианство, по убеждению евразийцев, есть начало общечеловеческое. — Правда, многим элементам *романогерманских* культур общечеловеческого значения евразийцы не приписывают. Но мир «культурных духовных ценностей» не сводится для них к этим элементам. — Иными словами, тезис об отрицании «общечеловеческих начал», в таком виде, как он формулирован *А. А. Кизеветтером*, есть положение, принадлежащее самому *А. А. Кизеветтеру*, а никак не евразийцам. И оспаривание этого тезиса есть борьба с ветряными мельницами, а отнюдь не полемика с евразийством. То же самое нужно сказать о другом утверждении, которое *А. А. Кизеветтер* приписывал евразийцам и которому также придавал, повидимому, большое значение: по его словам, в евразийстве «мысль о с о ч е т а н и и европейских и азиатских начал моментально заслоняется другой, прямо противоположной мыслью о том, что русская культура есть как бы арена с т о л к н о в е н и я этих начал, притом такого столкновения, при котором азиатским началам обеспечена полная победа».[32]) Опять таки — ни одной ссылки в подтверждение подлинности этой, яко-бы, евразийской мысли! Я не думаю, чтобы нашелся хотя бы один евразиец, который признал бы эту формулировку выражением действительной евразийской идеи. Эти примеры кажутся нам показательными в характеристике тех приемов, которыми достигалось «опровержение евразийства» в эмигрантской печати.[33]) Авторитеты действовали. И «Старый читатель» в варшавской газете «За свободу» с наивностью писал следующее: «... проф. А. А. Кизеветтера... едва ли можно будет упрекнуть в недостаточно серьезном изучении этого течения» (евразийства).[34])

30) стр. 13; статья автора этих строк.

31) Статья: «Вавилонская башня и смешение языков», Евразийский Временник, книга III, Берлин 1923, стр. 122.

32) Цит. соч., стр. 53.

33) Интересный м е т о д о л о г и ч е с к и й разбор возражений *А. А. Кизеветтера* против евразийства дан в статье *А. Нельского*, Русский Военный Вестник (Белград), No 133, 26 февраля 1928 г.

34) No от 15 октября 1925 г.

К числу «опровержений» этого рода принадлежат усилия тех, кто «великой и возрожденной России» противопоставляет «ту куцую, жалкую степную Евразию, о которой давно мечтали наши злейшие враги».[35]) Евразия, обнявшая *пятую* часть земной суши — «куцая, жалкая»? (нужно заметить, к тому же, что она далеко не всецело степная). Оппоненты евразийства, в выпадах своих, теряют ощущение исторической и геополитической меры.[36])

Большая группа «демократических» критиков желает превратить евразийцев в реакционеров, каковыми они не являются. Так *А. Кулишер*, ссылаясь специально на автора этих строк, считает, что евразийцы борятся «во имя «старой мудрости» религиозной нетерпимости и «подчиненной экономики», т. е. военно-крепостнического социального уклада: «мудрости» не специально-русской или «евразийской», а чисто интернациональной реакции».[37]) В той статье, на которую ссылается *А. Кулишер*, он мог прочесть следующее: «Православная Церковь есть осуществление высшей свободы. Ее начало —с о г л а с и е, в противоположность началу в л а с т и, господствующему в отделившейся от Нее Римской Церкви. И кажется евразийцам: в суровых делах мирских не обойтись без суровой власти; но в делах духовно-церковных — только благодатная свобода и согласие суть благие руководители».[38]) Это ли — религиозная нетерпимость? — «Опосредственная демократия» евразийцев может не нравиться *г. Кулишеру*. Но что общего у нее с «военно-крепостническим социальным укладом»? И евразийский лозунг «демотической власти, опирающейся на широкие массы трудящихся» — есть ли это лозунг «чисто интернациональной реакции»? — Еще ярче приемы полемики, аналогичные методам *г. Кулишера*, сказываются в статье *Г. Д. Гурвича*: «Пророки».[39]) Здесь он разбирает, между прочим, статью того же четвертого «Временника»: «Хозяин и хозяйство». Автор ее «допускает в известных и реально возможных пределах воздействие «хозяина-общества». Однако, все это пустые слова для отвода глаз». В дальнейшем *Г. Д. Гурвич* пытается вскрыть хозяйственно-реакционную сущность этой статьи,

35) Статья *Е. Спекторского* «Западно-европейские источники евразийства», газ. «Возрождение» (Париж), No от 27 мая 1927 г.

36) Выступление *Е. В. Спекторского* в Белграде «Против евразийства» посвящена обстоятельная статья *А. Н.* в «Русском Военном Вестнике», No 149, 17 июня 1928 г.

37) Статья «Шуйца и десница евразийцев», «Последние Новости», No от 4 марта 1927 г.

38) Статья «Евразийство», Евразийский Временник, кн. IV, Берлин 1925, стр. 19.

39) Газета «Дни», No 796, 23 июня 1925 г.

яко-бы односложно направленной на защиту частного собственника и предпринимателя.—Почему же «пустые слова», *Г. Д. Гурвич?* Ведь пользуясь тем же методом не могли ли бы и мы признать любые Ваши утверждения «пустыми словами для отвода глаз»? Ведь под воздействием «хозяина-общества» здесь в первую очередь подразумевается государственное вмешательство в хозяйство, т. е. этатизм. Не доказали ли евразийцы подлинности своего этатизма обоснованием государственно-частной системы хозяйства, основанной на решающем значении государства во всех отраслях хозяйственной жизни? Вы против этатизма. Но Вы не в праве сводить на этом основании евразийство к защите частного собственника и предпринимателя!

С этими попытками зачислить евразийцев, без всяких к тому оснований, в категорию реакционеров, интересно сопоставить ту полемику, которую вели и ведут с евразийством «правые» газеты. Наиболее *злобные* нападки на евразийцев раздались именно с этой стороны. Именно эти оппоненты уже в 1925 г. «начали выражать различные подозрения почти полицейского характера». [42]) Именно для них евразийцы — это «секомые», которые получают «оглушительное заушение», [43]) их листовки «надлежит выставить — *на позор*», [44]) их стремление «достаточно — *приводить*». [45])

Все эти «сечения», «заушения», выставления «на позор», «пригождения» существовали только в воображении оппонентов. Но какой подбор образов! К чему стремились? Какие проявляли вкусы!

Иван Гримм писал: «для нас, контр-революционеров, Империя Российская и в смысле государственном и в смысле религиозном есть огромная историческая ценность, разрушение которой мы считаем величайшим русским бедствием и за восстановление которой мы боремся». [46]) Если люди хотят восстанавливать ту Империю, которая существовала до революции, трудно разговаривать с ними: ведь именно имперни этой и были свойственны те болезни, которые привели к революции. *И. Гримм* заканчивал свою статью словами, вполне приемлемыми также для евразийцев: «пусть тот, кто с нами, уходит от евразийцев, тот же, кто с евразийцами, — уходит от нас». [47])

40) Слова *Митрополита Антония* в статье «В защиту евразийства», Русский Военный Вестник, No 26, 31 января 1926 г.
41) Передовая газ. «Возрождение» от 12 февраля 1927 г.
42) Газ. «Россия» (Париж), No 6, 1 октября 1927 г.
43) «Возрождение», No от 19 октября 1925 г.
44) Статья «Евразийцы и белое движение», Возрождение от 22 июня 1925 г.
45) «Возрождение» от 23 июня 1925 г.

В тех же тонах выдержана полемика с евразийством *И. А. Ильина*. [48]) Разбирая отношение евразийцев к революции, *И. А. Ильин* говорил следующее: «Да, революция есть объективный исторический факт. Этот факт совсем не только «исходит» из мерзости и преступления, а весь состоит из преступлений и мерзостей». [49]) — И при такой мере исторического понимания, не легко разговаривать с автором. [50])

Положение Церкви в дореволюционной России *И. Д. Гримм* определял следующим образом: «Споспешествуемая государством Церковь жила в довольстве, защищенная от обид и невзгод». [46]) — В смысле непонимания существа церковной жизни это суждение превосходит все, что можно себе представить!

По степени глубины и правды выступление *И. Д. Гримма* можно поставить на один уровень с другим выступлением, хотя и существенно иного содержания, а именно выступлением *З. Н. Гиппиус*. [46]) Она говорит о «смене вывесок «СССР» на «Евразия». «Мы уж знаем, что за вывесками осталось бы то же, лишь обозначенное другими буквами: вместо ЧК — положим ДУ, «Добродетельное учреждение», или БеПе, «Благое Попечительство» и т. д. Но в отношении церкви перемена будет поглубже, поядовитее. Из помехи, из гонимой, предполагается, украсив приятными словами, возвести ее в чин служащей порядкам не коммуно-большевицким, а евразо-большевицким... Даром развукрашивать Церковь не будут: служба предстоит серьезная. Прежде всего: ЧК не требовала от нее благословений: ДУ и БП — потребуют. За объявление ее единой истинной, вселенской—потребуют активной борьбы со всеми, без разбора, еретиками — иудеями, язычниками и христианами других церквей. Возложат на нее и просветительную работу по разъяснению политграмоты (евразийской)» и т. д. — О евразийском понимании религиозной свободы мы уже говорили (см. выше). *З. Н. Гиппиус*, приступая к написанию статьи о евразийстве, видимо, не считала нужным читать евразийские издания. Ее домыслы о евразийской ЧК — невозможно и обсуждать серьезно. А защищаемый евразийцами порядок отношений между Церковью и государством — прямо противоположен тому,

46) Пять статей в «Новом Времени» (Белград), под общим заглавием «Идейный оползень». N N от 7, 8, 9, 11 и 12 августа 1925 г.
47) «Новое Время» от 8 августа 1925 г.
48) Рассмотрению, с евразийской точки зрения, полемики этого рода посвящена превосходная статья *Г. В. Флоровского:* Окаменение нечувствие (журнал «Путь», Париж, No 2, январь 1926 г., стр. 128-133). С возражениями *Г. В. Флоровскому* выступил *Д. Мирский* (статья «Мнимые западники», Последние Новости, 14 апреля 1926 г.).
49) Цит. статья, «Возрождение» от 22 июня 1925 г.
50) «Второй кошмар», Последние Новости, 2 марта 1927 г.

который изображает *З. Н. Гиппиус*. Позволю себе процитировать документ, который был *уже написан* к тому моменту, когда г-жа Гиппиус публиковала свою статью: «Необходимо, чтобы государственная власть относилась благожелательно и содействовала каждой вере, исповедуемой народами России-Евразии, понимая, что только вера может служить основой социальных отношений, проникнутых духом любви и неуклонным бережением человеческого достоинства. Однако, содействие государства вере ни в коем случае не должно перерождаться в зависимость религиозных объединений (Церкви) от государства или государства от религиозных объединений (Церкви)». [51]) Эти начала были приняты в качестве руководящих евразийством, как целым. Из них можно усмотреть, что ни о какой организуемой государством «борьбе» с «идеями, язычниками и христианами других церквей», с евразийской точки зрения, просто не может быть речи: государство должно относиться благожелательно и содействовать «каждой вере исповедуемой народами России-Евразии». В то же время, независимость Церкви от государства есть одна из *основных* ценностей, за которые борятся евразийцы. В цитованном документе по этому поводу сказано, между прочим, следующее: «между религией (Церковью) и государством не может и не должно быть государственно-правовых отношений или хотя бы финансовых связей. Именно для того, чтобы представители религии (Церкви) могли выполнять выпадающую на их долю роль народной совести религиозные объединения (Церковь) должны иметь самостоятельный бюджет, независимый от средств государства... В области религиозной никакое принуждение недопустимо... государство воздерживается от вмешательства в дела религии». — Пред либом этих, вышеназванных евразийством положений — что сказать о «критике», выдвинутой *З. Н. Гиппиус*? Эта критика характеризует самое *З. Н. Гиппиус*, а никак не евразийцев.

То же можно сказать и о нынешнем «патриотическом» мировоззрении *А. В. Карташева*. Вот на что надеется *А. В.*: [52]) «Сила распада пойдет по линии свобод, может быть даже по линии национального сепаратизма. Этого нужно ожидать... нет состоятельна мысль... о превращении Красной Армии в национальную... нет, развал, самоистребление, самоуничтожение неизбежны в этой среде». В своем «патриотическом» рвении *А. В. Карташев* примирился, повидимому, с распадом России («этого нужно ожидать»). Евразийцы же уверены, что этого не произойдет. *А. В. Карташев* обрек на «самоистребление» значительную часть народно-национальной силы России (Красную Армию). Она же на самоистребление не пойдет и отстоит государственное единство Евразии. Не самоистребление, но *преображение* этой среды есть решающий момент современности.

Полемика с евразийством в газете «Возрождение» была продолжена опубликованием 26 января 1929 г. передовой, под заглавием «Бегство Чингис-хана». По всем данным, заглавие было придумано для сугубого уничижения евразийства. Редакция не знала, видимо, что Чингис-хану действительно неоднократно приходилось бежать. [53]) И каждое его бегство было этапом все большего укрепления его власти.

Не легко привести в систему утверждения наших оппонентов. Критики очень часто противоречат друг другу. Сказывается это в деталях, сказывается и в более существенных вопросах. Для части «демократической» критики — евразийцы реакционеры. В глазах «правых» евразийцы «тянут к тому, чтобы найти общую почву с революцией и общие задачи с большевизмом» *(И. А. Ильин)*. Для *Г. Пандау*, автор этих строк «своим признанием «Великой Русской Революции» стал «обеими ногами на почву русского коммунизма, социализма и народничества».[54]) Для *Б. Мирского* «философско-историческая полемика даже не требуется для определения политического лица евразийства, которое ясно и откровенно изложило свои политические взгляды, обнаружив их неприглядное реакционное содержание». [55]) — Каково же отношение евразийцев к русской действительности? — *И. А. Ильин* утверждает, что «здесь идет разговор именно о приятии, о прекращении борьбы, о волевом преклонении, о приспособлении, о практическом фактопоклонстве».[56]) *П. М. Бицилли* находит, что евразийцы «не столько считаются с действительностью, сколько «утверждают» пророчески «долженствующий быть», — ибо он согласуется с их историко-философскими требованиями, — процесс». [57])—Какое же положение правильно: «фактопоклонники» ли евразийцы или они пренебрегают действительностью? — Ни то, ни другое: евразийцы, учитывая факты, стремятся

---

51) Евразийство (формулировка 1927 г.), Евразийская Хроника, вып. IX, Париж 1927, стр. 7.

52) Статья Долли Лемке: А. В. Карташев об евразийстве, Возрождение, 6 июля 1927 г.

53) См. напр., книгу *Б. Я. Владимирцова*. Чингис-Хан, Берлин-Петербург-Москва 1922, стр. 30,36.

54) Руль, No 353, 14 января 1922 г.

55) Статья «Бегущие Запада», газета «Звено» (Париж), No от 3 февраля 1924 г.

56) «Новое Время» от 8 августа 1925 г.

57) Статья «Народное и человеческое», журнал «Современные Записки», XXV, Париж 1925, стр. 485.

преобразовать их. — Столь же разноречивы мнения критиков относительно существа евразийской государственной идеи. *Е. В. Спекторский*, в вышецитованной статье, пишет следующее: «Можно себе представить, каким неожиданным и ценным подарком для запада оказался «органический поворот к Азии», проповедуемый нашими евразийцами. *Отцом их мысли являются жалкие современной Европы* (курсив *Е. В. Спекторского*). Вот почему ими так интересуются именно на западе. Вот почему именно запад предлагает им данайские дары». Иными словами, по мнению *Е. В. Спекторского*, евразийцы являются слугами Европы. По мнению же *польского* критика евразийства, *Мариана Уздовского*, посвятившего евразийству особую брошюру, «обращено оно целиком к старой православной националистической Москве, столице Василиев и Иванов, которая подчиняла себе народы не для того, чтобы наделять их благами федерации, или впитывать в них идеалы братства и общих государственных целей. Москва эта — прежде всего русская Москва, наследница Чингис-хана, тысячью колоколов возвещающая о своем могуществе завоеванным народам, подчиняющая их своему игу, влюбленная в свою власть над ними». [58]) Другой автор, писавший о евразийстве по польски, *Восан Гирей Джабаги*, свою статью заканчивает следующими словами: ... «евразийство ничто иное, как только новый вид русского империализма, одетого в платья новой теории, с помощью которой русские националисты стараются сохранить наследство монархии от дальнейшего разложения». [59]) — Где же тут правда? являются ли евразийцы слугами Европы или русскими империалистами? — Ни здесь, ни там: евразийцы — верные служители идеи общеевразийской государственности, как выражения стремлений и интересов евразийских народов, как воплощения «общеевразийского национализма». — Разногласия между оппонентами касаются и частностей: так, напр., передовик «Последних Новостей» находил, что евразийцы «рабски следуют своим предшественникам, славянофилам». [60]) *А. А. Кизеветтер* утверждал, что «евразийцы совершенно напрасно набиваются в идейное родство славянофилам... Это глубокая ошибка, которую можно объяснить только тем, что евразийцы лишь поверхностно знакомы с сущностью славянофильского учения» [61]) (!) Евразийцам остается предложить *А. А. Кизеветтеру* состяза-

58) Marjan Usdowski. Eurazjanizm, Nowa idea w rosyjskim ruchu przeciw-komunistycznym. Warszawa 1928, стр. 33; перевод *С. Л. Войцеховского*.
59) Głos Prawdy (Варшава), 4 марта 1928 г.
60) «Последние Новости», No от 2 мая 1925 г.
61) Русский Экономический Сборник, III, стр. 58.

ние в том, кто лучше знает славянофилов. — Впрочем, мы полагаем, что в данном случае *А. А. Кизеветтер* ближе к истине, чем «Последние Новости»: несмотря на некоторые соприкосновения со славянофильством, евразийство является существенно новым учением.

Несколько более единодушны оппоненты в версии о том, чем вызвано евразийство к жизни. Версия эта формулируется фразой *В. Шульгина*, что «евразийство есть вид злости». [62]) В передаче *Милюкова — Изгоева* она звучит так: «Евразийство родилось в результате внешнего поражения и внутреннего разгрома, когда в русском обществе усилились национализм и вражда к иностранцам». [63]) — Им вторит *Н. Чебышев*: евразийство «порождение эмиграции. Оно подрумянилось на маргарине дешевых столовок, вынашивалось в приемных в ожидании виз, загоралось после спора с консьержкой, взошло на малой грамотности, на незнании России теми, кого революция и беженство застигли подростками». [64]) Как видим, в лице *Н. Чебышева* евразийцы нашли попутно учителя грамоты — и при том такого, в словах которого явно сказывается тенденция к «материалистическому толкованию истории». Всю эту концепцию евразийцы отвергают начисто. В оппонентах евразийства несравненно больше злости, чем в евразийстве. В этом может убедиться каждый, кто сопоставит общий тон евразийской литературы с тоном полемики против евразийства, скажем, в «Возрождении», «России», «Новом Времени» и т. д. И не из злости родилось евразийство. Хорошо оно или плохо, — евразийство есть выражение воли к созиданию и творчеству.

Хочу сказать несколько слов тем оппонентам, которые говорили обо мне лично. *П. Н. Милюков* утверждал: «В своих теоретических построениях евразийство не свободно, заранее имеется задание, к которому притягиваются доказательства. В этом главная порочность интересного труда П. Н. Савицкого «Россия особый географический мир». [65]) Это же повторяет *С. Варшавский*: «... вся беда... в том, что не объективное научное исследование привело евразийского географа к выводу о существовании особого евразийского мира, а наоборот, он предпринял исследование именно с целью доказать это поло-

62) Статья «Злость», «Возрождение», No от 16 декабря 1926 г.
63) Отчет *А. С. Изгоева* о выступлении *П. Н. Милюкова* в Праге: Об основах евразийства, Руль, No от 8 января 1927 г.
64) Статья «Впечатления», Возрождение от 16 февраля 1927 г.
65) Отчет *Д. М.* о выступлении *П. Н. Милюкова* в Праге: Евразийство, Последние Новости, 11 января 1927 г.

жение». [66]) — Могу заверить почтенных моих оппонентов: мои географические изыскания предшествовали моему евразийству: в своих географических занятиях 1910-ых годов, еще никак не окрашенных евразийством, я пришел к выводу, который и постарался выразить в построении системы евразийской географии в 1920-х годах.

В литературе о евразийстве есть не малая категория статей и мыслей, которые не могут рассматриваться, как полемика с евразийством, но скорее представляют собою одобрение и развитие евразийских идей. Такова, в значительной степени, рецензия на «Исход к Востоку» *П. М. Бицилли*. [67]) Он выступает на защиту евразийства: «Надо сказать, что большинство обвинений, направленных против сборника, основано на смешении понятий «цивилизации» и «культуры», т. е. форм, условий и продуктов творчества и его глубинных духовных источников... Ножи и вилки, конституция и таблица умножения относятся к «цивилизации», и не видно, чтобы евразийцы посягали на эти ценности». — Совершенно правильно. Эта же мысль, в других словах, выражена в позднейшей евразийской литературе: «В современной хозяйственной технике и эмпирической науке, каково бы ни было их развитие, нет ничего, что исключало бы возможность их существованья и процветанья в недрах новой «эпохи веры». [68]) Потому-то евразийцы и не могут принять на свой счет упреков, вроде следующего: «Евразийская» культура есть... доморощенное, знахарское воздухоплавание». [69]) — К той же категории не столько опровержения, сколько развития евразийских мыслей принадлежат почти все появившиеся в свет рецензии на сборник: «Россия и латинство» (1923). [70]) *Митрополит Антоний* в особой статье говорил следующее: «Да. Я торжественно поздравляю русское общество. Без всякого преувеличения заявляю, что у нас снова есть и Хомяковы, и Киреевские, и Аксаковы. Они воскресли на нашем безвременьи; они открыли пред русским сознанием новую энциклопедию мысли богословской, философской, общественной, даже экономической». [71])

В этом тоне были написаны и некоторые другие статьи.

Созвучны евразийским мысли *А. Кулишера*. «Евразийцы отметили,—вернее, скупо почувствовали,—что то очень важное, заговорив о роли степи в России, о «континенте-океане». [72]) *А. Кулишер* прикровенно полемизует с *П. Н. Милюковым*, обрушившимся на приписанную евразийцам «теорию о степном происхождении русской государственности и культуры. Тут П. Н. Милюкову было слишком легко разбить их наголову(!). Но совсем иное дело — факт распространения политической власти, колонизации и культуры «по степи», — по громадным пространствам, лишенным резких географических рубежей, — вследствие чего и границы между национально-культурными, как и между этническими типами становятся менее жесткими, — и создается возможность некоторой «сверхнациональной», — общей всему данному «континенту», — и все таки, не просто общечеловеческой, а именно «континентальной», общероссийской или, если угодно, «евразийской» культуры». — Не являются преобладающими элементы полемики и в статье *Александра Салтыкова* «Великобританское евразийство». [73]) Рассматривая книгу Гарольда Лемба о Чингис-хане, *А. Салтыков* устанавливает, что «евразийские» течения в Англии нашли, повидимому, в последнее время, какие-то питающие источники и в самой английской жизни и в каких-то, не вполне еще определившихся, новых уклонах английской души, т. е. и безотносительно какой-либо политики». Это явление евразийцы могут только приветствовать. История дополняет образы «русских лордов» и «русских фритредеров» образом «великобританских евразийцев». Духовное сближение желательно и полезно. Только напрасно книгу Г. Лемба *А. Салтыков* считает явлением английской духовной жизни. Автор ее — американец. — Не оспариванием, но развитием евразийских мыслей является и содержательная статья *С. Енисеева* «Евразийство». [74]) По верному определению автора, евразийство «исходит от новых положений, от существующего к будущему, в противоположность эмигрантскому пониманию, идущему от воображаемого к бывшему». Всячески рекомендуем статью *С. Енисеева* вниманию лиц, незнакомых с евразийством и желающих получить самое общее о нем представление.

---

66) Отчет о выступлении в Праге *Б. Н. Одинцова*: Евразийская география, Возрождение, 19 января 1928 г.

67) «Русская Мысль» (Прага), под редакцией *Петра Струве*, 1923, январь-февраль, стр. 380-382.

68) Евразийский Временник, книга IV, 1925, стр. 19-20 (статья автора этих строк).

69) Статья *А. С. Изосея*: «Молодое растет», Последние Известия (Ревель).

70) Рецензии: *И. А. Ильина* в «Русской Мысли», 1923, кн. III-V, стр. 402-406; *Л. в* «Руле», № 744 от 13 мая 1923 г.; в греческом журнале «Экклезія», Афины 1923, стр. 234-240; изложение отдельных статей сборника дано в журнале «Воскресное Чтение» (Варшава), 1924, NN 8, 10, 12, 14, 17, 18.

71) Статья «Россия и латинство», «Новое Время», 1 февраля 1924 г.

72) «Последние Новости» от 4 марта 1927 г.

73) «Возрождение» от 24 октября 1929 г.

74) «Наша газета» (Рига), апрель 1930 г.

Особую группу представляют собою высказывания о евразийстве писателей и поэтов. Назовем отзыв о евразийстве *Андрея Белого*,[74]) опубликованное в немецкой печати письмо о евразийстве *М. Горького*,[75]) статью *Е. Н. Чирикова*.[76]) Некоторые из этих отзывов благожелательны, другие полемичны *(Е. Н. Чириков)*.

Не так оспариванью, как просто изложенью евразийства посвящено иностранное евразийствоведение. Менее богата, чем можно было бы ожидать, немецкая литература о евразийстве. Значительная часть статей, сюда относящихся, появилась в пражской газете «Прагер Прессе» и написана славянскими авторами. Полемична статья *проф. Э. Радля:* по его мнению, «русские — это европейцы».[78]) — Другие статьи имеют характер объективных рецензий или фактических сообщений.[79]) Статьи *Генриха Блока* (Кишинев) в «Zeitschrift für Geopolitik» у нас в руках не имеется (он писал о евразийстве и в «Прагер Прессе»). — Скорее благоприятен отзыв о евразийстве в книге «Зарубежная Россия» *Г. Римши*.[80]) Эта книга реферирована в «Последних Новостях» в статье *П. М.*: Немец о русской эмиграции.[81]) Нет у нас в руках и статьи *Н.С.Тимашева* в Zeitschrift f. Politik, 1929, № 9. По поводу работы *В. К. Штелина* «Россия и Европа»[82]), обозреватель «Историка-Марксиста» (Москва) *А. Васютинский* заявляет: «Любопытен для русского читателя краткий обзор дискуссии по поводу «Евразии», дающий некоторые данные для суждения об эволюции идеологии русской эмиграции».[83]) Упрощает и тенденциозно освещает проблематику евразийства *Р. Фюлоп Миллер* в книге своей: «Gesicht und Geist des Bolschewismus».

В составе французского евразийствоведения, кроме названной выше, нужно упомянуть статью *В. П. Никитина* в Revue du monde musulman. С особой симпатией автор останавливается на экономической концепции евразийства: «тесное экономическое сотрудничество с азиатским миром — вот решение евразийской проблемы, вот почти полная независимость... Не входя в детали... мы считаем долгом подчеркнуть, в какой мере эта концепция, вполне реалистическая в своей основе, может послужить делу русско-азиатского сближения».[84]) — Французская литература о евразийстве содержит два обстоятельных обзора: один принадлежит перу *Шарля Буржуа*,[85]) автором другого является *Г. Шклявер*.[86]) *Ш. Буржуа* выполнил свою задачу не без поэтического вдохновения. Его очерк свидетельствует о значительном проникновении в материал. Из евразийских работ ближе всего он следует «Наследию Чингисхана». Есть, однако, и ошибки: нельзя сказать, что из числа евразийских зон единственно степная «удобна для обитания» (la seule pratiquement habitable). Это определение в такой же мере относится и к зоне лесной.—*Г. Шклявер* с особым вниманием останавливается на политической доктрине евразийства, разработанной *Н. Н. Алексеевым*. Наряду с тем, выпукло изображено географическое и историческое учение евразийцев. Все таки, и в этой статье не обошлось без неточностей. Так, *Г. Шклявер* понимает идеократию, как «организацию и направление государства, согласно руководящей национальной идее». Между тем, по определению автора этого понятия, *Н. С. Трубецкого*, идеократия не связана специально с национальной идеей. Идеократия — понятие «селекционной» социологии, т. е. той, которая изучает принципы отбора правящего слоя. Это такой общественный строй, при котором основным признаком отбора правящего слоя является миросозерцание (нужно под-

---

75) «На путях», газета «Дни», No 13, 12 ноября 1922 г.

76) Maxim Gorki und Eurasien, von W. von Korostovetz, Welt u. Werk, Deutsche Allgemeine Zeitung, Sonntagsbeilage, 17 мая 1925.

77) За свободу, No 2155, 1 июня 1927 г.

78) Russische Geschichtsphilosophie nach dem Kriege, von Prof. Em. Radl, Prager Presse, Abend-Ausgabe, 4 и 5 мая 1923 г.

79) Статьи и рецензии в «Прагер Прессе»: Heinrich Block. Eurasien, 31 января 1924 г.; изложение статьи *Н. С. Трубецкого* о туранском элементе в русской культуре в No от 11 сентября 1926 г.; рецензия на книгу *Н. П. Толля* «Скифы и гунны» в No от 17 августа 1928 г.; статья Die kämpfenden Eurasiaten в No от 19 июня 1929 г.; рецензия на «Евразийский Сборник», книга VI, в No от 20 июля 1929 г. Не перечисляем здесь статей и заметок 1931 г.: они выходят за пределы рассматриваемого нами периода.

80) Hans von Rimscha. Russland jenseits der Grenzen, 1921-1926. Ein Beitrag zur russischen Nachkriegsgeschichte, Jena.

81) Статья говорит о возможном «общем деле» эмиграции с большевиками и заканчивается следующими словами: «общее дело» с большевизмом может найтись, очевидно, лишь тогда, если эмигрантский «фашизм» отбросит надежду на «катастрофу» и на армию? Куда денется при этом «duce» и эмигрантский монархизм, не совсем ясно, — если только, конечно, обе диктатуры не сольются в одну под знаменем евразийства». «Последние Новости», 18 августа 1927 г.

82) V. K. Stählin. Russland und Europa, Historische Zeitschrift, Band 132, Heft 2, стр. 197-246.

83) Историк-Марксист, журнал, том III, 1927, стр. 212.

84) Статья: Le problème musulman selon les chefs de l'émigration russe, Revue du monde musulman, Décembre 1922, стр. 43-45.

85) Charles Bourgeois. L'héritage de Gengis-Khan, les Eurasiens, «Etudes», 5 août 1927, стр. 1-25.

86) Georges Chklaver. La doctrine «Eurasienne», Politica, juillet-août 1928, стр. 227-238.

черкнуть слово «основной», ибо в качестве не основного, вторичного признака общность мировоззрения наличествует и при других формах отбора). [87]) — Едва ли правильно утверждение *Г. Шкляверa*, что «великие монгольские завоеватели были первыми объединителями евразийского мира». Здесь следовало бы упомянуть о роли, в этом отношении, скифов и гуннов. [88]) При всем том, повторяем, очерк *Г. Шкляверa* есть один из лучших иностранных обзоров евразийства. — К нему примыкает статья *П. Декама* (Paul Descamps) в еженедельном издании «Пакс». [89]) Основываясь на данных *Г. Шкляверa*, *П. Декам* пытается дать критику географической, а отчасти и исторической теории евразийства. Он отмечает, что монгольские степи отличаются от более западных тем, что являются степями *возвышенными*. Отметим со своей стороны *(П. Н. С.)*, что это не устраняет *непрерывности* распространения степного типа растительности от Галиции до Монголии. О лесной зоне *Декам* пишет: «есть леса и леса: если в Сибири лесная зона более или менее ограничивается лесами бореальными, [90]) то в России (т. е. в Доураль и. *П. Н. С.*) они уступают место другим лесным зонам, которые являются скорее продолжением лесов европейских, чем бореальною областью». — Без сомнения, леса Доуралья, в его западной части, не тождественны лесам Сибири. Но с точки зрения общих понятий ботанической географии, те и другие принадлежат к «зоне северных флор или арктобореальной». С юга леса Евразии на всем протяжении окаймлены степью. В Европе же (как и на Дальнем Востоке) северные леса переходит непосредственно в леса «зоны южных флор или субтропической». [91]) Вот подразделения, которые учитывает и на которых основывается географическая теория евразийцев. — Понятие флагоподобного расположения зон, как отличия Евразии от Европы, с ее «мозаически-дробным» сложением, осталось неизвестным *Декаму*. Вообще, повидимому, работы евразийцев не были доступны ему в оригинале. И он пользовался данными *Г. Шкляверa*. Но *Г. Шкляверр* — не специалист в географии. Он воспринявл основные географические

87) См. статью *Н. С. Трубецкого*: О государственном строе в форме правления, Евразийская Хроника, вып. VIII, Париж 1927, стр. 7.

88) См. предисловие *Г. В. Вернадского* к его «Начертанию русской истории», ч. 1, Прага 1927, стр. 14.

89) Статья «La Doctrine Eurasienne», Pax, journal hebdomadaire, Paris-Genève, 3 марта 1929 г.

90) Т. е. ярко выраженного северного типа.

91) См. «карту ботанических областей Российской Империи» *С. Коржинского*: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, том XXVIIa, СПБ. 1899.

выводы евразийства, но не мог воспроизвести аргументацию.

Итальянское евразийствоведение определяется работами известного слависта, профессора Неаполитанского Университета *Е. Ло Гатто*. Он посвятил евразийству особый очерк в книге своей: «Страницы русской истории и литературы». [92]) Первая глава этой книги называется: От Ивана Грозного до евразийцев; вторая: Евразийское движение. [93]) — Автор хорошо знаком с евразийской литературой и умело ею пользуется. Однако, не свободен от ошибок в приписывании цитуемых статей тому или иному автору. [94]) Проф. *Ло Гатто* делает ударение на азиатских элементах евразийства. Он говорит о «желании евразийцев порвать все связи с Западом», об их «ненависти к Западу». Это, конечно, не правильно: ощущение самостоятельности не равнозначно ни «желанию порвать связи», ни тем более «ненависти». Проф. *Ло Гатто* пишет: «Мы настолько привыкли рассматривать все славянские народы, как европейское этническое единство, что торжественно провозглашаемая евразийцами азиатскость русских кажется отказом, уходом от своей расы, от своей славянской крови». — И это, конечно, не правильно: русские евразийцы отнюдь не отказываются от своего славянского происхождения; они изучали и будут изучать «общеславянский элемент в русской культуре». Но они считали бы постыдным отрекаться и от своих туранских предков. А о том, что такие предки есть, свидетельствует хотя бы многочисленность русских семей татарского происхождения. Роль татар *Е. Ло Гатто* характеризует в самых мрачных чертах: «Татары только испортили (!) славянскую кровь, принесли восточным славянам все отрицательные монгольские качества: жестокость, коварство, презрение к женщине». [95]) Целый ряд русских князей XIII-XIV веков был женат на царевнах династии Джучия (старшего сына Чингиса). Можно ли считать родство с этим домом, давшим не мало выдающихся полководцев и государственных людей, «порчею крови»? Мы полагаем также, что по части жестокости и коварства европейцы XIII-XIV веков едва ли уступали тогдашним монголам. А что касается «презрения к женщине», то каждый, занимавшийся историей монголов времен их величия, знает, что такого «презрения» у них не было вовсе. Наоборот, женщина пользовалась весьма значительным почетом и влиянием: доказательства тому

92) Ettore Lo Gatto. Pagine di storia e di letteratura russa, Рим 1928.

93) Эта последняя была первоначально опубликована в виде статьи в журнале L'Europa orientale (Рим).

94) См., напр., цит. соч., стр. 43-44.

95) Цит. соч., стр. 31, 32, 43, 47.

— историческая роль матери, а также первой жены Чингиса, царицы-регентши Монгольской державы и т. д. Положение женщины ухудшилось только после принятия западными частями Монгольской империи мусульманства, но и это изменение наступило не сразу.

Другая статья проф. *Ло Гатто*, относящаяся к мартуапрелю 1929 г., носит название «Скифы и гунны». **) Она посвящена рассмотрению более новых научных изданий евразийцев. Изыскания эти реферированы кратко, но с большой тщательностью. *Ло Гатто* высказывает следующие суждения: «Трудно сейчас предвидеть какое влияние практически-политического порядка может иметь дальнейшее развитие евразийского движения, которое достигло уже зрелости в своем идеологическом развитии... чем точнее становятся утверждения евразийцев, чем шире сфера их влияния и чем решительней подчеркивание имей миссии, которую Россия будет выполнять... не как «славянская», но как «русско-туранская» держава, тем энергичней становится также защита старой традиции, которая не может и не хочет отказаться от славы России — великой европейской державы» (как будто ранг державы *евразийской* не заключает в себе всего, что содержится в понятии «великой европейской державы», — плюс нечто большее — роль примирителя народов *разных* континентов!). Споры могут принимать то или иное направление, «но значение движения остается».

Основная часть статьи «Скифы и гунны» перепечатана в новейшей книге *Е. Ло Гатто*. **) О евразийском движении здесь сказано, между прочим, что оно «пустив более или менее глубокие корни во всех центрах русской эмиграции, служит ныне как бы связью между определенными течениями, существующими в России и в части эмиграции». Цитуемая книга написана *Ло Гатто* на основании впечатлений от его поездки в Россию в первой половине 1929 г.

Наиболее значительным произведением *великобританского* евразийствоведения является книга *Английского Евразийца*: Воскресающая Россия. **) В первом отделе автор дает очерк русской географии, этнографии и духовной жизни. Он мастерски владеет фактами и весьма удачно вскрывает с у щ н о с т ь изображаемых явлений. Второй отдел посвящен «европеизованной России» и критике русского западничества.

96) Scili ed Unni, журнал L'Europa orientale, marzo-aprile 1929, стр. 157-159.

97) Dall'epica alla cronaca nella Russia sovietista, Рим 1929, стр. 10-13.

98) Russia in resurrection. A summary of the views and of the aims of a new Party in Russia, by An English Europasian, London 1928, стр. 266.

Эту часть книги было *бы* весьма полезно прочесть оппонентам евразийства из западнического лагеря. В словах «английского евразийца», движущегося в рамках английской традиции, они нашли бы не мало для себя поучительного. Автор говорит о поведении кадетов в Первой Думе (о требовании всеобщего избирательного права, чисто парламентарного правительства, экспроприации землевладельцев и пр.): «Это было как если бы Британский Парламент в ответном адресе на речь короля в начале сессии потребовал сразу четырех реформ последних столетий, контроля со стороны Палаты Общин над Исполнительной властью — что взяло в Англии для своего утверждения несколько столетий, уничтожения Палаты Лордов и национализации земли! Итак, даже более умеренная и разумная часть интеллигенции была западнической более по имени, чем по духу. Они пытались копировать запад, но они не действовали так, как поступали бы в подобных обстоятельствах западные государственные люди». По мнению автора, британские политики «стремились бы развить институты туземного происхождения, а не копировать иностранные учреждения. Кадеты просмотрели тот факт, что британская парламентарная система есть продукт истории, а не импорта и что Россия представляет аналогию не Великобритании, но Британской империи» (в которой, заметим от себя, далеко не повсюду господствует парламентаризм — и есть уклады, существенно от него отличные!). Автор заключает: «одним копированием не может быть завоевана свобода». **) — Собственно евразийскому учению посвящен третий отдел книги (стр. 177-266). Автору известны не только основные произведения евразийской литературы, но также все основное, что появилось о евразийстве на романогерманских языках. Эпилог рассматривает «значение евразийства для человечества». Здесь говорится, между прочим: «обвинение, что Европа и Запад стали материалистичны, идущее не только от евразийцев, но и из Азии, трудно оспаривать... Идея, что государство или кация есть собственно не мирское, но духовное общество, не только поражает, но и оваряет... и может случиться, что настоятельные проблемы современной жизни, которые смущают и терзают западный мир, найдут свое разрешение в открытии, что материальное во всех сферах должно быть подчинено духовному». В дальнейшем автор указывает на значение русского примера для таких стран, как Индия и Китай. Как в этих странах, так и в Африке «молодые люди, воспитанные в чужой культуре, имеют склонность утрачивать нравственные основы родной страны, а в чужой культуре класть ударение на поверхностное, не будучи в состоянии усвоить то, что в ней есть глубо-

99) Цит. соч., стр. 95-96.

чайшего и лучшего... Каждый, кто желает добра странам Востока, индиец ли, китаец, брит или американец, должен принять во внимание ход русской истории и заключение евразийцев, что правильным решением является развитие в каждой стране того лучшего, что есть в туземной цивилизации... С другой стороны пример России поможет европейцу и американцу освободиться от властной иллюзии, что цивилизация Запада есть лучшая в мире, и что другие цивилизации суть или недоразвившиеся или полуразвившиеся приближения к ней... Наоборот, пример России показывает, что многое в теории и практике Запада или просто плохо само по себе или не приспособлено к материальным и психологическим условиям других народов и рас». Мы полагаем, что эти формулировки — одни из лучших в мировой литературе трактовок затронутых в них вопросов. — Автор указывает, что европейцам и американцам следует усвоить «из изучения России, европеизованной и неевропеизованной, и из евразийских теорий, для которых русский опыт послужил основанием, что цивилизация существенно разнообразится по типам, в зависимости от объектов, к которым направляются желания и интересы различных народов». Здесь автор близко подходит к учению *Н. Я. Данилевского* о «культурно-исторических типах». В то же время он является горячим сторонником «вселенской культуры».[100]) — Вот сочетание, над которым следовало бы задуматься тем критикам, которые, на основании близости некоторых мыслей к *Данилевскому*, приписывают евразийству отрицание «общечеловеческих начал».

Вразумительный очерк основных положений и практической сущности евразийства содержится в книге *П. Н. Малевского-Малевича*.[101]) Короче обзор *Д. П. Святополк-Мирского*.[102]) Из работ еще меньшего размера отметим статью *Гаррисона* в «Ивнинг Стендерд». При очень небольшом объеме она сообщает не мало данных о евразийстве. Но есть в ней и такое «глубокое» историческое наблюдение: «все таки по мнению евразийцев большевики менее вредоносны для России, чем Петр».[103]) Это утверждение тогда же вызвало опровержение со стороны одного проживающего в Англии евразийца, в виде письма в редакцию «Ивнинг Стендерд». Еще более сжатое сообщение о евразийстве, характера скорее не статьи, а заметки, было помещено в «Ливинг Эдже».[104]) Заслуживает внимания очерк *Ланселота Лоутона*.[105]) Говоря о евразийстве, он оповещал английскую публику: «новая сила народилась в мире мысли».

Заметное развитие получило евразийствоведение среди славянских народов. На одном из первых мест стоит *Польша*. Для обозначения евразийства здесь создалось несколько терминов. Цитованный выше *Казимир Чапинский* упоминал «eurazyjnosć». *Проф. Мариан Здзеховский* в 1923 г. ввел термин «eurazjatyzm». *М. Уздовский*, в своей брошюре 1928 г., отметил, что евразийцы опираются не на азиатизм, но на «азийство» России, которому придают религиозное значение. Он считал, что русское обозначение лучше передается словом «eurazjanizm».[106]) *Уздовский* не прав в утверждении, что в польской публицистике *Здзеховский* был первым, кто обратил внимание на евразийство: упомянутая выше статья *Чапинского* предшествует книге *Здзеховского*.[107]) Эта последняя, к сожалению, осталась для нас недоступна. Русский рецензент говорил о ней следующее: «От внимательного взора проф. Здзеховского не укрылось и так называемое «евразийское» течение в нашей общественной мысли. *Здзеховский* угадывает его значительность и повидимому склонен отнестись к нему не только с вниманием, но даже с признанием».[108]) Что касается *М. Уздовского*, то в своей брошюре он совершенно неосновательно заявил, что «в отношении Польши евразийское движение заняло с самого начала враждебную позицию». Это утверждение вызвало справедливое опровержение со стороны *С. Л. Войцеховского*, который в своей статье в «Дроге» дал попутно самостоятельное и весьма ценное изображение евразийства.[109]) — Еще в конце 1924 г. толковую заметку о евразийстве дала варшавская газета «Речь Посполита».[110]) В ней содержится, между прочим, такое сообщение: «В последнее время объявили о своих симпатиях к евразийскому движению некоторые русские артисты, находящиеся, вообще говоря, вдали от политических дел. В числе других, является евразийцем знаменитый композитор Игорь Стравинский, который недавно концертировал в Варшаве». В начале 1925 г. «Курьер

99) Цит. соч., стр. 260-264.
101) A new party in Russia, by P. Malevsky-Malevitch, Лондон 1928, стр. 119.
102) D. S. Mirsky. The Eurasian movement, Slavonic Review, December 1927, стр. 311-320.
103) E. J. Harrison, A New Russian School, The Evening Standard, 4 ноября 1925 г.

104) «Europasians», The Living Age, 31 июля 1926 г.
105) The Synthetic Civilisation of To-morrow, by Lancelot Lawton, The Sphere, 30 апреля 1927 г.
106) Цит. соч., стр. 7.
107) Prof. Marjan Zdziechowski. Europa, Rosja, Azia — Szkice Polityczno-Literackie, Wilno 1923.
108) Рецензия *Н. А.* на книгу *Здзеховского*, Русская Мысль (Прага), 1923, книга VI-VIII.
109) Польша и евразийство, напечатано по польски в «Дроге». Краткое изложение этой статьи в заметке *А. Д-ина*, газ. «Сегодня» (Рига), No 113, 28 апреля 1928 г.
110) Eurazyjstwo, Rzecz Pospolita, 12 listopada 1924.

Польски», говоря о советской политике в Азии, сослался на евразийство, как на формулу этой политики.[111]) Недоразумение вскрыла «Газета Поранна», которая дала краткий очерк евразийских идей. — «Курьер Польски» продолжил свои экскурсы, и не с бо́льшим успехом. Говоря об украинском вопросе, он превратил евразийское движение, ошибкой автора или корректора, в «евроссийское».[112]) В 1927 г. заметки о евразийстве снова обошли значительную часть польской прессы.[113]) Своей обстоятельностью выделяется статья в газете «Речь Посполита».[114]) Там же была помещена заметка о «формулировке 1927 г.».[115])

В чешском евразийствоведении с разобранной выше более ранней работой *Н. В.* может конкурировать по обстоятельности и точности только статья *Сергея Равозина*: Евразийство.[116]) Краткий очерк истории движения составлен с исключительным знанием дела и тщательностью. В конце второй статьи автор говорит следующее: «Порука успеха евразийства заключается, конечно, в нем самом, в его способности отобразить пульс русской жизни и ее настроения». Автор полемизует с провозглашенным в мировоззрении евразийцев «приматом православия», находя его «поразительным по своей неуместности и вредоносности, именно в отношении к Евразии, где столько не-христианских вероисповеданий». Автор не учитывает, что верность Православию не мешает православным евразийцам относиться с уважением и симпатией к другим вероисповеданиям евразийских народов. Автор заканчивает: «Как за евразийство, так и против него можно писать целые книги. Так туго набито оно почином, возражениями и интересными теориями». — Ранее того на чешский язык была переведена статья о евразийстве *В. В. Зеньковского*, напечатанная первоначально по хорватски.[117]) В ней есть неправильное утверждение о «полном отвержении славянских проблем» евразийством. Статье *В. В. Зеньковского* д-р *Альфред Фукс* посвятил передовую в газете: «Лидове Листи» (клерикальный орган).[118]) Из рассмотрения евразийства он делает следующий вывод: «Все эти и подобные... направления подтверждают, что культурная программа унионизма в смысле религиозного и культурного синтеза между Западом и Востоком становится все актуальней и возможно, что именно она представляет собою решающий вопрос для будущего всей западной цивилизации... Европейская культура будет иметь свое мессианское послание в мире только в том случае, если будет христианской». В 1925 году содержание брошюры «Наследие Чингис-хана» было изложено в передовой газеты «Народни Освобозени» (No 242). Резко западническую критику евразийства дал *И. Славик*.[119]) Он рассматривает отношение евразийцев к Православию: «Уже это указание вскрывает, насколько, в сущности, мало оригинального в тезисах евразийцев. Только сильное национальное чувство, которое обнаруживают евразийцы, является небывалою новизной и обеспечивает движению в будущем значительный успех, поскольку после революции национализм в России будет на восходящей». Это отождествление евразийства с национализмом весьма отличительно для западнического сознанья. Дальше — неожиданное заключение: «это движение, сознательно или бессознательно, выравнивает дорогу монархической реставрации». Оно «видит элементы новой культуры в том, что собственно было наследием недостаточной цивилизации. Каждому ясно, что большая часть ужасов и зверств русской революции падает на счет того, что русский мужик был мало образован (!) — евразийцы его «бунтарство» приписывают западным влияниям. Они испортили, яко-бы, мужика, покорного воле Божьей... Новым течениям мысли не всегда прокладывает путь прямая логичность и научность. Помогает им в жизни возмущенное чувство, смятение в душе, когда неизвестно, куда что». Несколько сходно со статьею *И. Славика* выступление в чешской печати *Валерия Вилинского*.[120]) Это как бы «попури» из эмигрантских версий о евразийстве. Говорится здесь о том, что его «колыбелью были ямы, заводы и грязные ночлежки Царьграда, крестными отцами — квартирные хозяйки и сторожа, английские полицейские, французские жандармы». — Повторяется версия *Е. В. Спекторского*, что отцом евразийской мысли является желание современной Европы (см. выше). Для *В. Вилинского* «географические,

111) Wrota do raju Eurazji (статья по поводу советско-японского договора), Kurjer Polski, 28 stycznia 1925.

112) Spór rosyjsko-ukraiński o odrębność Ukrainy, Kurjer Polski, 28 мая 1926 г., и несколько местах.

113) Zamętu: Nowe rosyjskie prądy umysłowe, Kurjer Warszawski, 28 lipca 1927; Gazeta Warszawska Poranna, 30 lipca.

114) Nowa latorość ideologji rosyjskiej, Rzecz Pospolita, 8 grudnia 1927.

115) 9 grudnia 1927.

116) *Сергей Равозин*: Евразийство, журналъ «Прижерод», N N от 22 и 29 апреля 1927 г. (ввиду отсутствия чешского шрифта в типографии, мы принуждены транскрибировать чешские заглавия русскими буквами).

117) *В. В. Зеньковский*: Патржи Руско Европе небо Азии, журнал «Приготомность», 21 мая 1925 г. Первоначально статья появилась в журнале «Нова Европа» (Загреб), 21 мая 1922 г.

118) *Др. Альфред Фукс*: Евразие, «Лидове Листи», 29 мая 1925 г.

119) *И. Славик*, рецензия на «Евразийский Временник», кн. IV, «Словански Прегледъ», No 5-6, октябрь 1925 г.

120) *Др. Валерий Вилинский*: Евразийство, «Приготомность», 15 августа 1929 г.

ботанические и климатические выводы евразийцев оказались мыльными пузырями, которые лопнули при первом прикосновении». Заключение это обращено специально по адресу автора этих строк. Однако, я не могу считать *В. Вилинского* действительным своим оппонентом. Его статья показывает, что он *просто не осведомлен* о том, как обстоят в современной науке затрагиваемые им «географические, ботанические и климатические» вопросы. — *В. Богач* поднятые евразийством вопросы рассматривает с точки зрения чешских интересов: «По западноевропейским понятиям мы все, как славянское племя, являемся менее ценным диким Востоком... а если мы будем западными передовыми стражами великой шестой части света, наше значение будет велико и хозяйственно, и политически».[121]) Полторы страницы посвящены евразийству в очерке *Г. Радченка*: Политические направления в русской эмиграции.[122]) В политическом отношении он относит евразийство к «центру». В чертах лубочной картинки изображено отношение евразийцев к императорскому периоду. Точнее, чем обычно, объяснена сущность «идеократии», но недостаточно подчеркнуто, что коммунистический режим евразийцы не признают идеократией в подлинном смысле слова.[123]) Хвалебную рецензию о «Евразийском Сборнике», кн. VI, поместила газета «Венков».[124]) — По поводу неосведомленных выпадов некоторых чешских газет по адресу евразийства, с изображением истинной его сущности выступила в чешской печати *Ева Юрчинова*.[125])

К 1924 г. значительное развитие получило *хорватское* евразийствоведение. Его положение Русский Кружок в Загребе в письме в редакцию «Евразийского Временника» от июля 1924 г. изображал в следующих чертах: «Русский Кружок первый осведомил наше общество об идеологии евразийцев. Член нашего Кружка, хорватский литератор г. *Сречко Кирин* читал в прошлом году цикл лекций о евразийстве. Почти все наши литературные журналы привели более или менее обширные сведения о евразийском движении. Отдельно упомянем критический очерк *С. Кирина* в журнале «Нова Хрватска», 1924, NN 1, 2, 4, 5, затем в журнале «Югославенска Нива» информа-

121) *Мр. В. Богач*: Шести дил света, журнал «Нова Прага», 24 февраля 1927 г.

122) *Григорий Радченко*: Политицке смери в руске емиграци, «Славянски Пржеглед», ноябрь 1928 г.

123) В силу того, что сами коммунисты не ощущают идеи, как самостоятельной действующей силы.

124) «Венков», 23 июля 1929 г.

125) *Ева Юрчинова*: Евразийстви, «Ческословенска Република», 4 апреля 1930 г.

тивные статьи *В. Маркова*[126]), в журнале «Хрватска Просвета» — *К. Римарич-Волынского*[127]) и бесчисленное количество заметок в ежедневных газетах «Обзор», «Слободна Трибуна» и др.». Статьи о евразийстве появлялись в хорватской печати и в последующие годы.[128]) — Из названных выше работ отметим в особенности статьи *Сречка Франкевича Кирина*. Дав общий обзор евразийства, он посвятил, кроме того, особые очерки *Н. С. Трубецкому* и *Г. В. Флоровскому*.[129]) Общий его вывод таков: «Евразийцам, более чем какой-либо иной существовавшей доселе группе русских идеологов, принадлежит заслуга окончательного освещения и разъяснения сущности и содержания русского народного характера. То, что инстинктивно и психологически показали великие русские романисты, согласно индивидуальным своим особенностям то утвердили евразийцы, открыв общую пластичную форму, в которой тысячелетия таилась истинная русская психика. После евразийцев не может быть старого панславизма».[130]) Определению подлинной природы русского народа *С. Кирин* приписывает большое значение и в творческом самопознании хорватов.

Из числа *болгарских* статей рассматриваемого периода мы можем отметить очерк *П. М. Бицилли*: Евразийство, в издании «Изток».[131])

III.

Приступаем к рассмотрению полемики с евразийством по основным видам этой полемики (анти-религиозной, анти-православной, анти-восточной и т д.)[132]).

Из числа «демократических» критиков евразийства наибольшей определенности в смысле анти-религиозном достиг *Б. Мирский*. В статье: Трон и алтарь, посвященной довольно беспорядочной полемике со «всевозможными евразийцами», он говорит следующее: «Право, государство, культура, это все не только «без Бога», это против Бога. Мораль демократии «автономна»... она чужда каких бы то ни было «гетерономных» ссылок на Бога... Демократическая культура не имеет ничего общего ни с Галилеянином, ни с Моисеем. Демократическая

126) Valerijan Markov. Evrazijci (Nove struje u ruskoj filozofskoj misli). Jugoslavenska Njiva, 16 марта 1924.

127) K. Rimarić-Volinski: Evrazijci i Skiti — dvije novije struje u ruskoj publicistici, Hrvatska Prosvjeta, 25 listopada 1924.

128) Kn. Evrazijski Pokret, газ. Obzor (Загреб), 16 kolovoza 1924. — Evrazijstvo, Obzor, 19 мая 1930 г.

129) Nova Hrvatska, 1924, NN 2 и 4.

130) Nova Hrvatska, 1924, No 1, стр. 30.

131) No 42, 31 октября 1926 г.

132) См. стр. 12-13.

культура терпит все церкви, но изгоняет каждую из школы, армии, гражданских обязанностей» [133]). — Значительно более умеренным, в этом отношении, были сменовеховские критики евразийства из берлинской газеты «Накануне». *Искатель* писал в этой газете: «Нельзя отрицать значения религиозного момента для человека вообще и русского в особенности (теперь ни «сменовеховцам», и ни кому иному власть не простила бы такого утверждения! *П. Н. С.*). Но религия — лишь одна из граней жизни. И немыслимо, изалежая из всей полноты бытия одну лишь тонкую нить, объявлять ее силою, творящею все великое многообразие действительности... Принять революцию, принять Россию — можно лишь такою, какою она сама слагается и выстает в грозе и буре великого перелома, а не такою, какою ее хотел бы видеть тот или иной субъективный, из личных переживаний сотканный идеал» [134]). Перефразируя известный марксистский лозунг, евразийцы могли бы сказать, что для них не так важно «принять революцию», как *преобразовать* ее. — В тех же тонах выдержаны критические замечания *М. Л. Слонима*. Говоря о евразийцах, он заявляет: «...очень удачен их термин «Евразия» для обозначения русского мира. И... глубоко должна мысль, будто «Евразия» выразится православной церковностью» [135]). Критике *М. Слонима* созвучна критика евразийства у *Б. Шлецера* [136]). Рассматривая религиозные утверждения евразийцев, автор статьи заявляет: «я склонен думать, что построения эти расцвели по закону контраста: они так сильны именно потому, что действительность им противоречит, потому что в этой действительности нет ничего, что могло бы питать и обосновать эти мечты и стремления». Более внимательный взор увидал бы в действительности и 1922-го и 1931-го года не мало явлений и фактов, которыми подтверждаются религиозные утверждения евразийцев. — По существу, к той же группе критиков принадлежит и *Ал. Д. Билимович*, в статье своей: Богоискатели, евразийцы и материальная культура [137]), — хотя он и заявляет себя верным сыном Православной Церкви. Он зовет к пониманию «значения производства» (ибо этого понимания «как раз не доставало русскому обществу») и высказывается против «разглагольствования» о религии «в статьях и собраниях». Все это — довольно близко к

133) Воля России, журнал политики и культуры, No 14, 1 сентября 1923 г., Прага, стр. 47.
134) Статья: «Без путей», Накануне, 24 июня 1922 г.
135) Статья: «Евразийцы», Воля России, No 2(30), 1 октября 1922 г., стр. 20.
136) Статья «Закат Европы», Современные Записки, общественно-политический и литературный журнал, 30 сентября 1922 г., стр. 338-348.
137) Русская Мысль (Берлин), 1922, книга VIII-XII, стр. 83-101.

той программе, которую теперь осуществляют коммунисты. «Значение производства» проповедуется самым широким образом. И под предлогом служения производству уничтожаются одна за другою отрасли культуры, не имеющие отношения к «материальной культуре». Яко-бы во имя «производства» стираются с лица земли невосстановимые и единственные памятники искусства. И делается все возможное и невозможное, чтобы культуру бесповоротно оторвать от религии. — *А. Д. Билимовичу* приписывает евразийцам «презрение к ... материальной... культуре», которого у них нет. Наоборот, вопросам экономической жизни евразийцы уделяли и уделяют величайшее внимание. Но им присуще глубокое убеждение, что не в «понимании значения производства», а в *понимании духовных основ жизни* — та целительная сила, которой может преобразиться современная русская жизнь. В этом понимании заключается и залог подлинного расцвета «производства». — От имени евразийцев *А. Д. Билимовичу* тогда же ответил *Г. В. Флоровский* [138]).

Странное впечатление производит латинская полемика с евразийством. *М. д'Эрбиньи* прославляет благодеяния Римской церкви русским эмигрантам. Здесь левая рука точно знает, что делает правая. Автор обрушивается на авторов сборника «Россия и латинство». По его мнению, они не могут сказать, к т о именно получил материальную выгоду от перехода в латинство. Увы, чуть ли не каждый, живущий в эмиграции, в этом случае без затруднения назовет имена. Один из авторов сборника, профессор всеобщей истории, автор ценнейших исторических трудов назван *«неким* П. М. Бицилли» (un certain P. M. Bizilli). А когда очередь доходит до разбора статьи *Г. В. Вернадского*: «Соединение церквей» в исторической действительности», то автор рецензии «из сострадания» (par compassion) воздерживается от анализа [139]). Трудно представить более грустную и менее достойную картину!

Некоторые неправильные утверждения *д'Эрбиньи*, происшедшие от неточного перевода с русского [140]), воспроизведены в очерке евразийства, писанном *иеромонахом Львом* [141]). Вообще очерк этот составлен довольно сбивчиво. Сначала читатель уз-

138) Письмо к редактору «Русской Мысли», Русская Мысль, Прага-Берлин, 1923, кн. I-II, стр. 298-306.
139) *Michel d'Herbigny*, S. I., Les Russes «Eurasiens» et le catholicisme, Orientalia Christiana, сентябрь-ноябрь 1924, стр. 70-78.
140) Напр., неправильно понят смысл слов о «соединении церквей» на первой странице текста в сборнике.
141) Hiéromoine Lev de la laure d'Univ (Galicie orientale): Les orientations de la pensée religieuse russe contemporaine, Prieuré d'Amay, 1927, стр. 15-17.

нает, что спасение России и даже всей Европы евразийцы видят в Азии, при чем под Азией одни подразумевают довольно неопределенные местности Ирана и окаймляющие страны, другие — Индию (в такой форме это никогда не утверждалось евразийцами!). На следующей странице автор передает утверждения евразийцев в том смысле, что «они не требуют полной «азиатизации» русской культуры, но только учета туранских элементов (и без сомнения — иранских), которые, вместе с европейскими, составляют эту культуру».

Откровенно направлена против Православия, во всей полноте его вневременной и исторической Правды, статья *Николая Фальковского* в журнале «Вера и Родина»[142]). Вопроса о «соединении церквей» для него не существует. Он говорит «о присоединении православия к Католической Церкви»: «в этом случае православие не отказывается ни от догматов (все догматы православия входят в католическое исповедание веры)[143]), ни от таинств, ни от обрядов; отказаться, «капитулировать», надо лишь от тормозящего православную жизнь революционного отношения к Христом установленной единой вселенской иерархии». Вопросом об иерархии здесь заслонен основной для православного сознания вопрос о том еретическом искажении христианства, которое произведено Римскою церковью.

В полемике с евразийством многими выступлениями представлен *анти-восточный фронт*. По поводу утверждения евразийцев, что русская государственность в одном из своих истоков произошла от татарской, *Н. Н. Алексиков* пишет: «это неверно: русская государственность возникла именно благодаря тому, что она победила в конце концов татарскую государственность, а победила она ее только благодаря тому, что усвоила, наконец, византийский принцип единства власти»[144]). Евразийцы и не думают отрицать значения «византийского принципа». Но вот в чем вопрос: почему Русь, в практике государственной жизни, оказалась невосприимчивой к этому принципу в XI-XII вв. и «усвоила» его, «наконец», в XV в.?— Не помогли ли здесь «византийскому принципу» те же татары? — *Н. Н. Алексиков* продолжает: «Туранские предки» — это тот вековой враг с Востока, который нападал в течение целого ряда веков на русскую землю, это тот татарский хан, которому русские князья вынуждены были кланяться в Орде...». — Вспоминаете дурное,

142) Статья: «Соблазны единения» кн. Н. С. Трубецкого», Вера и Родина (Ревель), No 7, июль 1924, стр. 133-142.

143) Автор делает вид, что не понимает, или же не понимает действительно, что латинское «Filioque» — и не только оно! — *противоречит* православной догматике.

144) Статья: Культурный путь России, Русский Военный Вестник, No 44, 6 июня 1926 г.

вспомните и хорошее — вот призыв, который обращают евразийцы к русским историкам, в вопросе отношений России с Востоком. Евразийцы отнюдь не закрывают глаз на то зло, которое было в истории. Был «вековой враг», но были и татарские полки, которые бились за общее с русскими дело. Не мало интересного, в этом отношении, собрал *Г. В. Вернадский* в своем «Начертании русской истории»[145]). — Но вот она — историческая справедливость: *Н. Е. Марков* провозглашает: «Большевизм идет из Азии так же, как и коммунизм; право и собственность — из Рима. Спасение России—лицом к Европе. В этом—смысл рассеянья нашего»[146]). Коммунизм Маркса и Энгельса, опирающийся на нескольковековую европейскую традицию, пришел к нам из Азии? Вот до чего могут договориться правые «анти-восточники». — В этих мотивах «демократ» *Д. Философов* созвучен вождю крайних правых: «Особенно прискорбно, что ... нездоровое тяготение к Азии,... старческое стремление не только к допетровской Руси, но даже к татарскому игу, овладело некоторыми кругами нашей эмигрантской молодежи»[147]). Должны засвидетельствовать, что внимание к отношениям России и Востока, в их историческом прошлом, определяется вовсе не «старческим стремлением». В этом внимании — любовь к исторической истине и воля к нахождению *в будущем* правильных форм сожительства населяющих Евразию народов. Поразительно близка к установкам *Н. Е. Маркова* и *Д. Философова* точка зрения *Б. Каменецкого* [148]): «именно оттого и потерпела Россия столько беды, что в ней было слишком мало Европы, Запада, и слишком много Востока». Если рассуждать так, то и беды французской революции придется отнести на счет того, что во Франции было «слишком много Востока». — Для взгляда, не затуманенного европопоклонством, совершенно очевидно: да, в самой России была бунтарская стихия (именно, в самой России; не-русский Восток в последние десятилетия не играл здесь значительной роли); но вооружили эту стихию и сделали ее дееспособной, конечно же, *западные* влияния. — «Анти-восточные» мотивы сказались в части русской прессы и при оценке книги *Э. Д. Хара-Давана*: Чингис-хан, как полководец и его наследие. Серьезные наблюдения автора над характером монгольской мировой державы рецензент из «Возрождения» позволил себе назвать «историческими благоглупостями»[149]).

145) См. также книгу *Н. А. Клепинина*: Святый и благоверный великий князь Александр Невский, Париж 1927.

146) Программа лекции *Н. Е. Маркова* 21 июня 1925 г. в Париже, напечатана в «Возрождении».

147) Статья «Божественная мера», За Свободу, 8 июня 1925 г.

148) Статья: Около Евразии, Руль, No 1310, 25 марта 1925 г.

149) *В. Л.* Наивная, но вредная книга, Возрождение, 4 ноября 1929 г.

Премудрость рецензента из «Последних Новостей» выразилась в следующей фразе: «сборники летописей и сказаний о монгольских деяниях, вероятно, еще требуют своего Нибура, если это... не слишком громко для монгольской истории»[150]). Монгольская история — одна из важных глав в истории мира. Ее события отозвались во всех углах Старого Света. И никакой Нибур для нее «не слишком громок». Этого не видит только «русский европеец», горизонт которого, конечно, гораздо ограниченней, чем горизонт настоящего европейца. — Евразийский же горизонт должен быть ш и р е европейского[151]).

В. Б. Шульгин говорит об Азии: «Азия ведь это океан разнообразия: и Индия, и Китай, и Индо-Китай, и Япония и бесконечное число других культур, которые, кстати сказать, никакого отношения к русской культуре не имеют»[152]). Вот опять — недопустимое сужение русского культурного горизонта! Конечно, все перечисленные *В. В. Шульгиным* культуры не принадлежат к евразийскому кругу. Но русско-евразийская культура имеет к ним такое же отношение, как к культурам Европы, это — культуры соседних с Евразией миров. Россия должна знать Азию и брать у нее все, что есть в ней лучшего — как не должна заниматься и от Европы. Именно сочетание своего основного и с восточным и с западным есть гармоническое и *должное* сочетание. Тезис *Шульгина* есть тезис культурного провинциализма.

Его утверждения переходит в особый вид национального самоуничижения: «несмотря на все свои недостатки, «гнилой запад» все-таки существует, в то время как «восток» провалился в тартарары». С *В. В. Шульгиным* солидарен *А. А. Кизеветтер*: «переживаемые Западной Европой пертурбации пока еще ни одну западно-европейскую страну, — включая и недавних победителей и недавних побежденных, — к катастрофе не привели и не вызвали в них таких потрясений, ареной которых служат теперь «евразийские пространства»[153]). Здесь приходится напомнить, что «потрясения» не всегда служат знаком слабости или низкого качества, как то подразумевают по адресу своей родной страны оба названных автора — но могут служить и знаком *избранничества* — того, кто окажется достоин. — А что касается Европы, то в новой ее истории именно *передовые* страны были странами революций.

Европопоклоннические мотивами проникнута вся полемика с евразийством. Некоторые критики выступают в неблагодарной роли непрошенных защитников Европы. *Б. Каменецкий* утверждает: «И вовсе не потеряла Европа своей гегемонии над миром: она продолжается»[154]). — «Не боится русских варваров Европа... — гневно крикнул евразийцам проф. Кизеветтер», согласно передаче *Е. Д. Кусковой*[155]). Евразийцы и не собирались пугать Европу «русскими варварами». Тем знаменательней позиция, занятая проф. *Кизеветтером*. Не будет преувеличением сказать, что в полемике с евразийством сказываются *анти-русские* мотивы.

Проскальзывают они и в высказываниях о евразийстве некоторых *украинских* авторов[156]). Суждения о евразийстве *Дм. Андриевского* — следующие: «Нашою думкою є те, що власне в євразійстві російський народ доходить до своєї національної свідомости і правильно накреслює шлях в будучину. Натуральним є те, що він шукає на сході спільників і однодумців. Наш же шлях є на захід. Ціле наше єство, історія, будучина диктують нам спільність з заходом»[157]). — Однако, такое решение наталкивается на немаловажные препятствия: в украинском народе восточничество представлено не менее, чем в великорусском; выразилось оно и в верности Православию. По месторазвитию, украинский народ, из всех ветвей русского племени, наиболее степной, т. е. наиболее «вне-европейский». Это подтверждается и «расовым коэффициентом», который у украинцев более «восточный», чем у великороссов[158]). Граница Евразии пролегает не между великороссами и украинцами, как того хотелось бы *Д. Андриевскому*, — но по западным рубежам украинской территории. Этот вывод замечательным образом подтверждается

150) *Н. К-г*: Чингис-Хан, Последние Новости, ноябрь 1929 г.

151) Другие рецензии и упоминания о книге *Э. Д. Хара-Давана* появились: в «Возрождении» 20 ноября 1929 г., в «Последних Новостях» 3 декабря, в «Правде» (Москва) 10 декабря, в «Новом Времени» 13 декабря того же года, в журнале «Родная Старина» (Рига), No 8. См. также рецензию *Кус-Николаева* в «Orientalistische Literaturzeitung» 1931 Nr. 2.

152) Статья: Евразийство, Возрождение, No 9, 11 июня 1925 г.

153) Русь, 16 января 1925 г.

154) Русь, 25 марта 1925 г.

155) Статья: Вправление мозгов, газета «Дни», 20 декабря 1924 г., No 646. Написана по поводу выступления в Праге *И. С. Белецкого*.

156) Мы оставляем в стороне, как известную читателям евразийских изданий, весьма интересную полемику, которая велась на страницах «Евразийской Хроники» (выпуск X, Париж 1928, стр. 41-59) между *Д. И. Дорошенком* и *Н. С. Трубецким*.

157) *Дм. Андрієвський*. Євразійство, тижневик Тризуб, 15 серпня 1926 г. Цитуем текст по украински, считая, что украинский язык понятен каждому образованному русскому. Не понимать по русски — это печальная привилегия некоторых украинских кругов, которая, видимо, и побудила украинских авторов перевести на украинский язык добрый десяток страниц евразийских текстов.

158) См. статью *В. Т.*: Понятие Евразии по антропологическому признаку, Евразийская Хроника, вып. VIII, стр. 29.

и лингвистическими данными.»[159]) — Вышедшая в 1930 г. брошюра *О. Мицюка* «Евразийство» (см. стр. 9) отмечена рядом произвольных утверждений. Так, напр., рассматривая понятие «симфонической личности», автор заявляет: «У цім колективнім носію особистости, соборнім і многонароднім, що складається з окремо-народніх чи приватно-народніх субектів, пануюче значіння мусить належати москалям».[160]) Где и когда евразийцы утверждали, что господствующее значение должно принадлежать великороссам? Нет, Евразию евразийцы рассматривали и рассматривают как подлинный «собор народов», где каждому народу уделяется место, согласно его способностям и воле к культуре. — Пред лицом новейшей политической и экономической программы евразийства имеет совершенно курьезный вид попытка автора свести евразийство к формуле: православие, самодержавие и народность.[161]) Заключение автора — такое: евразийство «відбиває загострене нині націоналістичне почуття великоруських елементів по обидва боки червоного кордону, будучи реакцією на комунізм і матеріялізм та свого рода «ідеалізмом», і на наш погляд, ма вигляди повести за собою ширші маси великоруського народу».[162]) — Евразийцы уверены, что в исторической перспективе евразийская идея имеет эти шансы в отношении не одного только великорусского, но и всех народов Евразии.

Особый вид критики, который мы назвали «анти-этническим», представлен *Александром Салтыковым*. Автор исходит из различения «этноса» и «нации». Этнос — это народ и народный быт. — Нация — это «витающая» над ним идея. Для *Салтыкова* все плохо, что от этноса, и все хорошо, что от нации. С этой точки зрения он критикует положения евразийцев, требующих, чтобы культурное творчество было согласовано с культурными данностями народного массива. *А. Салтыков*—крайний апологет императорского периода. «Российскую нацию именно и создало положение, при котором... — *во имя величия России практически преследовалось все самобытно русское*. Трудно ярче и сильнее, проникновеннее, выразить существо и горящий центр зарождения и создания Российской нации. Это преследование и искоренение всего «самобытно-русского» и есть отказ от этнизма и борьба с ним. И этот отказ и борьба действительно создали Российскую нацию и российскую культуру». Но они же, добавим от себя, явились факторами переживаемых ныне потрясений. Нет сомнения, что каждой великой культуре

159) См. брошюру *Р. О. Якобсона:* К характеристике евразийского языкового союза, Париж 1931.
160) Евразійство, Прага 1930, стр 4.
161) Цит. соч., стр. 17.
162) Цит. соч. стр. 27.

неизменно присущ некоторый уход от этноса, подъем над ним. Но и в подъеме этом должна сохраняться связь с «этносом», должны звучать народные, «почвенные» мотивы. Поскольку теория *А. Салтыкова* не учитывает этой необходимости, она есть голая выдумка, собрание мертвых, недейственных слов.[163])

На фронте критики *анти-идеократической* выступил *П. П. Гронский*: «Идеократия князя Н. С. Трубецкого есть не что иное, как такая система управления страной, которая в корне отрицает основной принцип современного демократического государства — участие всех и каждого в государственной власти через систему народного представительства и широко развитого местного самоуправления».[164]) Совершенно правильно, что защищаемого ими государственного строя евразийцы не называют демократическим, но это отнюдь не означает, что в нем нет участия народных масс в государственной власти «через систему народного представительства и широко развитого местного самоуправления». И то и другое (и народное представительство и самоуправление) евразийцы считают необходимым элементом евразийского государства и воплощают оба эти начала в *преобразованной системе советов*. Идеократия отнюдь не противоречит принципу народного представительства. Идеократия — это тип образования правящего отбора. Евразийцы высказываются за государственно-правовое оформление этого отбора (государственного актива), в противоположность обычному европейскому порядку, где он существует как бы «нелегально». Государственный актив, в евразийской политической системе, представляет собой начало *постоянства*, начало целестремительности и плановости. Это — как бы — *константа* государственной жизни. Но по убеждению евразийцев — нормальное государство возможно только там, где эта «константа» находится в постоянном взаимодействии с учреждениями, представляющими начало *народности* в государственном строе. Это и есть преобразованная система советов. — Евразийцы готовы принять формулу «Последних Новостей», высказавшихся в том смысле, что евразийское учение (в политической области) есть «возвращение к ... дуализму государственного строя».[165]) Только это

163) Наиболее крупная статья *А. Салтыкова*, имеющая отношение к евразийству: Евразийцы и украинцы, напечатана в журнале «Карпатский Свет» (Ужгород), 1929, 7-8-9, 10-11-12, 1930,3-4. Из этой последней книжки заимствована и приведенная цитата, стр. 930-931. Статья вышла также отдельной брошюрой. Той же основной теме посвящена статья *А. Салтыкова*: Евразийство и Московская Русь, Возрождение, No 1325, 17 января 1929.
164) Статья: Идеократия, Последние Новости, 22 сентября 1927 г.
165) Передовая в номере от 3 декабря 1927 г. по поводу выступления *Н. Н. Алексеева* в Праге.

вовсе не «монархический дуализм», как то полагают запоздалые в прошедшем веке «Последние Новости». Это — освобожденный от всяких монархических одежд дуализм *постоянства и народности*, государственной идеи, воплощаемой государственным активом, и интереса минуты, выражаемого меняющимся исходом выборов.

Евразийское отношение к советской системе полнее всего выражено в брошюре *Н. Н. Алексеева*: На путях к будущей России. Советский строй и его политические возможности (1927). Чрезвычайно характерна критика этой брошюры, данная в эмигрантской печати. По утверждению *М. В. Вишняка*, *Н. Н. Алексеев*, в своей аргументации, «ограничился доводом общего порядка, тем, что от непримиримости с началами права, законности и т. д. ныне действующей системы советов нельзя заключать к непримиримости с этими началами советской системы вообще». *М. В. Вишняк* не согласен с этим заключением: «...достаточно вдуматься в то, что живит и приводит в движение всю систему, вокруг чего все — от лишения гражданских свобод и до открытой подачи голосов — вращается в СССР, чтобы увидеть в диктатуре ВКП spiritus rector, приводной ремень ко всему советскому механизму, его начало и конец, с которой стоит и падает вся система... самоочевидно, что советы и правовое государство, свобода и советы — вещи несовместные и полярно-противоречивые».[166]) Вот, поистине — слепорожденные люди! Что же есть мир? совокупность ли негибких окостенелых явлений, которые существуют так, как они есть, и погибают такими же — или система меняющихся, развивающихся форм, пластичных, открытых творческому воздействию? Для *М. В. Вишняка*, видимо, первое, для нас — второе. Чего хотите: снова уничтожения существующих форм, хотя бы и несовершенных (потому и подлежат они развитию и преобразованию!) и насаждения европейских? Поверьте, из этого опять ничего не выйдет. Вдумайтесь хотя бы в приведенные выше слова «английского евразийца» — человека, который смотрит со стороны и которого никак нельзя обвинить в «отталкивании от запада». Даже открытая подача голосов представляется вам явлением, с которым вы не можете справиться. Как будто эту подачу нельзя заменить иной, отнюдь не устраняя советов, как иерархически расчлененной формы управления и самоуправления. Нет, евразийцы твердо стоят на лозунге *преобразования и развития советской системы*.

Невольно приходится задуматься о том, что двигает критиками: просто ли они сердятся, и потому не способны думать, или же многолетнее «европейничанье» и вообще лишило их этой способности.

Н. П. В. говорил в «Последних Новостях»: «Не чувствуя в себе творческих сил, оба союзника (т. е. *Н. Н. Алексеев* и евразийство) в «поисках новых политических возможностей»... «уцепились за советы» и в спешке преклонились не столько перед советской действительностью, сколько перед ее евразийско-сочувственным искажением».[167]) Так отобразилась в сознании автора из «Последних Новостей» идея *творческого развития из существующего*. Кого же можно упрекнуть в отсутствии «творческих сил»?

Рассматривая критическую часть брошюры *Н. Н. Алексеева*, *А. А. Кизеветтер* высказывает суждение о русских авторах, касавшихся несовершенств в политическом строе Европы: «подберут несколько крох с роскошного стола ее же научной самокритики, да и выдают эти крохи за изобретение восточно-русского мышления».[168]) — Трудно найти иностранного автора, который шел бы так далеко в уничижении русского духа, как это делает *А. А. Кизеветтер*.

Анти-этатическим критиком евразийства является *Н. А. Бердяев*:[169]) по его мнению «утопический этатизм евразийцев приводит их к той ложной и опасной идее, что идеократическое государство должно взять на себя организацию всей жизни, т. е. организацию всей культуры, мышления, творчества, организацию и душ человеческих, что есть задача Церкви». Евразийцы, действительно,— «этатисты». Но это отнюдь не значит, что они хотят, напр., передать государству «организацию душ человеческих», в том смысле, в каком это есть «задача Церкви». Что они не возлагают на государство такой задачи, это следует с полной ясностью и из их понимания отношений между государством и Церковью (см. выше). Быть этатистом — это отнюдь не значит не признавать ничего, что не есть государство. Это значит отстаивать определенные формы государственной активности и прежде всего — решающую роль государства в хозяйстве, в форме «контроля» и в форме государственной собственности. Наряду с тем, как подсобная, но важная форма должна сказываться и должна признаваться —в качестве устой-

166) Решения на брошюру *Н. Н. Алексеева*, Современные Записки, XXXII, Париж 1927, стр. 490-491.

167) Статья: Евразия и советы, Последние Новости, 6 января 1927 г.

168) Статья: Евразийско-большевицкие мелодии, Руль, № 1975, 30 мая 1927 г.

169) Статья: Утопический этатизм евразийцев, журнал «Путь», No 8, август 1927 г., стр. 141-144. Не рассматриваем здесь более ранней статьи *Н. А-ча*: Евразийцы (Путь, No 1, сентябрь 1925, стр. 134-139), на которую дал в свое время обстоятельный ответ от имени евразийцев *Л. П. Карсавин* (Путь, No 2, январь 1926, стр. 124-127).

чивого и *должного порядка* — и соразмерная роли государства роль в хозяйстве индивидуальных и «соборно-общих» субъектов (т. е. отдельных хозяев и кооперативно-артельных объединений). Иными словами, экономическая система евразийства не есть просто «государственная», *но государственно-частная* система. Поскольку же *Н. А. Бердяев* рассматривает этатизм евразийцев, как нечто *всеобъемлющее* — его критика бьет мимо цели. «Государство по природе своей ограниченно и относительно, оно ограничено в принципе субъективными правами личности и свободой творящего духа, не поддающегося никакой организации». От этих формулировок веет интеллигентским страхом пред государством. Государство не только ограничивает себя субъективными правами личности, но и созидает *щиту* этих прав. Дух, конечно, свободен. Но нельзя признать, чтобы он не подлежал никакой организации. Мы согласны с автором, что организацию эту нельзя понимать, как сплошное огосударствление духовной жизни. Но это не исключает возможности вносить начала организованности и в духовную жизнь. Плоха та организация, которая уничтожает свободу духа — тем самым она иссушает источники творчества. Но организацию, которая *направляет* свободу, которая, не противореча ей, соединяет усилия многих к единой цели — такую «организацию» евразийцы признают и ее желают, в том числе — в области научного творчества.

Другой анти-этатический критик евразийства *(Г. Д. Гурвич)* высказал очень правильную мысль: «Государство, монопольный публично-правовой собственник, неизбежно превращается во всепоглощающего Левиафана, и всякая личность и всякая группа, поскольку она не есть элемент государства... — в лишенную всякой реальной экономической опоры и способности действительного сопротивления жертву».[170]) — Поэтому-то государственная собственность и должна быть, по воззрениям евразийцев, хотя и господствующим, но далеко *не единственным* видом собственности, потому-то и должна существовать, по их убеждению, не просто государственная, но государственно-частная система хозяйства. *Г. Д. Гурвич* ставит вопрос иначе. Он стремится «довести до логического конца современное стремление освободиться от государственного социализма». В существе же, он ведет ожесточенную борьбу *с экономическим этатизмом*. Его решение социального вопроса «не может не заключаться в передаче соборной собственности на орудия производства независимой хозяйственной организации, представляющей обще-национальный экономический интерес и контр-балансирующей безусловно-принудительную государственную власть».[171]) Таким образом, хозяйственная сфера совершенно изъемлется из веденья государства. Мы готовы признать законность предположений и исканий *г. Гурвича* в контексте европейского месторазвития, — здесь, пожалуй, действительно можно конструировать «независимую хозяйственную организацию», которая, хорошо или плохо, будет представлять «обще-национальный экономический интерес». Хотя и тут возникает вопрос: не будет ли эта организация, по необходимости властная, обладать всеми недостатками государства и являться, по существу, «государством в государстве». А такое положение неизбежно ведет к анархии. Как же обстоит дело в России-Евразии? В ней и в монгольский, и в московский, и в императорский период государство было основным фактором экономического движения. В сторону этатизма направлялись здесь все силы, складывались все навыки. А ныне, в особенности, экономическое развитие здесь не возможно, вне начал этатизма. Не к *уничтожению* этатизма, но к *должному направлению* его сил надлежит стремиться россиелюбцам. Нужно добиваться сочетания его возможностей с возможностями подчиненного общей системе индивидуального и «соборно-общего» (кооперативно-артельного) хозяйства. — В условиях России-Евразии только государство может реально ставить вопрос об экономическом плане — о превращении хаоса индивидуальных усилий в космос общего дела. Этот довод является для евразийцев одним из решающих. — *Г. Д. Гурвич* делает в своей статье несколько резких выпадов против *Н. Н. Алексеева*.[172]) Защищаемую Н. Н-чем «государственно-частную систему хозяйства» он почему-то желает понять исключительно, как «самое обычное нео-либеральное учение об активной государственной политике государства и государственном вмешательстве в пользу слабой стороны». Совершенно произвольно он оставляет в стороне выраженные в брошюре *Н. Н. Алексеева* начала этатизма: «государственная промышленность обладает рядом недостатков, но в ней есть и достоинства. Государственное хозяйство в некоторых областях экономической жизни вполне показало свою жизнеспособность... Нет никаких оснований отрицать, что достоинства государственного хозяйства обнаруживаются и в других областях...»[173]) — Если мысль *Г. Д. Гурвича* освободить от прикрывающих ее приемов полемики, то его придется определить в качестве не только

170) Статья: Социализм и собственность, Современные Записки, XXXVI, Париж 1928, стр. 352.

171) Цит. соч., стр. 348, 382.
172) Цит. соч., стр. 348, 354, 356 и т. д.
173) *Н. Н. Алексеев*: Собственность и социализм. Опыт обоснования социально-экономической программы евразийства, Париж 1928, стр. 78.

анти-атеистического критика евразийства, но и своеобразного представителя анархизма.

Выразителями двух различных точек зрения, являются граф *Ю. Граббе* и *Гирей-Джабаги*. «Нельзя не отметить, что евразийцы взимствуют у большевиков и принцип федеративности, который, конечно, совершенно неприемлем ни для какого русского националиста. Ведь федерация, при наличии многих народностей, есть начало полного распадения на отдельные государства. Этому особенно содействует неизбежное при федерации составление администрации из местных жителей» [174]). Вот, можно сказать, классический образчик непонимания того обстоятельства, что крепкое государственное единство может основываться только на самодеятельности его частей. *Бассан-Гирей-Джабаги* утверждает: «тюркско-татарский мир сожительствует с Россией исключительно и единственно благодаря насилию. Было бы неправдой утверждать, что азиатские народы, а в том числе и кавказцы не стремятся как можно скорее эмансипироваться от влияния русской культуры и государственности, чтобы таким путем укрепить свою собственную политическую и культурную независимость... Поэтому в борьбе за освобождение из под русского ярма народы, подчиненные советскому союзу, ожидают от Запада не только симпатии, но и помощи действенной» [175]). В своем стремлении обозвестись европейскими господами *Бассан-Гирей-Джабаги* забыл историю той части тюрко-татарского мира, о которой он говорит, — чрез эту историю связь с Россией проходит красною нитью. Забыл он и те бесспорно *положительные* функции, которые выполняет в отношении упоминаемых им народов русская культура, выпустил из виду и *общность месторазвития*.

Анти-автаркическим [176]) критиком евразийства показал себя передовик «Последних Новостей»: «Утверждать в двадцатом веке «самодовление» русского «хозяйственного целого», значит не считаться с фактом взаимной зависимости всех современных национальных хозяйств» [177]). — *Так* критиковать понятие самодовления, значит не понимать его сущности. Ведь «самодовление» отнюдь не подразумевает экономической отрезанности от всего остального мира: такое предположение сами евразийцы называют «абсурдным». В чем же дело? В чем отличие

174) Статья: Цели евразийства, Голос верноподданного, N от 24 и 27 ноября 1927 г.
175) Статья: Евразийство, как новый вид русского империализма, «Ранс Правды», Варшава, 4 марта 1928 г., перевод с польского С. Л. Войцеховского.
176) Автаркия — самодовление.
177) Статья: Московские евразийцы, Последние Новости, 1 мая 1927 г.

«самодовлеющих» миров? «Вместо того, чтобы отображать течение основоположных процессов промышленно-сельскохозяйственного и междуклиматического обмена (как это происходило и происходит в отношении внешней торговли Германии или Англии)—статьи внешней торговли таких хозяйственно-географических сфер *приобретают характер как бы отдельных коррективов или поправок*, вносимых в осуществляющимся внутри этих сфер явлениям взаимодополнения и взаимоуравновешения основных отраслей хозяйственной жизни» [178]). Это — и только это — подразумевают евразийцы в понятии «самодовления». Оно нисколько не противоречит «двадцатому веку»; наоборот, выражает *передовые* стремления современности к созданию «государств-материков» [179]).

Под *анти-систематической* критикой евразийства мы подразумеваем усилия тех, кто стремится расшатать систематические рамки, при помощи которых евразийские авторы упорядочивают предлежащий им исторический и географический материал. Особого рода системой является *история Евразии*, необходимость которой отстаивает *Г. В. Вернадский*: «Евразия есть с конца XIX в. область действия русского исторического процесса, русское историческое месторазвитие. Русская историческая наука должна овладеть историей этого месторазвития также и в более ранних эпохах (в течение которых Россия еще не охватывала целиком географической Евразии) — для того, чтобы правильно понять развертывание русского исторического процесса» [180]). Пишущий эти строки стремился показать, что русский географический материал складывается в «периодическую и в то же время симметрическую систему зон» [181]). — *П. М. Бицилли* воздает должное сделанному *Г. В. Вернадским*: «Излагая историю России в рамках истории Евразии, изучая Россию, как геополитическую величину, говоря проще, изучая историю русского народа не только во времени, но *и в пространстве*, чего до сих пор не делали (не значит изучать историю народа в пространстве — предпосылать, как это принято, истории «географический очерк страны»), Вернадский тем самым восстанавливает права исторической реальности. Народ и место, на котором он развивается («месторазвитие», как говорят евразийцы) связаны неразрывной связью; «месторазвитие» так же «принадлежит к истории», как и сам народ» [182]).—С большой резкостью

178) *П. Н. Савицкий*: Континент-океан, Исход к Востоку, София 1921, стр. 121-122.
179) Об этой тенденции см. статью *К. А. Чхеидзе*: Лига Наций и государства-материки, Евразийская Хроника, вып. VIII, стр. 32-35.
180) Начертание русской истории, часть I, Прага 1927.
181) Географические особенности России, часть I, Прага 1927.
182) Современные Записки, XXXIV, Париж 1928, стр. 516-517.

нападает на *Г. В. Вернадского* *А. А. Кизеветтер*: «Святослав — видите-ли — создавал «империю» и вместе со скифским и гуннским царствами его империя являлась прототипом будущих московского государства и всероссийской империи (стр. 18 — и терпит же бумага такие вещи!)» [183]. Выпад *проф. Кизеветтера* свидетельствует о том, что автор не следит за развитием исторической мысли. Он, видимо, не в курсе современного состояния геополитики и не владеет той точкой зрения, которая связывает исторический процесс также и с территорией, служащей для него полотном. Между тем, *Г. В. Вернадский*, с самого начала своей научной деятельности, широко применял геополитическую точку зрения в своих исследованиях [184]. И в геополитическом разрезе «империя» Святослава несомненно имеет общие черты со скифским и гуннским царствами, с одной стороны, и с позднейшим государством российским, с другой. — Не будем вспоминать других выпадов *А. А. Кизеветтера*. Они показывают, что раздражение почтенного оппонента гораздо сильнее чем его желание объективно разобраться в поставленных *Г. В. Вернадским* вопросах [185].

Перехожу к критикам, возражавшим мне лично [186]. К сожалению, я не имею возможности ответить им на этих стра-

---

183) Статья: Русская история по евразийски, Руль, 27 ноября 1927 г.

184) См., напр., его статьи: О движении русского племени на Восток, Научный Исторический Журнал, т. I, вып. 2, 1914; Против скифов, Русская Мысль, 1914, январь.

185) Такой же характер имеет и статья *А. А. Кизеветтера* в журнале «Славия» (Прага 1928, стр. 426-430): Евразийство и наука —поскольку она касается книги *Г. В. Вернадского*.

186) С возражениями против «Географических особенностей России» 4 января 1927 г. в Праге выступил *П. Н. Милюков*. Об этом см. статьи: *А. С. Ивеева* в Руле, 8 января того же года, *С. Варшавского*, Возрождение, 10 января, *Д. М.*, Последние Новости, 11 января. В феврале того же года *П. Н. Милюков* повторил доклад, в переработанном виде, в Париже, а затем (в 1929 г.) — в ряде английских городов (по английски). Он послужил основой для очерка: Eurasianism and Europeanism in Russian History, by Paul Miliukov, Festschrift Th. G. Masaryk zum 80 Geburtstage, Erster Teil, Bonn 1930. С возражениями чисто-географического характера выступил в Праге *не Б. Н. Одинцов* (о его выступлении см. отчет *С. Варшавского*: Евразийская география, Возрождение, 19 января 1928 г.). Доклад *Б. Н. Одинцова* напечатан в «Научных Трудах Русского Народного Университета в Праге», том II, Прага 1929, стр. 132-164, под заглавием: Пределы Евразии. — Нам известны еще следующие статьи и рецензии о «Географических особенностях»: *Н. М. Мендлевского* в Руле, No 1901, 2 марта 1927 г., его же в журнале «Версты» (Париж), No 3, 1928, стр. 243-250, *Е. В. Вульфа* в журнале «Природа» (Ленинград), 1927, No 5, *Б. Одинцова* в сборнике «Волжская Сибирь» (Прага), III, 1928, стр. 191-193. Связано с географическими проблемами выступление *В. П.*

ницах. Такому ответу я надеюсь посвятить особую статью. Здесь мне хочется отметить всего лишь одно обстоятельство: те идеи, против которых направляют острие своих возражений мои оппоненты и, прежде всего, идею России, как особого географического мира, я не могу признать лично своими: они в значительной мере заключены во всем новейшем развитии русской географии. Патриарх русской географической науки, покойный *Г. Н. Танфильев* выражал не только свою мысль, утверждая: «Совершенно правильно также, что по своей природе, Россия представляет особый мир». — То же — в области этнографии. Россия «этнографу всегда мыслится, как «Евразия» *(С. А. Котляревский)* [187]).

* * *

Двадцатые годы, несмотря на бедствия, начинались в обстановке духовного подъема. Он сказывался в России, веянье его чувствовалось и в эмиграции. Гораздо сумрачнее начало 1930-х годов.

Евразийцы не видят ни дней, ни сроков. Быть может, великие потрясенья произойдут в нашем мире. Но неуклонно стремление евразийцев к поставленным ими целям. И велика их вера в творческие силы России-Евразии. Силы эти могут возобладать и в то время, когда разрушения и смуты широко разольются по миру. Тем самым, в конечном счете, они помогли бы и остальному миру выйти из трудностей.

Православие есть основная ценность, которая светит православным евразийцам. Но их религиозная установка отнюдь не мешает им внимательно присматриваться к тем творческим импульсам, которые сказываются в русской *хозяйственной* жизни. Сила веры и навык государственного хозяйства — вот

Полетика: Против евразийства, Руль, 14 сентября 1927 г. Такие в советской России появился довольно длинный ряд отзывов. — Брошюру «России особый географический мир» рецензовал *М. А. Циммерман* в «Заграничной политике», Прага, март 1927 г., стр. 343-345.

187) Из числа отзывов о книге *Н. П. Толля* «Скифы и гунны» (1928) упомянем статью *В. Мякотина*: Опыт истории Евразии в «Последних Новостях», 8 ноября 1928 г.

две созидающих силы, о которых говорилось на предыдущих страницах. Необходим их синтез. Необходимо сочетанье традиции с тем, что выдвинуто и утверждено *революцией*.

Православие государственное хозяйство — вот та цель, к которой, в близких или дальних этапах, прямым путем или путем нелегким, — придет развертывание русских событий.

Петр Н. Савицкий

НАУЧНЫЕ ЗАДАЧИ ЕВРАЗИЙСТВА

I.

К чему же стремится евразийство? — Оно желает стать стержневою идеологией русского народа — и притом воспитать его сознание в таком направлении, которое сделало бы возможным его объединение с другими народами Евразии в высшую *культуро-личность*.

Не евразийцы, но внутренняя логика русского развития выдвинула теорию России-Евразии, как особого географического мира. В величайших страданиях созревает русская культура к руководящей, объединяющей роли. Но не одна великая культура не может обойтись без осознания своего месторазвития, как особой, ото всего прочего мира отличной среды. — Такое сознание было у эллинов, было у арабов, есть оно у европейцев.[1]) Мы не сомневаемся, что его можно было бы найти у китайцев — времен расцвета их культуры. — Не мы, но логика русского научного развития ведет к тому, чтобы схвачено было единой синтетической формулой пространство русского мира, чтобы в обобщающем опыте восприняты были как бы единым познавательным актом покрытые ледниками прибрежья Новой Земли — и нагорья Тибета, буковые леса Подолья — и хребты у Великой китайской стены. — Отныне невозможно стоящее на уровне современного научного знания географическое исследование России — вне *евразийской* перспективы. В пределе нужно стремиться к тому, чтобы каждое географическое описание, сколь бы частичным оно ни являлось, давало возможность — как сквозь «магический кристалл» — видеть пространство во все стороны от описываемого участка, чтобы каждое такое описание вводило конкретное и детальное в *совокупность* явлений. «Периодическая и в то же время сим-

1) Ср.: *В. Бартольд*. История изучения Востока в Европе и России, изд. 2-е, 1925, с. 41 и 53.

метрическая система зон России-Евразии», со свойственными ей понятиями «северо носных» и «югоносных», «осебежных» и «осестремительных» явлений — открывает для того широчайшие возможности. Ибо каждое из этих понятий *именно и определяет часть в ее отношении к целому*.

То же в области истории. Почин, сделанный Г. В. Вернадским, не должен остаться бесплодным. Для каждого явления, относящегося к истории России, может быть найдено место в общем целом истории Евразии. Только таким путем русская история будет помещена в отвечающую ее природе общую рамку. И тогда будут преодолены черты *узколобости*, свойственные господствовавшей доселе постановке русской истории. Для каждого объективного наблюдателя очевидно, что русская история не является частью истории Европы (сюда не проникало латинство; не было отличительной для Запада стадии «городского хозяйства»; не похожа на европейскую аграрная эволюция и т. д.). В то же время рамки русской истории, особенно в ее ранних этапах, не достаточно широки, чтобы обозначить собою пределы целого исторического мира. Господствовавшие концепции русской истории не позволяли уяснить ее места в истории Старого Света: русская история как бы «повисала в воздухе». Пришло время понять ее, как главу в истории мира, более широкого, чем она сама: срединного мира Евразии. В виде особых глав войдут сюда и история народов евразийских оазисов, и история степного мира, и история дославянских народов северной лесной зоны, и история кочевников тундры. Объединительные стремления, носителями которых первоначально были степняки, а затем русский народ, дают истории этого мира стройность и целостность. Познать историю евразийского мира — очередная задача русской науки. — В настоящее время делаются попытки разрешить задачу, трактуя «историю народов СССР», как многосложный процесс, тяготеющий, однако, к объединительным началам. Но попытки эти не могут быть удачны. Возьмем хотя бы название этой новой науки. Нужно изучать историю скифов, хазар, половцев. Но эти народы не значатся в СССР. Как же быть с ними? — К тому же само название «народов СССР» не дает объединяющего научного принципа для трактовки их *исторического прошлого*.

В евразийстве же такой принцип есть: это — понятие месторазвития, единого лона, в котором живут и движутся эти народы, от которого они получают импульсы и на которое воздействуют, с которым сливаются в особое историческое и естественно-историческое целое. Нужно установить культурные традиции, свойственные и каждой из частей евразийского месторазвития, и ему, как единству. Экономические районы 1926 г. на пространстве Доуралья весьма близки, оказывается,

по своим очертаниям, к тем районам, которые можно установить на том же пространстве по характеру культур *бронзового века*. Индивидуальности некоторых районов (напр., волжско-камского, вокруг места впадения Камы в Волгу) замечательны по своей устойчивости, проходящей красной чертою чрез все промежуточные этапы. Изменилось *содержание* явлений. Но остались неизменными *структуральные черты*, определяющие их дифференциацию по районам. И конечно же, среди факторов, слагающих современный облик каждого района, немалую роль играют традиции, идущие от бронзового века, а может быть и от более раннего времени. Традиция месторазвития не может быть безразличной для исследователя современности. Только учтя ее, он может понять современность. Только освоившись с нею, он может *повлиять* на существующее. — Каждый момент в истории Евразии должен интересовать русского. Ибо каждое слагаемое прошлого живет и в современной действительности. История Дальнего Востока, Сибири, Туркестана, Поволжья — и при том история не с XVIII-го или XIX-го века, но с древнейших времен — есть отныне такая же составная часть русской истории, как и прошлое коренных русских земель. Или — вернее — они вместе суть только главы в истории Евразии. Русские всех ветвей спаяны с другими народами Евразии той связью «воды и воздуха», о которой говорили персидские историки (напр., Рашид-ад-дин). Спаяны они с ними и *единством исторической судьбы*. Каждый район, в отдельности, и все они вместе насыщены энергетическими токами, идущими из глубины прошлого.

Та местность, где впервые, в поле зрения современной археологии, появляется, на пространстве Евразии, земледелие: район бывших Киевской, Подольской и Полтавской губерний, месторазвитие «трипольской» культуры на исходе неолита, эта местность и в современности — по целому ряду показателей — выделяется, как область особо *интенсивного* земледелия. Пространство Скифии, описанной Геродотом, как область кочевников-коневодов, занимает в Евразии совершенно исключительное место по количеству лошадей на квадратную версту, согласно данным сельско-хозяйственной переписи 1916 г.

Обратившись к прошлому, резче видишь характерные черты настоящего. Наряду с проблемой географии России, как системы — ставится проблема *систематического* рассмотрения исторического прошлого Евразии. Она всегда была *общежитием народов*, каковым является и сейчас. Нужно обследовать каждый угол истории Евразии. Только тогда, когда это будет сделано, народы Евразии смогут сказать, что знают собственный дом. Ибо традиции суть устои этого дома.

Мера того, насколько будет *не признаваться* или наоборот

признаваться в русской культуре евразийская историко-географическая концепция — будет *мерою возраста этой культуры*. Ибо совершенно очевидно, что *зрелость* русской научной мысли не соединима с господствовавшим доселе эклектическим представлением о русском месторазвитии — разрывавшим его на две части — европейскую и азиатскую — вопреки совершенно явственным чертам единства (область флагоподобного расположения зон, сплошного континентального пространства, относительно и абсолютно суровой зимы и т. д.) и обособленности от всего окружающего. Существующие историко-географические представления *игнорируют* то единство и то своеобразие, каковым является Россия-Евразия. Части его произвольно распределяются между Европой и Азией — двумя материками, существенно отличными от срединного мира. Названные представления не совместимы с *полнотой сил* русской культуры. В этом смысле признание евразийской историко-географической концепции станет знаком *полноты возраста* нашей культуры.

Н. Н. Алексеев, в своей «Теории государства», впервые в евразийской литературе отметил, что евразийство имеет специальное призвание к обоснованию в русской культуре науки геополитики.[1]) Наука эта занята изучением тех связей, которые существуют между характером политической деятельности, в широком, обще-историческом смысле этого слова, и природой географического поприща, на котором развертывается эта деятельность.

Возможности геополитического рассмотрения — это, пока что, непочатая целина в русской науке. Не то, чтобы вовсе не было работ по этой части, они имеются — но *нет систематической постановки вопросов*. Здесь — одно из возможных приложений той проблематики, о которой мы говорили в предыдущем. Евразийство уже сделало кое что в этом отношении, но сделанного совершенно недостаточно. Поставим же вопрос и еще шире. Сопоставление данных общей и экономической географии с данными истории хозяйственного быта, этнографии, археологии, лингвистики еще почти не начато, — между тем оно может дать совершенно неизвестный доселе *синтетический* образ России-Евразии, как в отдельных ее районах, так и в ее целом. Здесь должна быть найдена установка, которая охватит разнообразнейшие явления с точки зрения *одной* закономерности, поможет многое свести к немногому. Мы утверждаем, напр., что разработка экономической географии в *археологической* перспективе позволяет обнять хозяйственно-географические и археологические данные одними и теми же понятиями. И это не в одном каком-либо исключительном случае, но в большом числе их. Наряду с геополитическим, можно и должно создать геоэкономическое, геоэтнографическое, геоархеологическое, геолингвистическое учение о России-Евразии. И все их можно и должно свести в единую «картину-систему». Это — одна из сторон того историко-географического синтеза, к которому призвано наше время.[2])

Организованное, «плановое» соединение труда представителей самых различных специальностей в работе над одним и тем же предметом становится характерной чертой научной жизни нашего времени. Такое соединение евразийцы реализуют в собственной своей научной практике. Каждое евразийское издание есть результат сотрудничества представителей различных отраслей в разрешении той или иной проблемы. Практика евразийства является отражением духа эпохи. Отражая эпоху, евразийство желает и *повлиять* на нее. Едва ли есть в мире другой столь благодарный объект для систематического и синтетического изучения, как географическая и историческая среда особого мира России-Евразии.

В ней почвенно-растительные явления увязываются с климатическими — с такою определенностью и точностью, которая пока что неизвестна в других географических мирах. Эта связь, в условиях Евразии, не только отвлеченно предполагается, но *численно выражается*, и при том в периодической ритмике. Явления исторические, экономические, археологические, лингвистические необходимо приобщить к названной системе и ритмике. Это — шаг к установлению *периодической системы сущего*. И делается он не в порядке предположений об одностороннем влиянии географии на указанные разряды явлений, но в процессе изучения сопрягающих эти явления взаимодействий и описания тех случаев *активного выбора месторазвития* социальной средою, которые мы встречаем в истории (в особенности показательны, в этом отношении, процессы колонизации).

По сказанному выше, некоторые виды взаимодействий

---

2) См. также помещенную ниже статью *К. А. Чхеидзе*.

3) Во всех поставляемых здесь научных задачах евразийцы расчитывают на всю совокупность наличных сил русской науки. Многие из этих задач будут разрешены и уже разрешаются без всякого участия евразийцев и, быть может, без какого бы то ни было влияния с их стороны: те задачи, которые ставятся евразийцами, лежат в необходимостях нашей эпохи, и потому современники могут приходить к их разрешению совершенно независимо от влияния евразийства. Но мы надеемся *способствовать* этим развитиям не только личными своими силами, но и пробуждением мысли в исследователях, хотя бы и не принадлежащих к евразийскому кругу. Эти развития мы стремимся возвести *в сознательные начала*.

установимы, на евразийском материале, с такой несомненностью, которая недостижима в других местах. В этих случаях, приемы и методы исследования, выработанные на евразийском материале, должны быть применяемы к материалу внеевразийскому, должны послужить для обогащения европоведения, азиеведения и т. д. Так, напр., должны быть изучены черты «периодической и в то же время симметрической системы зон», которые сказываются *и вне* России-Евразии. Распространение ряда понятий, свойственных россиеведению, также на нероссиеведческий материал, нужно причислить к очередным задачам русской науки.

Должна быть изменена постановка *истории науки*. В пределах каждой страны или многонационального мира (каковым является Евразия) историю науки можно и должно трактовать, как некоторое единство. Отдельные отрасли наук связаны между собою и связаны с историей страны. Можно и должно чеканить понятия, которые охватывают одновременно целую группу научных отраслей и развитие их связывают с общей историей. Опять таки чрез немногое здесь можно выразить многое, — при помощи одной и той же периодизации можно систематизовать и проблемы общей истории, и проблемы истории науки. И это — вовсе не потому, что история науки пассивно воспроизводит общую историю. В ней она сама играет роль активного фактора. Выводы науки становятся двигателями исторического процесса. И согласованность развития возникает в результате *взаимодействия*, как выражение глубинной «связи явлений». Рассмотрение истории науки, как закономерного «номогенетического» процесса, притом неразрывно связанного с общей историей, — есть проблема мироведения, а не только россиеведенья. Но евразийство надеется с наибольшей конкретностью поставить ее именно в пределах россиеведенья. В частности, с большой определенностью может быть показана связь русской историографии с ходом русской истории, обнаруживающая сопряженность разработок исторических проблем в русской науке с периодами и этапами в русском историческом развитии. Нам кажется, что и в такой разработке — некоторое приближение к синтетическому пониманию мира, к охвату разнообразного *едиными* категориями. — Как в других вопросах, так и в этом евразийство стремится быть фактором «связи наук», работать над созданием цельного понимания мира. Но оно не забывает при этом и *неповторимой индивидуальности* отдельных категорий явлений.

Ярким примером того, что в данном случае дело идет именно о «связи явлений» и взаимодействии, а не об односторонней влиянии «истории» на «науку», может служить, между прочим, современная русская марксистская историография.

Троцкистская оппозиция провозгласила несколько лет тому назад, что в России произошел «термидор». В связи с этим в партии разгорелась дискуссия. На книжном рынке и в журналах появилось несчетное количество научных исследований и статей о «термидоре», как факте французской истории. Для чего производилась эта работа, как не для того, чтобы наукой в определенном смысле *повлиять* на историю — и в частности, во многих случаях, доводами «от науки» настоять на осуждении троцкистской оппозиции?...

Географию и историю мы взяли в качестве примера. В существе вопрос имеет более широкий объем. *Каждая отрасль россиеведения может быть помещена в евразийскую плоскость.* Отличие евразийского метода в подходе к России заключается в расположении русского материала по каждой отрасли в особую, самостоятельную систему. Таким путем познается *внутренняя структура* явлений и сопрягающее их единство. Но эта *самостоятельная* система не является замкнутой — в том смысле, что она, конечно, доступна воздействиям со стороны других систем, и сама на них влияет. — Здесь пролегает тот путь, которым евразийцы от россиеведенья идут к *мироведению*. Каждый феномен, в пределах России-Евразии, должен быть включен в общую систему евразийских явлений. Но нельзя ограничиться и этим. Русская наука должна обрести *всемирные* горизонты. Совокупность евразийских явлений находится в таком же отношении к мировому целому, как *отдельное* евразийское явление — к целому Евразии.

II.

В области европо-и азиеведения русская культура развернула широкую работу. Евразийцы указывают на необходимость создать самостоятельно-русское *америко-, африко- и океанивеведенье* (к Океании мы относим также Австралию).

Эти термины мы определяем в том же синтетическом смысле, как и понятие россиеведенья. Иными словами, предполагаем существование исторического, географического, экономического, этнографического, археологического, лингвистического америко-, африко- и океаниведенья. — Чуть ли не все эти отрасли были сильнее представлены в русской культуре в период научно поставленных русских кругосветных плаваний (1803-1835) и наличия русско-американских владений (до 1867 г.), чем в последующее время. — В эти отдаленные десятилетия были собраны и наиболее ценные коллекции единственного в СССР музея мировой культуры—Музея Антропологии и Этнографии при Академии Наук СССР. Впрочем, собрания

этого музея показывают, что и в последующие десятилетия не совсем замирал в русской науке интерес к заокеанским странам. Но, в общем, сделанное в этом отношении ничтожно, по сравнению с общими масштабами русской культуры, и не выдерживает никакого сравнения с европейским (немецким, французским, английским) америко-, африко- и океанievеденьем. Правда, у европейцев нет ничего подобного той области специального и по необходимости всестороннего изучения и научного возделывания, каковою для русской культуры является материк Евразии. Это не освобождает русскую культуру от необходимости самостоятельного подхода к проблемам изучения всего земного шара. — В последние годы некоторые *намеки* на самостоятельное изучение Америки, Африки и Океании стали замечаться в *экономической* области, в связи с интересами советской внешней торговли. — По северной Америке в русской науке всегда имелось несколько больше самостоятельных научных данных, чем по прочим заокеанским странам: здесь сказывались традиционное знакомство с Аляской, и теперь соседящей с русским Дальним Востоком, и повышенный интерес к Соединенным Штатам и Канаде. Впрочем, также по южной Америке и Австралии в предвоенные годы появилось на русском языке несколько книг, выходящих за пределы компиляции. — В Африке в круг русского научного интереса издавна входил ее север — в особенности, Египет, Нубия и Абиссиния. Как известно, в России было собрано несколько замечательных коллекций египетских древностей — и что еще важнее — создалась самостоятельная историческая и археологическая школа египтологов (Тураев и его ученики). Не мало русские ученые поработали по Абиссинии — и при том в различных отраслях. Кое-какие работы можно указать и для французской северной Африки. Собственно по черному материку русскими не сделано почти ничего. Африковеденье входит в программу научного советского журнала «Новый Восток». Это не изменило надавна сложившейся картины. Уже в первых номерах его (выходит с 1922 года) было помещено несколько интересных статей об Абиссинии и Египте, но основное пространство черного материка оставалось не освещенным. — Русская традиция по изучению Океании оборвалась на работах Миклухи Маклая (1880-ые годы). — Нечего и говорить о том, что русские, открывшие, в лице Беллинсгаузена и Лазарева, в 1821 г. материк Антарктики, вслед за тем совершенно забросили эту отрасль изучений.

В настоящее время русские этнологи интересуются «примитивными» народами Океании и южной Америки. И упрекают европейских исследователей, яко-бы не обращающих достаточного внимания на экономическую и социальную сторону

жизни этих народов. Но сами, до сих пор, были не в силах приступить к самостоятельным исследованьям.

В русской науке есть сводки, имеющие всемирный характер (напр., по геологии). Но в общем только по отдельным и пока что *разрозненным* отраслям русская наука приобрела *универсальный* характер. Такими отраслями являются, напр., с одной стороны, почвоведение и с другой — изучение истории культурных растений (связанное с селекционным делом). В первой — вся русская почвоведная школа, во второй—Вавилов и его ученики (Всесоюзный Институт прикладной ботаники и новых культур) выработали настоящие *всемирные* горизонты. Почвенная карта покойного К. Д. Глинки впервые осветила географию почв в мировом масштабе. Результатов не меньшего охвата достиг Вавилов в изучении центров распространения культурных растений (в связи с этим, в последние годы был произведен ряд замечательных русских научных экспедиций как во внутриконтинентные, так и в заокеанские страны).

В итоге, мы приходим к не утешительным выводам. — Несмотря на огромные достижения в различнейших отраслях россиеведенья и в немалом числе вопросов европо- и азиеведенья, русская наука все еще остается наукой с провинциальным, до некоторой степени, кругозором. Евразийство вскрывает особность и своеобразие русского мира. Но именно поэтому оно утверждает *универсализм* особого рода. Чтобы по настоящему познать Евразию, нужно по своему изучить и другие части планеты. И наоборот — познание земного шара станет значительно полнее, когда в этой работе, во всем ее объеме, примут участие исследователи, воспитанные на евразийском материале.

С некоторого времени, по поводу каждого вновь устанавливаемого факта русской природы и применительно к проблемам, встающим в русской истории, — русские ученые ставят вопросы и ко внеевразийской среде. Ставя такие вопросы, они вскрывают стороны явлений, ускользающие от взгляда других исследователей. Общеизвестно, какие результаты для мировой науки имело установление зональности почв в пределах России: это установление открыло глаза на такую же закономерность и во всем остальном мире. — Современная русская ботаническая география произвела интересные наблюдения над тем, что она называет «экстразональными» явлениями,—т. е. над распространением форм, вне области их зонального господства. Весьма вероятно, что некоторые выводы, при этом сделанные, могут иметь применение и во внеевразийском мире. То же мы видим в области исторической науки. Постановка крестьянского вопроса в России во второй половине XIX-го века подвинула русских ученых к тому, чтобы проследить

судьбы крестьян и «крестьянского вопроса» во многих других странах. Русскими исследователями были поставлены новым, доселе небывалым образом проблемы истории крестьянства в Англии (П. Г. Виноградов и его школа), во Франции (Кареев и Лучицкий), в Византии (Васильевский и Успенский) и т. д. Интерес к русской поземельной общине, свойственный тому же времени, помог открытию в Византии чего-то подобного этому явлению и способствовал изучению русскими исследователями истории общины в Европе (М. М. Ковалевский). Не будем умножать примеров. Смысл нашего утверждения кажется нам достаточно установленным. Полнота познания земного шара — в самых разнообразных вопросах этого познания — требует, чтобы существовала самостоятельная русская наука, изучающая *все* части планеты. Эта наука к предлежащему ей материалу будет ставить свои, русские, евразийские вопросы — и это отнюдь не недостаток и не беда, а наоборот достоинство: таким путем раскрываются новые стороны явлений.

Создание самостоятельных русских америко-, африко- и океаневедных школ, во всем многообразии их подразделений — почти целиком дело будущего. Не во всех случаях есть даже первоначальные зерна таких школ. Мы хотим подчеркнуть, что определяющим здесь должно явиться возникновение научного интереса к заокеанским странам. Экономически выход России на океаны не является легким. [4]) Но сознание русского народа, в большей степени, чем его экономика, обладает чертами вселенскости. *Нет в мире народа, судьбы которого были бы безразличны для русских.* В этом смысле — установка русского сознания есть установка всечеловечества. И это — самое важное. — Значительная духовная энергия совершит великие дела, будучи приложена и к немногим исходным точкам. Во имя широты русского кругозора, во имя расцвета русской культуры и полноты русского знания — к этим задачам должны быть направлены силы россиелюбцев. — И евразийство, в ярком сознании неповторимой оригинальности и в то же время *внутреннего единства* российского мира, указывает на необходимость для русской науки включить в сферу своих интересов все пространство планеты и поставить русские вопросы всем ее частям: одинаково в области экономики, истории, географии, лингвистики и т. д. Именно потому, что Евразия своеобразна, имеет существенность возникновение евразийской науки о мире. Неповторимая историческая и географическая индивидуальность России-Евразии, как особого мира, служит порукой, что русская наука может сказать *новое слово*

4) См. ниже главы из «Очерка географии России» *П. Н. Савицкого.*

во всех отделах изучения нашей планеты: эта индивидуальность способствует постановке не поставленных доселе вопросов. *От особого и конкретного здесь открывается путь к универсальному и вселенскому.*

Идея всечеловечества, выдвинутая русской литературой и более всего Достоевским, должна получить свое научное оформление. Евразийство конкретно указывает путь к такому оформлению. Дорога к творческому научному универсализму пролегает для нас чрез познанье особенностей и отличий России-Евразии. Познавая *свое*, мы закладываем основы к познанию *общего*. Выполняя *особые* задачи, возрастаем к выполнению задач *вселенских*.

Такое соотношение элементов универсального и частного кажется нам определительным не только для области научного знания. В нем заложены основы того *универсализма*, к которому ныне приходит евразийство. Эти вопросы оно стремится поднять на наибольшую возможную высоту; и на фундаменте своего, особого, евразийского строить *общую философию универсализма*.

В этом смысле, все сделанное ими доселе евразийцы рассматривают только как вступление и начало, хотя бы и существенное, как всякое основоположение дела. Количество отраслей знания и действия, ими охваченных, они считают *ничтожным* — в сравнении с тем, которое они *должны* охватить, во имя своего призвания и долга. Наряду с расширением *экстенсивных* пределов делания, предстоит возрастать и *интенсивности* их разработки.

Евразийство начинало с утверждения России-Евразии, как особого мира. Именно это утверждение привело евразийцев к познанию необходимости вселенских горизонтов. В этом, как и во многом другом, вскрывается *своеобразная диалектика частного и общего, единичного и вселенского.* На путях творческого отношения к миру, утверждение *особого* ведет к *вселенскому*.

П. В. Лобовиков

СВОЕОБЫЧНОЕ В РУССКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКЕ

ЧТО ДАЛА И МОЖЕТ ДАТЬ НОВОГО В МЕТОДОЛОГИИ РУССКАЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКА?

Развитие русского фольклора шло и идет во многом по иным путям сравнительно с развитием фольклора западного. Естественно, это не могло не отразиться и на методах изучения русского фольклора, на русской фольклористике.

Мы здесь постараемся выявить то новое, что дала русская фольклористика и чему от нее может поучиться европейский этнограф. Следует оговориться, что я буду отмечать только то, что найду нового в методологии русской фольклористики, по сравнению с теми методологическими достижениями, какие мы находим у европейских этнографов. Причем главным образом буду останавливаться на работах по фольклористике нового времени. В виду этого я позволю в своей статье пройти мимо ряда капитальных трудов крупнейших русских ученых. Я не буду о них упоминать, хотя и признаю всю ту колоссальную роль, которую они сыграли и в истории русской этнографической литературы и в истории фольклористики всех славянских народов. Я позволил себе не остановиться в своей статье на трудах А. Веселовского, Пыпина, Вс. Миллера, Потебни и др. еще и потому, что эти ученые, хотя и сделали крупные фактические открытия и внесли ряд новых деталей в методологию фольклористики, все же в основе своих исследований исходили из методологических предпосылок европейских ученых.

* * *

Русская фольклористика, прежде всего, сильно расширила собирательские задачи. Если в европейской науке до сих пор четко не поставлен вопрос о необходимости исследовательской

работы на местах, и если в Европе до сих пор, в большинстве случаев, собирателями материала являются местные диллетанты, [1]) то среди русских ученых этнографов создалась уже традиция самим непосредственно на местах собирать и изучать этнографические факты, и чем дальше, тем необходимость работы на местах вполне подготовленными учеными ощущается все больше и больше. И в докладах, и в резолюциях совещания этнографов Ленинграда и Москвы, происходившего в 1929 году, красною нитью проходит мысль о необходимости вести собирательско-исследовательскую работу вполне подготовленными учеными. Укажу, напр., на тезисы доклада Б. А. Куфтина: «Задачи и методы полевой этнологии». Вот какие требования предъявляются здесь собирателю: «Стационарная работа исследователя, необходимо, по специальности лингвиста, работающего кроме того в языках определенной группы, не может исчерпать ни теоретически, ни практически (в настоящих условиях) задач этнологического изучения этнически и культурно сложной страны, так как раскрытие хронологических формаций и их генезиса в пределах отдельного племенного образования, группы их или территории требует не только знания языка и истолкования самим племенем его культуры, но широкого сравнительного анализа, возможность которого обусловлена специальной и достаточной подготовкой исследователя в этнологии не только одной языковой группы, но более обширного культурного базиса. Без широкой подготовки в области сравнительной этнологии, знаний материальных, позволяющих ставить постоянно чисто конкретные задачи, даже долго живя среди чужой народности и зная ее язык, можно многое проглядеть».

Сравнительно недавно вышла статья известного русского фольклориста А. И. Никифорова: «К вопросу о задачах и методах научного собирания произведений устной народной словесности» (Известия Государственного Русского Географического Общества. Т. LX, 1928, в. I.). Статья, с одной стороны, указывает на пробелы, оставленные русскими этнографами собирателями, с другой — ставит ряд новых заданий этнографу собирателю. В первой своей части автор, сам опытный собиратель, дает строгий анализ собирательской работы в России, указывая на недочеты отдельных русских сборников материалов и тех наблюдений, которые были сделаны собирателями-этнографами. Увы, мало найдется в европейской этнографии даже и таких сборников, которые так строго критикует Никифоров. Что касается второй, исключительно интересной части работы Никифорова,

---

1) Европейские ученые вроде *проф. М. Мурко*, которые не ограничиваются кабинетной работой, но ведут исследования и на местах, составляют счастливое исключение.

где ставятся новые задания собирателям и выискиваются новые методы для достижения этих заданий, то здесь, отдавая должное талантливости автора, следует все же признать, что его труд мог возникнуть только в стране, где собирательская работа достигла большой разработанности и, я бы сказал, виртуозности.

* * *

Остановлюсь отдельно на рассмотрении изучения былевого эпоса, сказки, заговоров и лирической песни.

Начну с рассмотрения изучения русского былевого эпоса. То обстоятельство, что русский былевой эпос еще в течение почти всего XIX-го столетия жил полной жизнью, естественно, выдвинуло и особые задачи исследования. В первую очередь возник вопрос о выявлении тех условий, которые содействовали его бытованию и, наоборот, условий, которые препятствовали развитию и жизни былевого эпоса среди крестьян. Далее, возник вопрос об отражении личности сказителя в былевой поэзии. Обследование жизни русского былевого эпоса повлияло на исследователей другого былевого эпоса, еще бытующего в Европе, а именно югославянского. Детальное обследование югославянского эпоса, проделанное проф. Мурко, несет на себе следы влияния русских исследователей.

Русским исследователям — Рыбникову, Гильфердингу, Маркову, Ончукову, Григорьеву, бр. Соколовым и другим, работавшим непосредственно по собиранию и обследованию на месте жизни былевого эпоса, удалось добиться ряда крупных результатов. Подведем итоги главнейших достижений их исследований:

1. Была выяснена степень тех видоизменений, которые может внести в былину отдельный сказитель.

2. Удалось установить определенные школы сказителей.

3. Были установлены отличия былин по различным районам (Олонецкие былины, Архангельские былины, былины средней России, казацкие былины, сибирские былины и др.).

4. В последнее время (в работах бр. Соколовых и Астаховой) были установлены законы, которым подчиняется былевой эпос при своем умирании.

5. Ряд интересных наблюдений был сделан в музыкальной и ритмической стороне былин, наблюдений, проделанных не только на печатном материале, но и во время самого «сказывания» былин.

Я здесь остановился только на той части исследований былевого эпоса, которая была проделана не в кабинете исследователей, а при слушании сказителей и наблюдении над ними. Из работ теоретического характера надо отметить книгу Скаф-

тынова, вносящую ряд оригинальных черт в методологию изучения эпоса. Результаты, добытые русскими учеными при непосредственном изучении живенных процессов, в своем роде единственного, русского былевого эпоса, помогут многое разгадать в эпосе мертвом — греческом, французском, германском и др.

Теперь, по утверждению современных исследователей былевого эпоса, русский былевой эпос быстро умирает. Мы присутствуем при последних минутах его жизни.

Отдавая должное исследователям русского былевого эпоса, следует все же сознаться, что на изучение его не было обращено должного, как он того заслуживает, внимания. И как раз недостаточно были исследованы творческие процессы еще до недавнего времени жившего полной жизнью былевого эпоса. К сожалению, время упущено и уже многого не вернуть. Между тем, сколько нового света в изучение эпоса вообще, в частности эпосов умерших, могли бы пролить детальные наблюдения над творческими процессами русского былевого эпоса!

Так до сих пор не выяснено вполне, насколько самостоятельны были в своем творчестве сказители былин. Кое-какие намеки и указания по этому вопросу мы встречаем, но детальной, подробной работы так и не появилось. Но, может быть, еще не все потеряно; ряд наблюдений, сделанных недавно Астаховой и экспедициями под руководством Бориса и Юрия Соколовых, над умирающим русским былевым эпосом, показывают, что и при умирании эпоса кое-что можно будет выяснить о его жизненных творческих процессах.

Мы считаем, например, исключительно ценным наблюдение Астаховой, опубликованное в книге «Искусство севера» (1927), что «при передаче разлагающейся былины с чисто прозаическим складом речи замечается стремление удержать подобие былинной конструкции стиха при помощи дактилических окончаний, которые достаточно четко разграничивают речь на такты — подобие стихов». Астахова приводит пример такой прозаической былины:

> Удалая поленица ехал дорогою, раздумался:
> «Приеду я, говорит, в царство Лотаринское,
> Чем я там похвастаю.
> Съезжу в Киев град и привезу поклон от побратима матери».

Астахова приводит целый ряд таких интересных примеров. Все они четко указывают на различение сказителями формальных особенностей былины и на применение и самостоятельное использование их. При попытке создать былину сказитель

стремится «удержать *самые общие ритмические рамки*, в пределе которых *свободно творит*, правда, частью из привычных оборотов, *новый текст*». Далее приводится еще более интересный пример: «Марья Кириковна Сарафанова, внучатая племянница Ивана Трофимыча Рябинина, давно не певшая былины о Дюке, Марья Кириковна совсем ее забыла. Она по частям стала припоминать содержание, восстанавливая общую повествовательную схему, и сейчас же, тоже по частям, оформляла ее в стихах. Таким образом, мы присутствовали при любопытном моменте воссоздания совсем позабытой былины при помощи хорошо удержанных в памяти былинных образов и готовых былинных формул... Припоминание, в данном случае, было не механическим, а творческим, причем эта создавшаяся на наших глазах былина свидетельствовала о прекрасной, чистой традиции. Хотя, правда, ряд эпизодов был пропущен, былина сокращена, конец так и не удалось вспомнить, но в общем былинный стиль и ритм сохранены были в чистоте».

Приведу несколько строк этой восстановленной былины:

> Только видли они молодца тут сядуци,
> Яй не видели они молодца поехавши.
> Как ведь бурушка-кавурушка поскакивал,
> Ай маленький-косматенький провертывал,
> С горы на гору, да с холмы на холму,
> Все реки то ведь озеры межу ног спущал.

Мы считаем также очень интересным и продуктивным наблюдение Астаховой о совершенно определенном стремлении нынешних сказителей былин к ускорению самого темпа повествования в противоположность медлительному развертыванию действия в былинах старой записи.

Все наблюдения последнего времени, как нам кажется, настоятельно требуют пока еще не поздно в ускоренном темпе изучить психологию поэтического творчества сказителей. В самом спешном порядке должны быть произведены наблюдения на местах, как над самой техникой творчества, так и над поэтическим осмыслением отдельных стилистических приемов сказителей. Приведу здесь небольшую анкету с вопросами, которые, нам кажется, необходимо уяснить в самое ближайшее время.

Чем объясняет сказитель необходимость вводить в старины не практический разговорный язык, а особый поэтический, былинный?

1) Чем объясняет он, в частности, употребление в былинах архаизмов: в словаре, в морфологических формах, в синтаксисе, в лексике и т. д.

2) В каких случаях сказитель считает возможным заменять

архаистические слова новыми, взятыми из современной поэзии, или из языка практического.

3) В какой мере осознает сказитель ритмическую структу. ру старин.

а) Как точно он воспроизводит ритмическую былинную структуру в новых, им создаваемых, строках или комплексах строк.

б) Какие факты структуры им наиболее осознаются и безошибочно воспроизводятся.

в) Какие факты уже не осознаются.

4) Какую эстетическую значимость придает сказитель былинной мелодии.

а) Что считает он более эстетическим: петь былину или пересказывать прозой.

б) Какую мелодию сказитель считает интересной и ценной: мелодию былин, лирических песен, плясовых и и т. д.

в) Как расценивают те же самые мелодии старики и молодежь.

5) Как расценивает сказитель былину по сравнению со сказкой. (Ряд наблюдений по этому вопросу был уже сделан прежними собирателями).

Вот несколько вопросов, выяснение которых на месте исследователями русского былевого эпоса я считаю необходимым. Конечно, они ни в коей мере не исчерпывают всех проблем, которые стоят перед исследователями ныне умирающего былевого эпоса, и которые сами по себе возникнут при непосредственном наблюдении на месте бытования русского эпоса.

Нам хотелось бы подчеркнуть, что исследователи законов бытования и творческих процессов русского былевого эпоса находятся в исключительно выгодных условиях. Они не только могут производить свои исследования над жизнью русского былевого эпоса, но и проверять их на эпосе других народов Евразии. Нет в мире другой страны, где было бы столько эпосов, как в России. Эти эпосы развивались и развиваются в различных культурных условиях, имеют разную поэтическую традицию, различна и сама форма исполнения: в сопровождении музыкальных инструментов и без такового и т. д. и т. д. Все это позволяет русскому исследователю проверять и обобщать свои выводы, добытые на изучении материала русских былин. Многое, что в русском былевом эпосе только намечается, встречается только в эмбриональной форме, в эпосе других народов Евразии выявлено более ярко и систематически. Стоит, например, только сравнить намечающийся параллелизм русских былин с систематически проводимым параллелизмом в финском эпосе, скажем, например, эпосе карелов. Нам кажется, что ограничиваясь

только изучением былевых эпосов, в настоящее время бытующих в России, можно будет почти безошибочно установить законы былевой поэзии вообще.

Далее изучение живого былевого эпоса у различных народов Евразии (а не только у русских) позволит нам решить вопрос, поднятый Никифоровым в упомянутой выше статье (стр. 92-93), насколько крестьяне исполнители былин (то же касается исполнителей сказок и песен) являлись и являются только хранителями былин, насколько их творцами.

* * *

Русским ученым принадлежит заслуга постановки самого вопроса о необходимости наблюдения над исполнителями фольклора. В этом русская наука оказала сильное влияние на европейскую фольклористику. [2]) Наиболее ценными и детальными являются материалы о наблюдении над сказочниками. Мы имеем довольно большой материал о манере исполнения сказок и ряд подробных биографий сказочников (всего в русской фольклористике составлено около 200 характеристик сказочников). Вспомним, например, выпуклые биографии сказочников, напечатанные в сборнике братьев Б. и Ю. Соколовых: «Сказки и песни Белозерского края» 1915 г., детальную монографию Гринковой, посвященную биографии одной сказочницы, [3]) подробные характеристики сказочников, сделанные Азадовским, с записями почти всего сказочного репертуара характеризуемых сказочников, [4]) и др. Следует подчеркнуть, что в вопросе о задачах собирания русская фольклористика не останавливается на одном месте, но все время движется вперед. Ставятся новые задания, ищутся новые методы для более успешного достижения поставленных задач.

В области теоретического изучения русских сказок мы имеем ряд ценных вкладов, сделанных русскими последователями мифологической школы (Афанасьев и др.) и школы заимствования (А. Веселовский и др.). Интересна статья Всеволода Миллера, написанная в духе антропологической школы. Наконец,

2) Проблема изучения носителей фольклорного творчества в самое последнее время начинает привлекать внимание европейских ученых (Ulrich Jahn, Wisser, Berendsohn). Подробнее смотри: *проф. Б. М. Соколов*. Русский фольклор. Вып. II. Сказки, стр. 21.

3) *Н. П. Гринкова*. Сказки Куприянихи. Художественный фольклор. I. М. 1926.

4) *Марк Азадовский*. Сказки верхнеленского края. Сказки Натальи Осиповны Винокуровой. Изд. Восточно-Сибирского Отдела Русского Географического Общества. Иркутск. — Mark Azadovskij. Pohádky z hornolenského kraje. «Národopisný věstník československý», Roč. XXI.

отметим капитальные работы Андерсона и Андреева, написанные по методу финской школы. Но наиболее оригинальными работами в деле изучения сказок нужно признать недавно вышедшие работы о сказке, написанные по методам русской школы формалистов. Русские формалисты, занимающие первое место в области изучения поэтики литературных произведений, после выхода работ Волкова, Проппа, Шкловского и Никифорова занимают первое место и в области изучения поэтики сказки. Очень ценным является предложение А. И. Никифорова изучать сказку как синкретическое произведение, состоящее из слова и драматического действа (см.: Народная детская сказка драматического жанра. Сказочная Комиссия в 1927 г.).

Наметим ряд заданий, которые, по нашему мнению, стоят перед собирателями сказок.

1. Прежде всего надо выяснить, по каким признакам различает сказочник собственно сказку от рассказов исторического характера, от рассказов о сверх-естественных событиях, от рассказов из жизни своего или соседнего села и т. п.

2. По каким признакам различает сказитель отдельные жанры внутри самой сказки: фантастические сказки от анекдотов и т. п.

3. Какие изменения (в стиле, в сюжете и т. д.) сказочник считает возможным вводить в сказку и какие нет.

Далее является существенным вопрос, в чем состоит оригинальность русских сказок, в чем отличие их от европейских и нет ли связи русской сказки со сказками других народов Евразии.

На некоторые из поставленных нами вопросов уже сейчас можно дать ответы. Проф. Поливка в своей работе «Uvodní a závěrečné formule slovanských pohádek», «Národopisný věstník československý», Roč. XIX-XX, говорит следующее:

«Те же самые типические и своеобразные вводные формулы (*začiny*) находим как в великорусских, так в белорусских сказках, а также в малорусских (украинских), т. е. записанных на Украине, в собственном смысле этого слова, не в малорусских сказках, записанных за границами бывшей русской империи. По этим причинам не будем особо разбирать вводные формулы (*začiny*) каждого отдельного племени, но объединим их под одним заглавием» (стр. 2, Roč. XIX).

Далее: «Сравнение записи сюжетов русских сказок с указателем Аарне-Андреева привело (Н. П. Андреева) к выводу, что русский сказочный материал из 915 типов (или 1.021 вариаций) знает 613 типов (683 вариации). Одна треть всех типов международного каталога является для русского материала и западно-европейского общим (317 типов, с вариациями 327),

треть сюжетов (302 типа, с вариациями 338) в русском материале совсем не встречалась, зато треть сюжетов (296 типов, с вариациями 356) является специфической особенностью русского сказочного репертуара и совсем неизвестна Западной Европе».[5])

Наконец, М. Азадовский в конце книги «Сказки Верхнеленского края», В. I. пишет: «В заключение — одна поправка. Я указал в предисловии, в качестве одного из существенных факторов в жизни и развитии русско-сибирских сказок, влияние фольклора туземных племен. Но при этом я добавил, что в записанных мной текстах и материалах этих влияний я не мог обнаружить. Приходится сознаться в поспешности последнего замечания. Дополнительные изучения приводят меня к необходимости признать следы этого влияния и в записанных мной текстах, в частности, и в сказках Н. О. Винокуровой. Впрочем, этому вопросу намереваюсь я посвятить особую статью» (стр. 137).

Насколько нам известно, эту исключительно интересную по теме работу М. К. Азадовский еще не опубликовал.

Встает вопрос, ограничивается ли это взаимовлияние и сходство в сюжетах и форме сказок только определенным географическим пространством (например, простирается на сказку сибиряков-русских и соседящих с ними националов) или простирается в некоторых сказочных сюжетах или целых родах сказок на все народы Евразии.

* * *

Одной из наиболее разработанных и обследованных областей русского фольклора являются заговоры. Богатый и разнообразный материал и его крупное влияние в жизни русского крестьянина содействовали тому, что в России не только было собрано большое количество заговоров, но этот материал был тщательно и детально разработан.

Начну с истории изучения заговоров. Процитирую здесь слова одного из видных исследователей русских заговоров Познанского: работа Сахарова «Сказания русского народа» (1841) была «первая (по изучению заговоров) не только у русских, но кажется и в Европе. Конечно, существовали исследования демонологов и даже на целые столетия раньше; но так широко поставил вопрос, привлекши к делу чисто народный материал, впервые Сахаров. Несмотря на все свои недостатки, которые в

---

5) Цитирую по книге проф. *Б. М. Соколова*. Русский фольклор. Вып. II. Сказки. Стр. 13. Подробнее — *Н. П. Андреев*. К обзору русских сказочных сюжетов. Художественный фольклор. II-III. М. 1927.

настоящее время были бы никому не простительны, работа Сахарова была крупным явлением в свое время. Вспомним, что в 30-х годах было не только у нас, а и на Западе. Во Франции еще в 1886 году в журнале «Мелюзин» была помещена статья о суеверии, которую автор, приводя два старинных заговора, заключает словами: «Такие формулы, без сомнения, существуют в большом числе. Когда же возьмутся за мысль собирать и сравнивать их?» Собирать то французы скоро стали, хотя и очень вяло; но когда они будут их «сравнивать», этого и теперь все еще приходится ждать» (Познанский. Заговоры, стр. 12).

Вскоре после Сахарова появилась работа, посвященная заговорам. Даля. Вот какие вопросы были поставлены на очередь первыми русскими исследователями заговоров: 1. Место и время происхождения заговоров, 2. пути их распространения, 3. степень национального элемента в них, 4. отношение заговоров к поэзии, 5. смешение христианских и языческих представлений, 6. морфология заговоров, 7. отношение заговоров к гипнотизму.

Обозревая богатую литературу, посвященную изучению русских заговоров, мы видим, что в ней детально разрабатываются вопросы, поставленные первыми исследователями.

Особенно много внимания уделяли русские исследователи морфологии заговоров. Здесь следует выделить работы Н. Крушевского, А. А. Потебни, Ф. Ф. Зелинского, А. Н. Веселовского, Е. Н. Елеонской и, наконец, Познанского.

Обилие материала содействовало тому, что каждый новый исследователь легко мог найти ряд новых черт в русских заговорных формулах. Мало того, обилие все прибывающего и прибывающего нового материала нередко заставляло одного и того же исследователя (напр., Потебню) менять с течением времени свою точку врения относительно заговоров.

Русские заговоры привлекали к себе внимание и иностранных исследователей. Из них в первую очередь нужно упомянуть финского слависта Мансикку, выпустившего целый ряд работ о русских заговорах.

Как ни много было сделано русскими учеными в деле изучения заговоров, все же это является лишь небольшой долей того, что еще предстоит сделать и чего настоятельно требует этот исключительный материал.

Намечу ряд неотложных заданий, которые стоят перед будущими исследователями заговоров. Как и выше, в первую очередь укажу здесь на те задачи, которые необходимо выполнить изучая самую жизнь заговора, работу, относящуюся к области не кабинетной, а полевой этнографии.

Одним из первых заданий является установить, в какой

степени осознается эстетическая функция заговоров и в какой функция формул, имеющих заданием «заговорить» болезнь, затем, в какой координации находятся между собой эти две функции.

В частности, что касается эстетической функции заговоров, то, несмотря на большое внимание, которое было посвящено морфологии заговоров, до сих пор еще не проделан не только исчерпывающий, но и более или менее полный формальный анализ заговоров. Далее, в композиции заговоров, в их стилистике мы встречаем целый ряд сходных черт с эпической и лирической песнью и со сказкой; встречаем отдельные места прямо заимствованные из различного рода произведений народной поэзии. Перед исследователями стоит задача выяснить, в какой степени осознается крестьянами сходство заговоров с другими видами фольклора, носящими чисто эстетическую функцию. Но и независимо от эстетического восприятия поэтики заговоров и отличия от восприятия крестьянами поэтики других произведений русского фольклора, надо проанализировать стилистику заговоров и указать, в чем заключается формальное сходство и отличие этой стилистики от стилистики других родов фольклора.

Другим актуальным заданием является вопрос, в каком направлении идет в настоящее время, а где можно установить, шло прежде видоизменение заговоров: их сокращение, увеличение, мена стиля и т. п.

Третьим насущным вопросом является установление, в какое отношение крестьяне ставят заговор к христианским верованиям, в частности — к молитве. Считается ли, например, прибегать к помощи заговоров богопротивным делом (может быть только некоторых заговоров), или нет. Если да, то какие извиняющие для себя обстоятельства находит религиозный крестьянин, которые позволяют ему исполнять это богопротивное дело.

Вопрос о функции заговоров, как гипнотического средства воздействия, не раз поднимался в русской литературе, но далеко еще не разрешен. Между тем, время не терпит и необходимо в самом спешном порядке научно обследовать этот вопрос не только специалистам этнографам, но и врачам-психиатрам. Ведь нигде в Европе не найти такого богатого материала, который позволит приоткрыть завесу в деле познания «примитивного» мировоззрения. И нигде психиатрам не найти стольких ярких примеров воздействия «силы слова» в области гипнотизма.

Остаются до сих пор неуясненными также вопросы о роли магического действа, сопровождающего заговор, и о силе в заговоре самоценного слова.

* * *

До самого последнего времени, сравнительно с другими областями народной словесности, мало уделялось внимания изучению бытования русской народной лирической песни. Больше всего посчастливилось частушке (ср., напр., Сборник частушки под. ред. Елеонской). Сравнительно недавно вышла интересная работа о бытовании частушки Зеленина и ритмический разбор частушки Трубецкого. Первая работа особенно ценна тем, что в ней дается ряд наблюдений над жизнью частушки, проделанных таким опытным этнографом, как Зеленин, на протяжении нескольких лет; вторая работа устанавливает, что ритм частушки является одним из самых древних песенных ритмов. — Ряд ценных наблюдений над жизнью лирической песни был сделан за последнее время в районе Шунгского полуострова Колпаковой (опубликованы в книге «Искусство Севера»).

«Новый материал, говорит Колпакова, дает возможность наблюдать в старой песне признаки эволюции ее прежних форм. Для старой народной песни эта эволюция в большой мере сводится к дегенерации» (стр. 127).

Основной особенностью нового текста является его явная тенденция к укорочению.

1. Песня плясовая, подчиняясь продолжительности танца, может развертываться до бесконечности, но песнь непосредственно лирическая нередко теряет в своем новом тексте целые куски, преимущественно окончания.

2. Иногда укорачивание идет не такими большими кусками, а лишь путем выбрасывания отдельных строк в разных местах песни.

3. Третий способ сокращения — отмена троекратных повторений, обычных в старых текстах.

Сообщая песню, где повторяются одни и те же вопросы и ответы об отце, о матери и братьях и, наконец, о милом, одна из девушек, сообщив вопросы и ответы об отце, сразу перешла к милому, но заметила: «Надо бы еще про маменьку да про братца, да уж гораздно долго будет. Мы так поем».

Исключительно ценными являются наблюдения над теми местами, где эволюция песни повела к основному ее изменению.

Так приводится песня, которая представляет собою отрывок из песни более длинной, у которой взят один лирический момент и помимо его повествовательного окружения, которое совершенно откинуто, оформлен в самостоятельную короткую но лирически *более насыщенную* песню.

К сожалению, Колпакова не дает детального анализа этой лирически более насыщенной песни.

Интересно наблюдение, произведенное Колпаковой над песнями, составленными из двух или нескольких. При составлении этом, по наблюдению Колпаковой, замечается стремление объединить в смысловом отношении эти две песни в одну. Исключительно важными наблюдениями считаем мы, что «портится» текст песни именно в последние 12-20 лет: нередко песня, записанная Шейном или Соболевским, переходит к Соколовым почти неизменной, а от Соколовых к нам — уже в совершенно порой неузнаваемом виде, хотя записаны все варианты не в очень удаленных одна от другой местностях и хронологически расстояние между третьей и второй записью меньше, чем между второй и первой.

Большой интерес представляют отмеченные факты приспособления печатного текста к потребностям деревенского вкуса. Я здесь привел ряд интересных наблюдений, сделанных Колпаковой над жизнью лирической песни в наше время, наблюдений, которые, по нашему мнению, являются ценными не только для изучения эволюции и жизни современной лирической русской песни, но также и для построения гипотез об эволюции лирической песни вообще.

Конечно, все это является только первыми попытками к изучению бытования лирической песни, и на очереди стоит ряд новых вопросов, на которые можно будет дать ответ только при непосредственном дальнейшем изучении лирической песни.

Намечу эти вопросы.

Так, нам кажется, было бы весьма важно изучить, какие куски или отдельные строки в песне выбрасываются, а затем выяснить у самих певцов, чем объяснить то, что отдельные места из песни выбрасываются. Мы вполне понимаем, что в каждом отдельном случае не так легко добиться толкового ответа. В этом отношении интересно замечание Колпаковой: «Само собой разумеется, что происходит это (приход более динамичных жанров) совершенно бессознательно для самих исполнителей: когда после первых знакомых слов песни, неожиданно для нас начинался новый текст, мы по окончании песни спрашивали иногда песенницу — не знала ли она когда-нибудь другой песни, которая начиналась бы с таких же слов. Ответ обычно бывал неизменным: «Иначе эта песня никогда не пелась».

Мы считаем очень полезным и важным произвести опрос исполнителей песен, сложенных из двух или нескольких песен, особенно такой сложной песни, в которой слияние двух песней в одну окончательно не произошло, и даже видно противоречие конца и начала песни. Следует выяснить, как объясняет исполнитель песни это странное соединение.

1. Играет ли тут роль схожее содержание или, по крайней

мере, общие настроения двух песен (мы имели бы случай построения по сходству сюжетов),

2. Или, может быть, это соединение объясняется контрастом двух половин песни (в этом случае мы имели бы построение по контрасту).

Исключительно интересно выяснить вопрос не только — как, но и почему заменяются отдельные места песни другими, приспосабливаясь к вкусам деревни. Можно было бы, например, исполнителям прочесть печатный текст песни, взятой из песенника, и из опросов выяснить, почему они видоизмененные места предпочитают исконному тексту.

В изучении жизни и бытования лирической песни нам кажутся наиболее актуальными следующие проблемы:

1. Изучение эстетического восприятия различных жанров лирической песни: а) протяжной, б) романса, в) плясовой и др. — Изучение, какая эстетическая ценность придается каждому из этих жанров, как сильно и по каким признакам различается каждый жанр.

2. В каком соотношении живут у одного и того же исполнителя песен несколько жанров: какое эстетически-функциональное значение придается каждому из этих жанров.

3. Попытаться определить, на какие группы разбивается население деревни (скажем — старики, молодежь, дети, или — группа крестьян, более затронутая веяниями города и затронутая этими веяниями меньше) и затем уяснить, какой жанр лирической песни предпочитает каждая группа.

4. Насколько допустимым считается вводить стиль одного жанра в другой. Совершается ли это сознательно или, может быть, хотя теоретически это считается недопустимым, но на практике все же бессознательно совершается.

5. Изучение обрядовой лирической песни должно итти рука об руку с изучением обрядов. Здесь прежде всего следует изучить, какое функциональное значение имеет в каждом отдельном случае обрядовая лирическая песня: несет ли она функции ритуальной поэзии или только функции эстетические.

Исключительно ценные результаты могут дать наблюдения над частушкой. Эти наблюдения могут многое разъяснить не только в эволюции этого жанра, но и вообще лирической песни, а иногда даже и всего народного творчества.

Следует наблюдать, в чем, в каком направлении и в какой мере допускаются изменения в частушке:

1. Замена одного ритма другим.

2. Замена одной мелодии другой, более старой или более новой.

3. Замена одних слов другими.

Чем объясняются эти замены, можно отчасти узнать из расспросов самих исполнителей песен, вносящих эти изменения в текст:

а) в какой мере замена старых слов новыми допускает изменение ритма всей частушки,

б) какое эстетическое впечатление производит замена старых слов новыми,

в) какие категории слов чаще изменяются,

г) в частности, в каких частушках наиболее часто происходит эта замена: лирических или сатирических, и т. д.

Установить принципы, по которым из частушек нанизыванием одной на другую создаются долгие песни:

а) идет ли нанизывание по сходству содержания,

б) по контрасту.

* * *

Одной из актуальнейших проблем современной русской фольклористики является задание определить место русской народной литературы, народных верований, а также и предметов материальной культуры в кругу факторов материальной и духовной культуры народов, окружающих восточных славян с запада и с востока. Уже и прежние исследователи русской этнографии, конечно, не могли пройти мимо сходных этнографических фактов, встречающихся у русских соседей. Стасов, Потанин, Вс. Миллер («Экскурсы») и др. пытались генетически связать русский эпос с эпосом восточным. Александр Веселовский, Жданов и др. и их последователи искали этой генетической связи на западе. Во всех докладах и резолюциях вышеупомянутаго совещания этнографов Ленинграда и Москвы в 1929 г. красной нитью проходит требование о необходимости детального изучения этнографии, помимо восточных славян, также других народов Евразии. В работах крупнейшего русского этнографа Д. К. Зеленина мы все время видим стремление связать изучение русского фольклора с фольклором других народов Евразии. Многое непонятное в нынешних русских народных верованиях Зеленин в «Очерках русской мифологии» (1916 г.) объяснял с помощью верований русских соседей — финнов. В своем капитальном труде «Russische (ostslavische) Volkskunde» Зеленин то там, то здесь, для разъяснения отдельных мест в русской этнографии, прибегает к материалу других народов Евразии. Но из всех работ, посвященных изучению русского фольклора совместно с изучением фольклора других народов Евразии, надо поставить на первое место работу Зеленина: «Табу слов». Работа эта интересна не только по обширному ма-

териалу, охваченному ею, но и по ряду принципиальных выводов, сделанных на основе этого материала. Одно из основных положений Зеленина, что само определение табу слов у народов Евразии отлично от определений этого понятия во внеевразийском мире, показывает всю важность изучения фольклора Евразии как самостоятельного целого, имеющего свои задачи и могущего привести к своеобразным выводам. Упомянутые и использованные проф. Зелениным русские работы, посвященные этнографии народов Евразии, показывают, как много нового может найти европейский этнограф в русских работах по изучению народов Евразии. Для этнографа, ознакомившегося с книгой Зеленина, станет, между прочим, актуальным вопрос о необходимости изучения русского языка. Без знания русского языка этнографу, занимающемуся так называемыми примитивными народами, недоступна большая русская этнографическая литература, посвященная изучению народов Евразии. Нам кажется, что интересы этнографии настоятельно требуют скорейшего перевода труда Зеленина на один из европейских языков, чем была бы дана возможность всем европейским ученым ознакомиться с богатством русского материала, подобранного Зелениным хотя бы только по одному вопросу — о табу слов. Труд Зеленина является блестящим доказательством того, какие новые достижения могут быть сделаны в этнографии при изучении Евразии, как единого целого.

Мы наметили здесь, что нового внесла русская фольклористика в методологию изучения отдельных родов русского фольклора. В наших беглых фрагментарных замечаниях все же можно нащупать ряд общих тенденций, которые проходили красной нитью в русской фольклористике.

Это стремление, во-первых, не только исторически, но и синхронически подойти к изучению фольклора, во-вторых — подойти к структуральному изучению фольклора. Ясно намечается тенденция отказа от атомизирования фольклорных фактов, и в замен ему идет, может быть не всегда ясно выраженное, но проводимое на практике структуральное изучение фольклора. Текст былин и сказок изучается не сам по себе, в отрыве от исполнителей, от исполнения, от аудитории и т. д., а в совокупности со всеми этими факторами. Уже в сборнике братьев Б. и Ю. Соколовых, вышедшем в 1915 г., ясно выявлена мысль, что одна запись сказки не может дать представления о рассказанной сказке. Сказка это текст плюс сказ (декламация) сказителя, плюс мимика и жест сказителя, плюс участие публики (реплики и т. п.) и др. Специально занимающаяся вопросами искусства «сказа» И. В. Карнаухова подчеркивает, что при изучении манеры сказывания сказа нужно принимать во внимание:

а) сказочника, б) материал (саму сказку), в) исполнение и г) аудиторию. [6])

Проф. Никифоров в статье «Народная детская сказка драматического жанра» (Сказочная Комиссия в 1927 году) формулирует: «Произведения народной словесности — не литература, которая пишется писателем молча за столом и читается читателем тоже молча за столом. Наоборот сказка, песня, былина и т. д. прежде всего произносятся, бытуют только устно, живы тогда и до тех пор, когда и пока произносятся. Текст сказки без учета его исполнения — труп. И изучение этого трупа дает понимание анатомии сказки, но не жизни сказочного организма... Для фольклориста сказка обязательно должна быть чем то более сложным, чем только записанный собирателем текст».

Обе замеченные нами тенденции (статическое и структуральное изучение) русской фольклористики созвучны пафосу современной науки, и русская фольклористика может быть горда тем, что она одна из первых сделала шаги в этом направлении.

Нарва *Иван Савельев*

Библиографическое примечание

— Книга *Скафтымова*, упомянутая на стр. 67-68, называется «Поэтика и генезис былин». Очерки (Москва-Саратов 1924).

— Обширный материал (40 печатных листов), собранный экспедициями *Бориса* и *Юрия Соколовых* (стр. 68), производившими обследование этической традиции в областях собирательской деятельности Рыбникова и Гильфердинга, к сожалению, еще не напечатан.

— Работа о частушке *Д. К. Зеленина* (стр. 76): Das heutige russische Schaderhüpfel (častuška), Zeitschrift für slavische Philologie. B. I. No 3-4. 1924.

— Упомянутая там же (стр. 76) работа *Н. С. Трубецкого:* Ометрике частушки, помещена в журнале «Версты» No 2. Париж. 1927.

— Труд *Д. К. Зеленина:* Табу слов у народов восточной Европы и северной Азии (стр. 79-80), появился в «Сборнике музея Антропологии и Этнографии». Т. VIII-IX.

— Упомянутый на стр. 80 сборник братьев *Б.* и *Ю. Соколовых* 1915 г. зовется: «Сказки и песни Белозерского края».

---

6) Цитирую по книге *Б. М. Соколова.* Русский фольклор. . IIВ, стр. 35. — Статья *И. В. Карнауховой*: «Наблюдения над исполнением народной сказки». Печатается в жур. Художественный фольклор. В. VI-VII. М. 1930.

О КОЧЕВОМ БЫТЕ

Ниже помещены заметки *д-ра Э. Д. Хара-Давана* о физическом типе и жизненных навыках кочевников-степняков, *основанные на непосредственном знакомстве автора с кочевым бытом*. В немногих строках он сосредоточил большое количество данных, свидетельствующих о том, насколько совершеннею, во многих отношениях, *школою физической культуры* является кочевой быт. Опыт кочевников не должен пройти бесследно и для современной постановки физкультуры среди оседлых народов, в особенности среди тех, которые связаны со степными кочевниками соседством и исторической близостью. Этому условию вполне удовлетворяют оседлые народы евразийского мира. Кочевники служили для оседлых образцом телесной сноровки и выправки в целом ряде моментов прошлого. В некоторых отношениях они могут служить для них таким образом также и в настоящее время.

Д-р Э. Д. Хара-Даван только наметил вопрос о специфическом развитии *наблюдательности* среди степняков. Сравнительно недавно опубликованы интересные данные по этому вопросу *применительно к кочевникам тундры* (*В. В. Чарнолуский*. Материалы по быту лопарей. Опыт определения кочевого состояния лопарей восточной части Кольского полуострова. Ленинград, издание Государственного Русского Географического Общества 1930). Вот что рассказывает *В. В. Чарнолуский*: «Постоянное пребывание в тундре, на охоте, поездки за оленями, ежегодные объезды тундры для собирания своих стад выработали у лопарей особую память и привычку к своему краю, навык разбираться в тончайших очертаниях контуров лесов на горизонте и протяженности холмов, в волнистом рельефе тундры; повидимому, и зрение их отличается способностью ясно видеть предметы в перспективе и воспроизводить их с помощью зрительной памяти с чрезвычайной точностью... Тот факт, что недавно умерший в Куроптевском погосте старик-лопарь умел, будучи слепым, ездить в зимнее время в стадо, указывает, что помимо зрения, у лопарей развито особое чутье местности. Один из лопарей объяснил мне, что знакомую дорогу он узнает с закрытыми глазами, по тем потряхиваниям на неровностях почвы, по которым он едет. Несомненно эту способность следует приписать ощущениям моторного ряда» (цит. соч., с. 46-47). *В. В. Чарнолуский* подробно описывает приемы ориентировки лопарей по звездам, по направлению ветра и т. п. Лопарь чрезвычайно чувствителен к направлению ветра и его переменам. Определив угол, образуемый направлением его движения и направлением ветра, он затем безошибочно руководствуется этим «углом движения». Нужно думать, что ориенти-

ровка «по ветру» является особенно отличительной для приморских местностей, с их сильными и постоянными ветрами. Именно такою местностью является тундровая зона Евразии. — «В пределах движениях вдоль берега большую роль играет темная полоса неба над морем; по ширине и оттенку ее судят, как далеко или близко от моря находится путник». — Особенно сложной является ориентировка «по луне», которую также описывает *Чарнолуский*. Очень трудно разобраться в тундровых тропах. «Только лопарь врожденным инстинктом и поколениями выработанным навыком умудряется различать оленью тропу от тропы человека» (с. 49) и т. д. — Нет сомнения, что и степняки дают примеры наблюдательности подобного рода, причем, конечно, все эти вопросы в условиях степи предъявляются по своему. Было бы весьма желательно дополнить данные *д-ра Хара-Давана* сводною такого характера. — В свою очередь, исследования быта тундровых народов, подобные работам *В. В. Чарнолуского*, могут быть существенно обогащены внесением тех точек зрения, относящихся к анатомии и физиологии кочевников, которые намечены *д-ром Э. Д. Хара-Даваном*.

В отношении к кочевому быту калмыков эти пожелания близки к осуществлению. Печатаемые заметки — это всего лишь отрывок из более обширной работы *д-ра Э. Д. Хара-Давана*. Работа эта, нужно надеяться, появится в свет в ближайшее время особою книжкой.

П. Савицкий

Кочевой быт обуславливается не дикостью или варварством данного народа, как принято думать, а есть совершеннейшее приспособление к почвенно-географическим условиям степи, не пригодной для земледелия. Быт этот сопряжен с чисто скотоводческим хозяйством. Скотовод принужден менять пастбище, вытравив подножный корм в данном месте. Перекочевывать должен со своими стадами как природный кочевник великой евразийской степной полосы, простирающейся от Волги до Китайской стены и гор Маньчжурии, так и американец в прериях далекого запада. Вот почему великая евразийская степь около 3000 лет (за этот период обозрима для нас ее история) обуславливает чисто скотоводческий кочевой образ жизни народов, ее населяющих.

Принято думать в оседлом мире, что жизнь кочевника — скучное и жалкое прозябание, а жить не в доме, а в кочевой кошемной кибитке — по меньшей мере страдание.

Кочевник же, попав в почти герметически закрытое помещение, со спертым воздухом, называемое домом, задыхается и не может переночевать даже одну ночь, без чистаго воздуха кибитки, где происходит постоянный его обмен; вследствие этого кочевник при переходе на оседлость заболевает почти всегда туберкулезом, в то время как живя в кибитках кочевники дают очень незначительный процент реакции Пирке на туберкулез, доходящий у европейцев до 100 проц. среди людей старше 25 лет.

Вообще кочевой образ жизни и сопряженная с ним верховая езда имеют тренирующее значение для здоровья кочевника. В кибитке—постоянный обмен чистого воздуха. Пища—мясо и молочные продукты; как не земледельцы, кочевники растительной пищи не употребляют никогда, вот чем объясняется то, что у них не бывает апендицита (воспаление слепой кишки), столь распространенного в городах. Затем также не бывает порчи зубов, столь частой у европейцев. Это объясняется тем, что кочевник ест пищу не в переваренном и приготовленном виде, как европеец, а в твердом виде. Мясо варят столько, чтобы не было крови. Губчатые кости не принято бросать с костным мозгом, они разгрызаются зубами, отчего зубы крепнут и очищаются. Всегда у смуглого кочевника вы увидите снежно белые крепкие зубы, хотя их щеткой не чистят. Столь доходная профессия зубных врачей среди кочевников не найдет никакого применения. У кочевника развиты зубы; как особенность у них имеются так называемые волчьи зубы, которыми они могут разгрызать кость: это обуславливает развитые жевательные мышцы и вообще челюсти.

Даже среди глубоких стариков не приходится видеть плешивых, так как малыми детьми они до 10-12 лет не носят головного убора, подвергая голову благотворному действию солнца и ветра, отчего крепнут корни волос. Вследствие этого кожа головы хорошо питается кровью и дает крепкие толстые волосы, не только не падающие сами, но даже и при драке, когда обычно волокут друг друга за длинные волосы.

Узкие глаза кочевника, обращающие на себя внимание других народов, зависят от равнинности окружающего пространства — степи, где горизонт далек и ровен. Глаз кочевника дальноэоркий, куда бы он ни посмотрел, глаз устанавливается на далекий горизонт, на даль, в таких случаях глаз, как диафрагма объектива, суживается, у городского или горно-лесного жителя горизонт близок, и его глаза большие, но близорукие. В очках кочевника видеть не приходится. Дальнозоркость кочевника как высшая ее степень установлена учеными окулистами.

Слух кочевника развит в такой же высокой мере, как и зрение.

Кочевник должен быть на страже не только во время поездок, но и дома, когда он бережет свои стада от воров и зверей, в особенности ночью. Как известно, стада кочевника ночуют всегда на открытом и не загороженном месте, а табуны лошадей целую ночь пасутся. Каждый подозрительный шорох, каждое движение стад кочевник должен своевременно услышать и предупредить опасность, если же проспит, не услышит и не увидит опасности, мародеры угонят его стадо, а погоня всегда

опасна и малоуспешна. Поэтому кочевник должен быть бди-
тельным, чутким. Старые и дети спят в кибитках, расположен-
ных в круг, внутри — стада, молодые спят около стад.

Шея у кочевника короткая, с развитой мускулатурой, на
что влияет верховая езда. Длинная, тонкая шея не дает устой-
чивости голове во время верховой езды. Короткая и развитая
шея , наоборот, вполне отвечает этому требованию.

Мускулатура тела у кочевника сухая, жилистая, упругая
от верховой езды, которая развивает мышцы всего тела и препят-
ствует отложению жиров, что свойственно оседлому жителю.
Среди кочевников жирных не бывает. Туловище — длинное
и развитая грудная клетка, что зависит от здоровых условий
и тренирующего влияния кочевой жизни в кибитке; ноги ко-
ротки и кривы, так как кочевник не ходит пешком, а исключи-
тельно ездит верхом, — куда ни пойди — расстояние в 5-10 верст
от хотона (одной группы в 5-10 кибиток) до другого хотона.
Ноги кривы от верховой езды — принимают форму ребер коня.

Как особенность кочевника должен отметить, что от постоян-
ной верховой езды (и женщины ездят верхом с малых лет) у
них musculus sartorius, сжимающий бедра (также называющийся
портняжной мышцей у мужчин, а у женщин он называется
musculus custodiis virginis: мускул — хранитель девственности)
развит чрезвычайно, мало того он автоматически сжимает бед-
рами коня и не дает упасть кочевнику даже когда он засыпает
на коне, в походе, или когда скачет пьяным. У табунщиков от
натягивания накинутого на коня аркана на бедре имеется про-
фессиональная мозоль в косом направлении чрез все бедро.

Кожа кочевника закаляется на солнце и ветру; с детства
до 7-8 лет принято летом ходить голыми. Кожных болезней
поэтому почти у них не бывает.

Руки у кочевников довольно нежны, так как они физиче-
ским трудом не занимаются; на труд земледельца кочевник
смотрит свысока.

Надо заметить, что у кочевника кроме всего перечисленного
чрезвычайно развито чувство ориентировки в местности как у
истинного сына природы. Быстрая ориентировка даже в неиз-
вестной местности служила одним из главных залогов победы
в походах Чингис-хана и его славных полководцев. Разведчики
монгольской конницы знали по характеру местности, какие тра-
вы должны были расти и в какое время года они достигали наи-
высшей своей питательности. Знали по характеру местности, в
какое время года можно иметь довольно воды и проч. (см.
монгольские летописи и исследования историков).

Д-р Эренжен Хара-Даван

ГЛАВЫ ИЗ «ОЧЕРКА ГЕОГРАФИИ РОССИИ»

1. Черты грандиозного в русской природе

Территория России представляет собою наибольшее, из-
вестное по всемирной истории последних столетий сплошное
сухопутное пространство, состоящее под одной политической
властью. Правда, с конца XIX века, по общей площади, Бри-
танская Империя стала превышать Империю Российскую,
а к настоящему времени территорию СССР она превосходит
почти вдвое. Но британские владения разбросаны по всем
частям земного шара и составлены из многих десятков обо-
собленных участков. Что касается британских территорий,
образующих сплошные массивы, то и наибольшие из них:
непрерывная лента африканских владений, простирающаяся
от Египта до южной Африки, и Канада, по пространству, не
превышают, каждая, 10 миллионов квадратных километров.
На территории нынешнего СССР этому противостоит кусок
сплошной территории, площадью более 20 мил. кв. км.[1])

---

1) Общая площадь СССР в изданиях Народного Комиссариата Внутренних Дел «Территориальное и административное деление Союза ССР» (Москва 1925) определена в 21.163,6 тыс. кв. км. В Prof. Hickmann's Geografisch-statistischer Universal Atlas (Wien 1924) она оценена в 21.182,0 тыс. кв. км. Теоретически исчисляемое пространство СССР значительно увеличилось в 1926 г., когда постановлением от 18 апреля 1926 г. Центральный Исполнительный Комитет СССР объявил входящими в состав СССР все известные и имеющие быть открытыми в будущем земли и острова, расположенные в секторе между островами Шпицбергена на западе, Беринговым проливом на востоке и северным полюсом на севере. С этого времени стали окрашивать в русский цвет землю Франца Иосифа, Северную землю и т. д., что составляет прибавку площади не в один десяток тысяч кв. км. Новые открытия могут принести и дальнейшее прибавление.

Это пространство орошают реки, относящиеся к числу величайших рек мира. России принадлежит (за исключением незначительной южной своей части, омывающей берега Персии) обширнейшее из озер земного шара — Каспийское море (площадью в 436 тыс. кв. км.).[2]) Четвертое и седьмое, по размерам, озера нашей планеты: Аральское море (68 тыс. кв. км.) и Байкал (35 тыс. кв. км.) — также находятся в России. По объему воды Байкал есть величайшее в мире *пресное* озеро. Три великих русских равнины, кавказско-беломорская, западно-сибирская и туркестанская, если их взять вместе (что подсказывается незначительностью отделяющих их друг от друга возвышенностей), представляют собою одно из величайших равнинных пространств мира; и несомненно величайшее, стоящее под одной властью. Россия, однако, отнюдь не является всецело *равнинной* страною. Наряду с обширнейшими равнинами, в ней находятся и одни из наиболее высоких гор мира. Пик Белухи (в Алтае), по измерениям проф. Сапожникова, достигает высоты 4.800 метров над уровнем моря. Эльбрус (на Кавказе) поднимается до высоты в 5.629 м. На Памире и в русском Тян-Шане число вершин, превосходящих 5.000 м., считается десятками.[3]) Некоторые из них вздымаются до высоты в 7.000 м. — так, напр., Хантенгри (6.997 м.), пик Кауфмана (ныне переименованный в пик Ленина) в Заалайском хребте (7.144 м.), пик Гармо на Памире, высота которого по измерениям 1928 г. оказалась равной 7.495 м. (определение геодезиста К. В. Исакова). Выше этого предела поднимаются на земле только вершины Каракорума и Гималаев (почти до 9.000 м.). Высочайшая вершина Анд (Аконкагуа) имеет высоту в 7.040 м. Высоты других крупнейших хребтов земного шара не могут равняться с высотами названных выше пиков русского Туркестана. На долю русской территории приходятся и многие крупнейшие *ледники* мира. Не будем говорить здесь о ледниках полярных стран и в частности о ледниках северного острова Новой Земли, открытых в 1909 г. геологом В. А. Русановым (погибшим впоследствии в Ледовитом Океане, при отчаянно-смелой попытке обогнуть с севера берега Евразии на моторно-парусной шхуне). Весьма вероятно, что глетчеры эти превосходят по пространству знаменитые в географии

2) Научное изучение Каспийского моря всецело лежит на русских. Также гидрометеорологическая станция на персидском берегу (в Энзели) содержится Управлением Морского Транспорта СССР. Около десятка таких станций размещено на русских берегах Каспийского моря.

3) Высочайшая гора Европы — Монблан — 4.810 м. Даже на Кавказе имеется по десятку вершин, по высоте превосходящих Монблан.

ледники Исландии и Аляски. Здесь упомянем только о высокогорных областях оледенения. Новейшие исследования установили весьма значительное распространение оледенения на Кавказе, который, в этом отношении, не уступает Альпам. Но наибольшими в России ледниками обладают Памир и Тянь-Шан. Ледник Федченка на Памире, в тех его очертаниях, которые определены советско-германской экспедицией 1928 г., оказался, в пределах современного знания, *длиннейшим* ледником мира (тянется на 75 километров; считавшийся доселе величайшим ледник Сиачен в Каракоруме имеет протяжение в 72 км.). — Не будем продолжать перечисления. И сказанного достаточно, чтобы наметить *черты грандиозности*, которые присущи русской природе. Несомненно, что они развивали *чувство грандиозного* в том народе, который осваивал это место-развитие. Черты русской истории соответствуют чертам русской природы.

2. *История образования территории русского государства* [4])

Первые исторические известия о восточных славянах застают их в бассейне Днепра и соседних с ним рек, стекающих в Черное и Балтийское море: Южного Буга, Днестра, Западного Буга и Сана. В верховья Западной Двины, Оки, Волги и в бассейн озера Ильменя восточные славяне пришли, повидимому, с юга и юго-запада. Как известно, политическое объединение восточных славян было организовано в IX-X веках пришельцами с северо-запада (из-за Балтийского моря) — норманнами (восточные славяне их называли варягами). Варяго-русское государство сложилось на торговом пути, открытом именно в эту эпоху, — на пути «из варяг в греки» (с Балтийского моря, через бассейн озера Ильменя и по Днепру, в Черное море и Константинополь). Существование этого пути, а также пути Волжского, соединявшего Балтийское море со Средним (персидским и арабским) востоком — придало варяго-русскому государству IX-XI веков черты геополитического образования «большого стиля». Пути из северной Европы в Византию и на мусульманский восток шли, в этот период, именно по названным магистралям. К моменту смерти Ярослава Мудрого (1054 г.) Русское государство обнимало площадь около миллиона кв. км., простираясь от устьев Невы на севере до среднего Днепра на юге и от нижней Оки на северо-востоке

4) При чтении этой главы следует иметь перед глазами приложенную в конце статьи «Русскую геополитическую таблицу». — Все подсчеты этой главы так же, как и названной таблицы, произведены автором самостоятельно, ввиду того, что в его распоряжении не было никаких готовых подсчетов этого рода.

до Карпат на юго-западе. Занятие низовьев Днепра половцами, затруднившее сообщения с Царьградом, а затем крестовые походы, открывшие новые пути для сношений северной Европы с Востоком, сильно уменьшили или даже свели на нет (в течение XII-XIII вв.) значение торговых путей, проходивших по русской территории. Вместе с тем распалось варяго-русское государство. Но осталось в силе культурно-историческое единство русских земель. В XII-XV вв. восточные славяне энергично продвигались на север. В эту эпоху они вышли на Онежское озеро, на Северную Двину и Ледовитое море. В XIII веке Русь была завоевана татарами. В XIV столетии *западно*русские земли были заняты Литовским государством. С этого же века началось объединение восточных и северных русских земель под главенством Москвы. Долговременный вассал Золотоордынской державы[5]) — Московское княжество — получило от монголов ценнейшее геополитическое наследство: идею крепкого политического объединения исторических областей лесной и степной зоны и навыки к организации такого объединения. Однако, это наследство было реализовано далеко не сразу. Еще в 1474 г. Московское княжество имело площадь всего лишь около 300 тысяч кв. км., охватывая местности непосредственно вокруг Москвы и несколько более широкий массив земель на северо-востоке (Ярославль, Устюг, Белоозеро). Зато в течение следующего столетия — от 1470-х годов по 1570-е — Московское государство, по площади, увеличилось не менее, чем в *восемь* раз.[6]) По темпу, это явление — единственно в русской истории. В смысле же *абсолютных* размеров осваиваемой площади, последующие столетия знали и еще бо́льшие приобретенья. — С XV-го века в истории образования территории русского государства нужно различать два основных процесса: колебания русской границы на западе и юго-западе, которая то продвигалась вперед, то снова отодвигалась к востоку; и процесс расширения русских границ на востоке, который, за исключением эпизода Нерчинского мира (уступка Китаю течения Амура в 1689 г.), шел непрерывно от XV-го по вторую четверть XIX-го века (когда произошел неблагоприятный для России перелом в ее экспансии на Тихом океане). — В конце XIV века сама Москва «едва не попала в литовскую власть».[7]) Положение было близко к этому и в конце 1420-х годов. В этот период Литва установила свою власть и в удель-

5) Фактическое освобождение Москвы от татарской власти произошло в середине XV века.

6) Если к площади Московского государства 1570-х годов причислить территорию еще не вполне к тому времени замиренных степных окраин, то увеличение достигнет двенадцатикратного размера.

7) Г. В. Вернадский. Начертание русской истории. 1927.

ных княжествах по верхней Оке, т. е. в непосредственной близости от московского центра. Обратное движение волны началось в конце XV века: к Москве перешли верхне-окские княжества, а затем и Чернигово-северская земля. Движение на запад продолжалось и дальше (в 1514 г. московскими войсками был занят Смоленск). В 1560-х — 70-х годах могло казаться, что Московское государство станет твердой ногой и на Балтийском море (между 1558 и 1577 гг. русскими были завоеваны многие ливонские города). Но военные события конца 1570-х и начала 1580-х годов устранили эту возможность. Снова произошел перелом: в своеобразной «периодической ритмике» государствообразующего процесса геополитическая волна опять пошла с запада на восток; польско-литовская сторона из обороняющейся превратилась в наступающую. Что же происходило между 1470-ми и 1570-ми годами на севере и востоке? Еще в 1478 г. были присоединены к Московскому государству владения Великого Новгорода. Это дало приращение территории более, чем в полтора миллиона кв. км.[8]) Московское княжество, до этого времени не выходившее к морю, достигло устьев Невы (Балтийское море) и Ледовитого океана. Геополитическим приобретением не меньшего масштаба было завоевание татарских царств: Казанского (1552) и Астраханского (1556). Вместе с завоеванием Астрахани, Московское царство вышло к Каспийскому морю. Англичане, назадолго перед тем открывшие морской путь из Англии в Белое море, немедленно воспользовались этим завоеванием для попытки проложить через Московское царство транзитные пути из Европы в Персию и Туркестан. В лице Московии, русское государство снова становилось геополитическим образованием «большого стиля».[9]) Завоевание Казани и Астрахани обозначило, что Москва перестала быть *одним* из «царств-наследников» Золотой Орды (наряду с Крымским, Сибирским царством и т. д.). Она становилась *собирателем* рассыпавшихся улусов золотоордынской державы. Следующим этапом был переход через Урал и завоевание Сибирского царства (1580-е годы). К начальному моменту завоевания, т. е. к первой половине 1580-х годов, Московское царство охватывало в Доуралье пространство, превосходившее три с половиной миллиона кв. км.[10]) Из этого пространства около миллиона кв. км. степ-

8) Наши подсчеты дали для Новгородской земли величину в 1.600-1.700 тыс. кв. км.

9) Стремление европейцев при своих торговых и дипломатических сношениях с Персией пользоваться дорогой через Россию, в обход османского государства, стало замечаться еще во второй половине XV в.

10) Если отнести сюда земли по средней и нижней Волге, а также по Дону и по северо-кавказским рекам, где находились

ных земель было к концу XVI в. далеко не вполне освоено русскими.[11]) Начиная с 1580-х годов, каждое десятилетие приносило Московскому государству все новые и новые территориальные приобретенья за Уралом. В каждое десятилетие осваивалось не менее нескольких сотен тысяч кв. км. сибирских пространств. Уже в течение 1580-х-90-х годов было освоено более полутора миллиона кв. км. (бассейн нижней и средней Оби и нижнего Иртыша). В некоторые из следующих десятилетий темп расширения был еще более быстрым. Общая площадь зауральских приобретений Московского государства между 1580-ми и 1660-ми годами значительно превысила десять миллионов кв. км. (вся Сибирь и весь русский Дальний Восток, без части западно-сибирских и енисейских степей, без Амурского края и без Камчатки). Особенно велики были приобретенья в 1630-х годах (они измеряются несколькими миллионами кв. км.).[12]) — В сопоставлении с названными геополитическими масштабами кажутся незначительными те изменения, которые происходили на западной границе. В действительности же, они имели большое значение, как в силу близости происходивших здесь событий к основным центрам русской исторической жизни, так и в виду несравненно бо́льшей (по сравненью с Сибирью) населенности этих областей. По мирным соглашениям 1582-83 гг. Москва сохранила Смоленск и Чернигово-северскую землю, но утратила в пользу Швеции выход к Финскому заливу (вновь приобретенный в 1595 г.). В Смутное время было поставлено на карту самое существование Московского государства (интересно, что и в это время не прекращались русские завоевания в Сибири). По мирным соглашениям 1617-18 гг. Московское государство снова лишилось выхода к Балтийскому морю, а также должно было уступить Польско-литовскому государству Смоленск и Чернигово-северскую землю. Приобретения на западной границе конца XV-го и начала XVI-го века, таким образом, были сведены на нет. Положение изменилось только в середине XVII века, после того, как на Украине произошло восстание против поляков. Украина

станицы донских и терских казаков, то мы получим величину в 3.600-3.700 тыс. кв. км.

11) Таким образом, площадь земель, *крепко освоенных* Московским государством, несколько превосходила, к этому моменту, два с половиной миллиона кв. км.

12) Еще ранее, в 1618-20 гг., русские, в лице Ивана Петлина и Андрея Мышлова, проложили путь из Тобольска в Пекин. Открытие этого пути, впервые после эпохи Монгольского владычества связавшего по сухопутью восточные и западные окраины Старого Света (Китай и Европу), еще усилило в геополитическом облике Московского царства черты государственности «большого стиля».

отдалась под покровительство московской власти. Белоруссия была занята московскими войсками. В 1655 г. московский царь стал писаться царем «всея Великия и Малыя и Белыя России».[13]) По миру 1667 г. приобретения оказались более скромными: считая земли левобережной Украины, Московское государство приобрело территорию в 160-170 тыс. кв. км.[14]), но при этом территорию большого исторического и экономического значения. Как раз к этому времени приостановилось русское расширение в Сибири. За столетие с 1570-х годов по 1670-е Московское царство расширило свои пределы с трех с половиной (приблизительно) до четырнадцати с лишним мил. кв. км. Иными словами, за столетие территория учетверилась. Как мы видели, предыдущее столетие знало и еще более быстрый *относительный* темп роста. По абсолютным размерам приобретений (более десяти с половиною мил. кв. км.), рассматриваемое столетие не знает себе равных в русской истории. За названный период Московское царство из великорусского превратилось в *русское* государство, в более широком смысле этого слова. Начиная со второй половины XVII века, «периодическая ритмичность» в изменениях западной русской границы вступила в новую фазу: открывается почти двухвековой период неуклонного продвижения русской границы на запад. Вообще, в пределах рассматриваемых столетий, периоды продвижения русской границы на запад были дольше и интенсивней, чем периоды ее обратного отступания на восток. Мы не будем прослеживать отдельных этапов этого расширения. Скажем только, что в XVIII-ом и в начале XIX-го вв. Россия приобрела на западе территории размером несколько более миллиона кв. км. Ранее они входили в состав шведского и польско-литовского государства.[16]) В этой цифре мы учли, в числе другого, не только пространство прежнего «великого княжества Финляндского», но также и десяти чисто польских губерний прежней «русской Польши». Как известно, они образовали первоначально (в 1815 г.) самостоятельное «Царство Польское» и только после событий 1830-31 и 1863 гг. вошли,

13) Это и есть момент внешне оформленного появления имени России (в его отличии от более раннего имени «Русь»).

14) Часть этих приобретений (около 12 тыс. кв. км.) в 1678 г. была вновь отдана Польско-литовскому государству.

15) Если для 1570-х годов в основу расчета принять площадь крепко к тому времени освоенных земель (несколько более двух с половиной миллионов кв. км.), то мы сможем констатировать увеличение территории более, чем в пять с половиною раз.

16) Все т. наз. «лимитрофные» государства, образовавшиеся в 1918-20 гг., разместились именно на этом пространстве. Они заняли почти три четверти названной площади, а именно около 735 тыс. кв. км. (по расчету проф. В. Э. Дена).

на несколько десятилетий, интегральною частью в пределы территории русского государства. В течение тех же XVIII-го и первой половины XIX-го вв. к России отошло на юге и юго-западе пространство до 300 тыс. кв. км. причерноморских и приазовских степей.[17]) На западе наибольшего — доселе — расширения Россия достигла между 1815 и 1915 гг. В течение этого периода очертания западной ее границы оставались без перемен. На юго-западе (граница по Дунаю и в западном Закавказье), такой же максимум был достигнут между 1878 и 1918 гг. На востоке кульминационный пункт относится к 1821-24 гг. (об этом см. ниже). На юге (восточное Закавказье и Туркестан) СССР удерживает все позиции, которые в свое время были заняты Российской Империей. Что же касается юго-восточной границы, то здесь (в Монголии и в прилегающих районах) советское политическое влияние проникает в настоящее время так глубоко, как никогда не проникало влияние Российской Империи.[18]) С 1660-х годов прекратился период непрерывных русских приобретений на востоке. Неблагоприятный для русских поворот событий в бассейне Амура (военное поражение 1658 г. и неумение отстоять свои интересы в переговорах с китайцами в 1689 г.), а также неудача русского похода в Монголию в 1661 г. показали, что по обстоятельствам того времени русские достигли на юго-востоке предела своей экспансии. В дальнейшем расширение русских границ на востоке происходило эпизодически и не может по масштабам равняться с приобретениями прежних десятилетий. В 1697-98 гг. была присоединена Камчатка (площадь — 270 тыс. кв. км.). Въ конце XVIII в. русское расширение было переброшено на берега Северной Америки, которых в своих плаваниях русские достигли еще в первой половине этого века. Российско-американские владения сосредоточивались в Аляске. Общая площадь ее — около полутора миллиона кв. км. Из нее были крепко освоены русскими, главным образом, южные побережья. В 1812 г. было построено русское укрепление на калифорнийском берегу (под 38° 33' сев. шир.). Произведенная в 1815-17 гг. попытка основать русскую колонию на Гавайских островах кончилась неудачей.[19]) В 1821 г. было объявлено русским территориальным морем все пространство северной части Тихого океана до 51° с. ш. по американскому берегу и до 45° 50' по азиатскому. В 1824 г. Россия отказалась от названной деклара-

17) Считая в том числе и земли запорожских казаков.

18) В орбите Советского Союза находится и Танну-Тувинская республика, образовавшаяся в верховьях Енисея (бывш. Урянхайский край).

19) Об этой попытке см. доклад П. П. Гронского в «Трудах IV съезда русских ученых за-границей», Белград 1929.

ции. Этот момент был поворотным в истории русского расширения на востоке. В 1841 г. было продано частному лицу русское укрепление в Калифорнии. В 1867 г. были проданы Соединенным Штатам все прочие русские владения в Америке. В 1875 г. Курильские острова были отданы Японии в обмен на южную половину Сахалина. В свою очередь и эта последняя была уступлена Японии в 1905 г. по Портсмутскому миру. Таким образом, Россия лишилась тех геополитических черт колониальной державы, которые были ей отчасти присущи в эпоху деятельности Российско-американской кампании (1798-1867). После периода расширения «за океаном», русские владения стали снова ограничиваться территориями на материке Старого Света и на островах, к нему примыкающих.—Для XVII-го в. весьма характерно русское расширение в общем направлении на восток. Для XVIII-го и в особенности XIX-го века, на всем пространстве от Черного до Японского моря, столь же отличительно русское расширение в общем направлении на юг. В смысле геополитических масштабов оно шло гораздо медленней, чем движение на восток в XVII веке. Но зато, в ряде случаев, приобретались земли, значительно более ценные, в экономическом отношении. Особенно дорогой ценой досталось России завоевание Закавказья и области главного Кавказского хребта. Этот край, по площади немногим превосходящий 300 тыс. кв. км., был присоединен к России в результате непрерывных кровопролитных войн, продолжавшихся около 60 лет (1801-1864). Около 25 тыс. кв. км. территории в Закавказье было уступлено России Турцией в 1878 г. — Казакский народ (который русские ошибочно называли киргизским) номинально признал себя в русском подданстве еще в 1717 г. Но фактическое освоение казакских степей (простирающихся от нижней Волги до Алтая и Тян-Шаня) происходило очень постепенно. Русская власть стала действительной на всем этом пространстве лишь после того, как сломлено было восстание султана Кенесары (1847 г.). К этому моменту русские владения охватили полуостров Мангышлак на Каспийском море, вышли на низовья Сыр-Дарьи и приблизились к подножьям Тян-Шаня. За время с XVII-го в. по первую половину XIX-го (1847 г.) общая площадь приобретений в казакской степи и соседних с нею районах (считая земли по Яику, а также степи по верхнему Енисею, занятые в начале XVIII в.) приблизилась к 2.900 тыс. кв. км. В течение следующих тридцати восьми лет (1847-1885) были присоединены к России дальнейшие миллион семьсот тысяч кв. км. территории — в областях, лежащих непосредственно к югу от только что названных. Это была эпоха присоединения Туркестана[20]). Изъ общего пространства этой

20) На Памире разграничение Афганистана и России было произведено в 1895-96 гг.

страны — около 270 тыс. кв. км. не находилось непосредственно под русской властью, но приходилось на долю вассальных ханств — Бухары и Хивы. Эта территория целиком вошла в СССР — в составе Узбекской и Туркменской республик. На этой территории русское культурное влияние никогда не было так сильно, как в настоящее время. Завоевание Туркестана установило связь русского народного хозяйства с обширными областями субтропических культур (хлопок). Современная экономика советской России, в данной отрасли, опирается именно на это обстоятельство. — Амурский край, в 1689 г. уступленный Китаю, а также край Уссурийский были приобретены Россией по договорам 1858 и 1860 гг. (общая площадь приобретенной территории — свыше 900 тыс. кв. км.).

Как мы видели, уже к 1670-м годам площадь русского государства превысила четырнадцать с половиною мил. кв. км. Потребовалось два столетия с лишним для того, чтобы она дошла в 1885 г. (окончание завоевания Туркестана) к 22 мил. кв. км. (считая Бухару и Хиву). В течение следовавшей за тем трети века колебания в размере русской территории были незначительны.[21]) В 1917 г., в революционном перевороте, историческое русское государство перестало существовать. Советская Россия поставила себе цели, коренным образом отличающиеся от целей прежнего русского государства. Начиная с 1923 г., в применении к государству как целому, исчезло и самое имя России, заменившись названием Союза советских социалистических республик (СССР). На долю республики, сохранившей имя «Российской»[22]), в СССР приходится около 93% территории и до 70% населения. В общем, СССР сохранил те же геополитические очертания, которые до войны имела Россия. В 1918-21 гг. в пользу вновь образовавшихся и ранее существовавших лимитрофных государств была уступлена территория в 765 тыс. кв. км. (международно-правовое положение Бессарабии, с ее 44 тыс. кв. км., до сих пор остается спорным). В территориальном смысле эта потеря компенсируется, до некоторой степени, для Советского союза наметившимся с 1921 г. усилением советского политического влияния в Монголии. Иначе обстоит дело по количеству населения. На уступленных территориях (считая и Бессарабию) проживало в 1914 г. 17,3% всего населения Империи. Никакое усиление влияния в Монголии, с ее населением, не достигающим, повидимому, и миллиона человек, не может компенсировать эту потерю. В 1914 г. в Российской Империи считалось около 169 мил. чел. населения. В настоящее время (1931 г.), несмотря на происходивший в последние годы большой естественный прирост населения, в СССР числится около 161 мил. человек.

21) В течение последних десятилетий наибольших размеров русское государство достигло между 1896-ым и 1905-ым г.: т. е. после Памирского разграничения и до уступки Японии южной части Сахалина, по Портсмутскому миру.

22) Точное ее наименование: Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР).

3. *Характер границ*

Несмотря на отсутствие естественных рубежей на многих границах СССР, общий характер их нужно признать скорее благоприятным для Советского союза. Основной факт здесь тот, что в отличие от довоенной России СССР имеет соседями государства, уступающие ему по своим материальным рессурсам. Так, 161 миллиону населения СССР противостоит население пограничных с ним государств, от Финляндии до Авганистана, в общей сумме никак не превосходящее 100 мил. чел. Притом население это разделено между 8 государствами. По размерам территории, отношение еще благоприятней для СССР. Также с точки зрения русских государственных интересов есть основания стремиться к тому, чтобы соседями России были государства, не могущие составить угрозу для безопасности русской территории. Гораздо сложнее положение на Дальнем Востоке. Малонаселенный русский Дальний Восток весьма затруднительно защищать от притязаний густонаселенных государств восточной Азии. Чуть ли не главной защитой является здесь суровость климата, и в частности суровость зимы, привычно переносимая русскими, но составляющая препятствие для утверждения здесь более чувствительных к холоду народов. Суровость климата и пустынность края составляют основную защиту северной (ледовитоморской) русской границы. В целях обеспечения этой защиты, перед русской техникой стоит настоятельная задача быть первой в мире по ледокольному делу. Таковой она и была раньше, таковой является и теперь.

4. *Отношение России к морю*

Русский народ имеет славную морскую историю. Целый ряд выдающихся мореходных подвигов всемирной истории приходится на долю русских мореплавателей. Особенно крупной является здесь роль русских поморов (жителей беломорского побережья) и вообще населения русского Севера. Именно его силами проводились плаванья новгородцев по Ледовитому океану, был открыт морской путь въ Сибирь, были предприняты дальневосточные плавания русских «казаков» в XVII веке, а позже достигнуты берега Америки от берегов Азии. Большое значение в русской морской истории — в особенности, последних

столетий — имеет и организационная деятельность власти (создание военного флота Петром I, приведшее в XVIII и XIX-ом вв. к ряду значительных морских побед над турками и шведами, двумя серьезными морскими державами того времени; снаряжение длинного ряда научных морских экспедиций, сопровождавшихся крупными научными открытиями). Но *географическое* положение России в отношении моря не может быть признано благоприятным. Морское побережье, принадлежащее в настоящее время СССР, разорвано на четыре обособленных, в экономическом и военно-морском смысле, участка. В существе, таково же было положение и довоенной России. Весьма неудобна (а в военное время — часто и невозможна) связь по морю между русским черноморским и русским балтийским побережьем; нелегок переход из Балтийского моря в Баренцово, Белое и Карское. В высокой мере затруднительна связь по морю только что названных бассейнов с водами Дальнего Востока.

Русское побережье как бы «четвертовано». Это обстоятельство имело основоположное значение в русской истории. Оно в огромной степени ослабляло положение России на море — и в экономическом и в военно-морском смысле. Им затруднялось развитие русского торгового флота. Благодаря ему, Япония в 1904-05 гг. могла разбить по частям тихоокеанский и балтийский русские флоты — без того, чтобы флот черноморский вообще вошел в действие.

Значение тезиса о четвертованности русских побережий весьма велико в проблемах россиеведения. В этом тезисе осознаются те трудности, с которыми принуждена была считаться Россия — в течение всех последних столетий. Осознанием открывается путь к волевому преодолению трудностей.

Впрочем, четвертованность побережий преодолима только отчасти. Наибольшее, что́ можно сделать в этом отношении—это установление обеспеченной мореходной связи между западно-ледовитоморским (беломорским) и дальневосточным участком русского побережья. Путь от одного к другому идет вдоль русских берегов (северные берега Сибири). Общее протяжение этого побережья, в одном сплошном участке (от границ Финляндии до границ Кореи), значительно превышает 25.000 км. Чтобы пройти вдоль этих побережий — нужно уметь бороться со льдами. Современная ледокольная техника, созданная, в значительной степени, трудами русских моряков, открывает к тому полную возможность (мы говорим не об отдельной удаче, вроде плаваний Норденшельда, Толля или Вилькицкого, но об обеспеченном мореходном освоении этих берегов). Победа над Ледовитым океаном создала бы в России такие кадры моряков, которые, по закалу и опыту, могли бы сравниться с лучшими мореплавателями нашего времени. Об этом еще в 1906 г. говорил

великий русский ученый Менделеев: «Если бы хоть десятая часть того, что потеряно при Цусиме, была затрачена на достижение полюса, эскадра наша, вероятно, пришла бы в Владивосток, минуя и Немецкое море и Цусиму, а, главное, было бы много опытных моряков, привыкших взрывать сопротивляющиеся массы, плавать под водой и вести бой с природою и людьми силою осторожно-смелой предусмотрительности. Словом, по мнению моему, в нашем морском деле — для его успешного и верного движения вперед — лучше всего на один из первых планов поставить завоевание Ледовитого океана».

Русское побережье не только «четвертовано»; оно является, почти все, побережьем *замерзающих* морей. Победой над Ледовитым океаном русский народ самую замерзаемость своих побережий может сделать фактором успехов мореходного дела. И единство побережий нужно ему не для военных и завоевательных целей; но в целях хозяйственных и обще-культурных.

Среди европейских стран *единством побережья* особенно характерно отмечены Великобритания и Италия: берега в каждой из них образуют одну сплошную линию. Это очень усиливает позицию названных стран, как в смысле морской торговли, так и военного флота. Благодаря существованию Ютландии, побережье Германии раздвоено (распадается на два обособленных участка). Однако, прорытием Кильского канала Германия установила единство своего побережья. Раздвоено и побережье Соединенных Штатов (атлантическое и тихоокеанское приморье). Единства побережья американцы добились сооружением Панамского канала и обеспечением своих политических прав на него. Хуже положение Франции: она до сих пор не преодолела раздвоенности своего побережья (Атлантический океан—Средиземное море). Нет сомнения, что эта раздвоенность содействовала неблагоприятному для Франции исходу борьбы ее с Англией за первенство на морях, продолжавшейся с XVII-го по начало XIX-го в. Но, кроме России, мы не находим в мире страны, побережье которой было бы *четвертовано*.

В преодолении (сначала — частичном) этого неблагоприятного обстоятельства мореходное освоение Ледовитого океана и установление непосредственной связи между западно-ледовитоморскими и дальне-восточными водами имеет для России, в своем роде, не меньшее значение, чем имело прорытие Кильского канала для Германии и сооружение Панамского — для Соединенных Штатов. Только в русской постановке этого вопроса должны решительно преобладать не военно-империалистические, но хозяйственно-культурные мотивы.

Дальнейшим шагом в преодолении раздробленности русских побережий должна явиться постройка мореходного беломорско-балтийского канала (через Онежское и Ладожское озера). Этот

канал мог бы итти приблизительно по тому направлению, по которому еще в 1702 г. от Белого моря к Онежскому озеру прошел Петр I (это было прелюдией к сооружению русского флота на Балтийском море). Обилие вод во всей этой местности сильно облегчает постройку. Если одновременно, путем политических мероприятий, России удалось бы гарантировать безопасность своих черноморских побережий, ее положение приблизилось бы к положению стран, обладающих единством побережья: русское приморье от Балтийского моря через Ледовитый океан до океана Великого составило бы единое целое. Этим был бы произведен крупнейший шаг в направлении к освоению человеком и к экономическому оживлению русского севера.

Трудно предвидеть, какими техническими средствами может воспользоваться в будущем Россия, в стремлении обеспечить единство своего побережья.[23]) Нет сомнения, что под знаком борьбы за такое единство будет стоять вся дальнейшая морская история России.[24]) И по своему прошлому, и по протяжению своих побережий, и по количеству населения страна эта призвана играть выдающуюся роль также и на море. В условиях современности роль эта не может ограничиваться частичными успехами (вроде успехов русского ледокольного плаванья в Северном океане). Она должна стать широким и многосторонним явлением.

В 1921 г. евразийцы провозгласили лозунг хозяйственного самоутверждения евразийского «континента-океана».[25]) Этот лозунг в значительной мере реализуется в пятилетке. В настоящее время русская действительность созрела для восприятия иного лозунга: лозунга *выхода «континента-океана» на океаны*. Но для того, чтобы этот выход стал действительностью, — необходимо, прежде всего, обеспечить *единство русского побережья*. Один из основоположных недостатков пятилетки — отсутствие ориентации на эту проблему.

В советских газетах провозглашается чуть-ли не ежедневно: «строим вторую базу». Постройка второй (помимо украинской) угольно-металлургической базы на Востоке (на Урале и в Кузнецком бассейне) есть необходимое и *евразийское* дело. Но не менее необходима постановка иной задачи: обеспечим единство побережий!

---

23) Не исключено, что в некоторый момент станет осуществимым, наряду с балтийско-беломорским, также балтийско-черноморский мореходный канал. При условии проведения прочих названных мероприятий, это обеспечило бы России полное единство ее побережий.

24) Как видно из приведенных выше примеров, борьба отдельных стран за единство своих побережий уже и сейчас составляет одну из основных геополитических движущих сил мира.

25) См. сборник «Исход к Востоку», София 1921, с.105-125.

Это стремление, в качестве сознательного и до конца продуманного начала, должно быть поставлено в центре морской политики России. Мы не находим достаточно сильных слов, чтобы подчеркнуть значение *воли к единому побережью* в будущих судьбах России. В лозунге *единого побережья* выражается и *обобщается*, напр., и то стремленье, которое руководило Д. И. Менделеевым в его суждениях по «морскому вопросу». — Только сильней, чем это делал Менделеев, нужно подчеркнуть *мирные* и всецело хозяйственно-культурные цели этого стремленья.

Евразийство, в своем диалектическом развитии, приходит к утверждению лозунга единого побережья. Им отнюдь не снимается программа «континента-океана». Не мало нужно еще усилий, чтобы Россия-Евразия оформилась в качестве самодовлеющего мира, не уступающего никакому другому. *Лозунг «континента-океана» остается первым и важнейшим лозунгом в экономическом развитии России*. Программа выхода на океаны и обеспечения единства побережий *не устраняет*, но *расширяет* этот лозунг. *До* обеспечения единства побережий всякая широкая океаническая активность русских есть безумие и растрата народных средств, подобная деятельности старого русского правительства в период, предшествовавший Японской войне. Положение станет иным только *по* обеспечении единства русских побережий. Обеспечение же это, по судьбоносному сочетанию обстоятельств, связано с переворотом в технике мореплавания в полярных морях, т. е. должно сопровождаться общим расширением возможностей человеческого хозяйства.

Уже будучи соседом Европы и Азии, — Россия-Евразия, через посредство полярных морей, должна стать ближайшим соседом Америки. «Континент-океан» и самодовлеющий мир, она должна явиться и *перекрестком путей*, на котором сойдутся магистрали, связывающие друг с другом эти три, периферические в отношении Евразии мира (Европу, Азию и Америку). Это отвечает ее природе *срединного мира*. Тем будет разрешена проблема, о которой много думал покойный русский востоковед В. В. Бартольд, проблема связи России-Евразии с окружающею средою и ее посреднической роли в отношении к сферам других культур.

По мысли В.В. Бартольда, такая связь и такая роль отличает геополитические образования всемирно-исторического значенья.

В числе другого, этим определяется место поставленных здесь проблем в истории человечества.

Для евразийства же лозунг выхода России на океаны и обеспечения единства ее побережий имеет значенье в диалектическом преодолении ограниченного и местного, при сохранении яркости и полноты местных, неповторимых красок.

П. Савицкий

РУССКАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ «ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА»

Результаты подсчетов, характеризующих основные моменты геополитического развития России

Подсчеты эти произведены, главным образом, на основании «Русского исторического атласа» К. В. Кудрявцева (Москва-Ленинград 1928) и данных Стрельбицкого о пространстве губерний, областей, уездов и округов России. Когда эти данные были недостаточно детальны для целей подсчета, привлекались сведенья и других авторов. В некоторых случаях в данные К. В. Кудрявцева были внесены исправления, а именно в тех случаях, когда они противоречили указаниям исторических источников. Так, напр., в таблице XI-ой Кудрявцева восточная окраина позднейшей Черниговской губ. в течение всего XVII в. значится в составе Московского государства. Между тем, известно, что по Деулинскому перемирию 1618 г. она была уступлена Польско-литовскому государству (и пробыла в нем до 1648 г.). Все замеченные обстоятельства подобного рода были приняты во внимание в нашей работе. Все-же, по самому характеру имеющихся в наличности материалов, подсчеты эти отнюдь не могут претендовать на а б с о л ю т н у ю т о ч н о с т ь. Они являются не более, как п е р в о й п р и к и д к о й, характеризующей геополитическое развитие России.

1. Территория Русского государства около 1054 г.	989	тыс. кв. км.
2. Площадь Московского княжества около 1474 г.	306	» » »
3. Площадь Московского государства около 1583 г. в том числе: крепко освоенных областей—2.603 тыс. кв. км.; слабо освоенных (по преимуществу, степных) территорий — 1.051 тыс. кв. км.	3.654	» » »
4. Зауральские приобретенья 1580-х -1590-х годов		
5. Всего зауральских приобретений от 1580-х по 1660-е годы	1.612	» » »
6. Приобретения от Польско-литовского государства по Андрусовскому перемирию 1667 г. (без правобережных окрестностей Киева)	10.746	» » »
7. Россия около 1670 г.	165	» » »
8. Приобретенья от 1670-го по 1815-ый год на западной границе (территории, ранее принадлежавшие Швеции и Польско-литовскому государству). [1]	14.540	тыс. кв. км.
9. Приобретенья от 1670-го по 1812-ый год в черноморских и приазовских степях (запорожские земли и приобретенья от Турции). [3]	1.043 [2]	» » »
10. Площадь Камчатки (присоединена в 1697-99 гг.)	294 [4]	» » »
11. Область главного Кавказского хребта и Закавказье (приобретены в столетье: 1774-1878)	270	» » »
12. Приобретенья в казакской степи и соседних районах от 1670-го по 1847-ой г.	328 [5]	» » »
13. Приобретенья от 1847-го по 1896-ой год (Памирское разграничение) в Туркестане	2.889	» » »
14. Приобретено от Китая в Амурском и Уссурийском крае по договорам 1858 и 1860 гг.	1.677 [6]	» » »
15. Командорские острова (остаток океанических владений России конца XVIII-го — первых двух третей XIX-го века)	934	» » »
16. Теоретически исчисленная, на основании исторических данных, площадь Российской Империи между 1896-ым и 1905-ым гг. (после Памирского	2	» » »

---

1) Фактически период приобретений начался здесь с Ништадского мира (1721). Указанная в таблице величина (1043 тыс. кв. км.) заключает, в числе другого, и пространство в 12 тыс. кв. км. (северо-восточная часть позднейшей Витебской губ.), которое и ранее, до Деулинского перемирия 1618 г., и затем снова в 1667-1678 гг. принадлежало России.

2) Из их числа после революции отошло к лимитрофным государствам 735 тыс. кв. км.

3) Фактически период приобретений на южной границе начался с 1740 г.

4) В том числе — Бессарабия — 44 тыс. кв. км.

5) В том числе уступлено Турцией в 1878 г. около 25 тыс. кв. км.; из них после революции возвращено ей обратно около 20 тыс. кв. км.

6) В этой цифре нами учтена также площадь 6. вассальных ханств — Бухары и Хивы. Она обыкновенно не включалась в территорию Российской Империи; в настоящее время она вошла целиком в состав СССР. Соответствующая цифра (271 тыс. кв. км.) заимствована нами из труда В. И. Масальского: Туркестанский Край (СПБ. 1913).

разграничения и до уступки Японии южной части Сахалина. [7])	21.999	тыс. кв. км.
17. Та же площадь по Стрельбицкому (без значительных внутренних вод)	21.995	» » »
18. Площадь южной части Сахалина (принадлежала России с 1875 г.; уступлена Японии в 1905 г.)	34	» » »
19. Площадь территорий, отошедших после революции к лимитрофным государствам. [8])	809	» » »
20. Теоретически исчисленная площадь СССР, в пределах границ довоенной России (т. е. без вновь присоединенных арктических земель)	21.156	» » »

7) Сумма статей 7-ой—15-ой, с прибавлением не включенной в них площади южной части Сахалина (34 тыс. кв. км.) и за вычетом 12 тыс. кв. км., упомянутых в примечании первом. Если бы этот вычет не был сделан, то названная величина, учтенная в статьях и 7-ой и 8-ой, была бы посчитана дважды.

8) Кроме территорий, упомянутых в примечаниях 2-ом, 4-ом и 5-ом, сюда включена и площадь в 10 тыс. кв. км., уступленная Финляндии на дальнем севере (Печенгский край).

ИЗ ОБЛАСТИ РУССКОЙ ГЕОПОЛИТИКИ

Геополитика, наиболее молодая дисциплина в ряду других социологических дисциплин, занимается рассмотрением условий и форм жизни человеческих общежитий. Точно так же, как м о ж е т быть и, в действительности, е с т ь морфология минерального и животного мира, так может быть и существует морфология политических образований. Все, что имеет форму и строение, может быть исследовано с морфологической стороны. И так как геополитические объекты обладают тем и другим, то и в области геополитической может быть применен морфологический метод.

Геополитика имеет дело с исключительно конкретным материалом; она занимается вопросами развития — вопросами жизни государственных образований, в связи с естественными, природными условиями их местонахождения. Иначе говоря — геополитика есть учение о жизни государственных образований в связи с их месторазвитием.

Русская научная мысль имеет предрасположение к проблемам геополитики. Она стала на геополитический путь в лице А. П. Щапова, Л. И. Мечникова, Д. И. Менделеева и Н. Я. Данилевского. Из современных русских ученых можно назвать А. Н. Фатеева и А. А. Крубера.

Основной темой сочинений А. П. Щапова является выяснение влияний, оказываемых естественными условиями на интеллектуальное развитие народа. Щапов описывал природу и прослеживал: как данная природа влияет на интеллект данного народа. Следуя отчасти за иностранными писателями, он делает попытку установления форм зависимости между климатом, почвой, характером населения, его законами и духовным развитием. Главным предметом щаповских исследований был русский народ, как субъект истории; и русская территория, как месторазвитие. Вот краткое резюме щаповских мыслей.

повторяемое в ряде его произведений: «громадность пространства пахатных земель, лесов и неудобных местностей превышала землеустроительные силы народные... и... препятствовала умственному развитию... и... увеличению... общин». [1])

Л. И. Мечников, в своем оригинальном труде «Цивилизация и великие исторические реки», дает замечательную гипотезу, сводящуюся — в общих чертах — к следующему:

Местом первоначального зарождения цивилизации нужно считать речные системы: дельта Нила (Египет), Тигр и Ефрат (Ассиро-Вавилония), Желтая и Голубая реки (Китай), Инд и Ганг (Индия).

Итак, в первой своей стадии цивилизация была так сказать *речною*. Впоследствии она переходит в *морскую* стадию. Именно в эту эпоху развивается могущество Карфагена, Рима. Бассейн Средиземного моря уже представляет собою в эту эпоху некоторое геополитическое единство.

Далее следует *океаническая* эпоха, океанический период развития цивилизации. Он знаменуется открытием двух Индий (Индия и Америка); в новую эпоху на исторической сцене появляются новые народы (испанцы, англичане). Океаническую эпоху Мечников называет всемирной. Мы живем именно в эту эпоху.

Теория Мечникова основывается на некотором универсальном принципе, который можно назвать г и д р о - политическим. В ее цельности, простоте и — в известной мере — правильности заключается ее преимущество сравнительно с расплывчатыми писаниями Щапова.

Однако, то, что́ составляет оригинальность его учения, одновременно несет в себе и его недостатки. Мечниковский гидро-политический метод, очень плодотворный в районе Средиземного моря; очень правильный, поскольку исследование замыкается рамками речных систем, — весьма мало пригоден в более широких масштабах и не объясняет природы, напр., континентальных месторазвитий и континентальных цивилизаций (ср. степные культуры).

Россия, пока ее история не вышла из стадии, в значительной мере определявшейся Великим путем из Варяг в Греки; пока история России оставалась в районах «Суздаля» или «Москвы» — она допускала гидро-политическое исследование и давала при этом известные положительные результаты... Однако, этот взгляд будет малоплодотворным, т. к. объясняет

1) Соч. *А. П. Щапова*, т. III: «Естественно-психологические условия умственного и социального развития русского народа»; т. II: «Историко-географическое распределение русского народонаселения» и др. Наша выписка взята из тома II-го, с. 232.

лишь одну — и относительно России — не столь значительную сторону явления. Можно даже сказать, что в приведенной выше выдержке из Щапова заключено больше геополитической правды (относительно России), чем в развитой сейчас схеме «по Мечникову».

Следующий из разбираемых авторов, Д. Ив. Менделеев, не только восполнил недостаток Мечникова, но и внес нечто самостоятельное в изучаемую нами область знания.

В книгах: «К познанию России» и «Заветные мысли» он вполне отчетливо оперирует с понятием месторазвития и ставит его в связь не только с внутренними геополитическими условиями, но и внешними. Именно ему принадлежит характеристика России, как срединного мира, лежащего между молотом и наковальней, между Европой и Азией.

В отношении собственно-географическом Менделеев произвел некоторый «переворот в мышлении», который только теперь начинает проникать в сознание современников: — Менделеев начертил новую карту местонахождения России на земном шаре. На этой карте Россия не разбивается на Европейскую и Азиатскую части, но — вопреки установившейся и до сих пор (!) упорно сохраняющейся, несмотря на всю очевидную нелепость, традиции — изображается цельным геополитическим телом. Если угодно, Менделеев также, отчасти, гидро-политик, — в том смысле, что он положил в основу своего картографического изображения России мысль, что о н а л е ж и т н а б е р е г у Л е д о в и т о г о о к е а н а. Менделеев придавал громадное значение «территории», — месторазвитию, он говорил: «Земля навсегда останется первою основою народности и государственности». Отсюда понятны его усилия, затраченные на определение географического центра России, связанного в свою очередь с центром народонаселения.

Определение центра населения России не являлось для Менделеева самодовлеющей задачей. Это определение было необходимо для постановки более широкой проблемы: — как, куда, как быстро двигается поток людей, живущих на пространствах России... А этот вопрос, в свою очередь, подчинен еще более важному: — каковы вообще закономерности в росте и движении народонаселения?...

Заметим, что для Менделеева вся совокупность жизненных вопросов сводилась к одному главному и основному — к вопросу о народе. С одной стороны — он утверждал, что н а р о д является главнейшим политическим и историческим двигателем; он говорит о влиянии «густоты населения на весь народный быт, даже на всю историю отдельных народов и всего человечества»... С другой стороны — Менделеев признавался: «для

менно высшая или важнейшая и гуманнейшая цель всякой политики яснее, проще и осязательнее всего выражается в выработке условий для размножения человеческого». [2])

Следовательно, на подобие мечниковскому универсальному гидро-политическому методу, Менделеев предлагает свой также универсальный метод, — этно-политический. Заслуга Менделеева в том, что он определил характер и так сказать «физиономию» — «ландшафт» российского месторазвития и показал закономерности в движении народонаселения. В частности, им показана тенденция «центра населенности» России двигаться от Запада к Востоку. Отсюда он заключал, что будущее России на Востоке.

Самым смелым, законченным и оригинальным из русских геополитических учений является учение Н. Я. Данилевского.

Н. Я. Данилевский, недавно забытый, а ныне возрожденный в русском сознании и повторенный в иностранном («Закат Европы», О. Шпенглер), развивает учение, в котором приняты во внимание и естественные условия (как это делал еще Щапов), и общее строение и местонахождение (как это позже делали Мечников и Менделеев), и к этому присовокупляя движение идей в общей системе мировой истории. На основании широких аналогий и сопоставлений он строит в своей книге «Россия и Европа» теорию культурно-исторических типов — культурно-исторических субъектов истории.

Здесь уместно подчеркнуть важность последнего из указанных моментов. Человеческое познание есть также и самопознание. Субъект истории — величина живущая, познающая и самопознающая. Об этом и говорит Н. Я. Данилевский, и это обстоятельство вносит существенный элемент в наши понятия. — Дело идет о возможности оценить, стремиться исправить, а, следовательно, — о поставлении целей. В этом именно месте в процесс стихийный, в процесс космический врывается новая над-природная сила — человеческой инициативы и человеческой целеустремленности.

Вводя понятие временности субъекта истории, Данилевский предлагает установить некоторую био-историческую периодизацию, подобную той, какая имеется в области растительной и животной жизни. Он различает период зарождения, расцвета и умирания тех образований, которые названы нами субъектами истории. [3])

2) *Д. Менделеев.* К познанию России, изд. Миловида, с. 14 и 24.

3) «Ход развития культурно-исторических типов всего ближе уподобляется тем многолетним одноплодным растениям, у которых период роста бывает неопределенно продолжителен, но период

* * *

Итак, можно сказать, что геополитическое исследование ведется в двух основных направлениях и изучает два основных элемента:

1. Данное месторазвитие.
2. Данного субъекта истории.

Как было отмечено выше, человечество, занимающее поверхность земного шара, представляет собою объект геополитического исследования. При чем, в этом случае, месторазвитием будет весь земной шар, а субъектом истории — все человечество.

Исторически, исследовательская мысль двигалась параллельно изучению субъектом истории — человечеством — своего месторазвития — земного шара.

Сначала изучались ближайшие и меньшие объекты, потом — отдаленные и большие. В пределе — дело идет об интегральном изучении и освоении, если угодно — покорении человечеством земного шара, его природы, его сил.

Можно попытаться изобразить последовательность геополитического исследования следующей схемой:

1. В качестве субъекта истории выступает группа людей, напр., племя. Для него может быть определяющим простое (в отличие от сложного, к которому перейдем позже) месторазвитие.

Племя, живущее на берегу моря или озера, непременно будет заниматься рыболовством. Племя, живущее в лесу, будет работать по дереву, начиная с обычной эксплуатации лесных богатств и кончая выжиганием угля и пр.

Степь — определяет и создает степняка. Горы — горца. Между горцами Сицилии, Корсики, Сиерры-Невады и Кавказа больше сходства, чем между горцами Кавказа и недалеко от них кочующими ногайцами, или еще ближе живущими на плоскости русскими крестьянами... Вслед за А. Н. Фатеевым мы можем говорить о номадизации и аграризации человека природой.

Современность дает замечательнейшие примеры воздействия месторазвития на занятия, психику и даже социальный уклад человеческих обществ. Мы можем наблюдать опыты превращения кочевников в земледельцев, моногамистов в полигамистов, ремесленников и торговцев — в сельско-хозяйственных рабочих, а крестьян — в завзятых пролетариев. В Туркестане и Белуджистане живущие там народы «пере-

цветения и плодоношения — относительно короток и истощает раз навсегда их жизненную силу». «Россия и Европа», 4-е изд., 1889, с. 96. Ср. сказанное в начале статьи о морфологии и геополитике.

делываются» из номадов в аграриев. В Крыму и в Палестине евреи-ремесленники, торговцы и рабочие становятся хлебопашцами; в Сибири, в тайге, те же евреи перерождаются в таежников-лесников... В СССР происходит массовый процесс пролетаризации крестьянства. Можно сказать, что мы живем в эпоху, когда человек особенно энергично взялся за «переделку» мира, да и самого себя. Поэтому-то вопросы геополитики приобретают особую актуальность и зовут к себе внимание исследователя и общества.

2. Пойдем дальше. Возьмем не одно племя, но совокупность племен, при оставлении в силе второго условия (простое месторазвитие). В данном случае примером может служить, напр., м о з д о к с к а я с т е п ь Терского Края. Здесь, при наличии простого, р а в н о г о д л я в с е х п л е м е н, месторазвития, могли быть наблюдены следующие особенности:

а. Осетинское селение. Весь социальный и бытовой уклады построены на началах родового быта. Примитивное земледелие, экстенсивная система, зачаточное знакомство с сельско-хозяйственными орудиями производства, неорганизованный сбыт продуктов.

б. Казачья станица, скажем, Курская. Своеобразная система наделов, станичный земельный фонд, общность пастбищ, покосов. Население живет «дворами», станицей управляет атаман и станичный сбор (говорю о до-военном времени).

в. Немецкая колонка, осевшая здесь не более нескольких десятков лет. Крайнее отграничение себя от внешнего мира, строгое соблюдение своего, немецкого бытового уклада жизни; индивидуальное хозяйство при широко-развитой системе общественной помощи и кредита. Плодопеременная система, обилие средств производства, организованный сбыт продуктов, совершенно особое — чужое и непонятное для окружающих — представление о семье и пр.

г. Русское, или — как в тех краях говорили — мужичье поселение. Здесь — остатки навыков земельной общины: отруба, выселки, хутора, индивидуальное хозяйство, аренда и пр. На одной улице живут богатеи, содержащие нескольких батраков; на другой — несколько домов соединяются вместе на началах кооперации. Хаос земельных отношений пред-военной России в полной мере отражался на русских селениях, расположенных в степях на север от г. Моздока. Русский уклад жизни совершенно непохож ни на осетинский, ни на немецкий, ни на казачий.

д. Верстах в пятнадцати от ст. Курской лежит сел. Эдисия, там живут армяне, осевшие здесь еще при Екатерине II. У армян смесь родового быта и проростающего сквозь него нового быта, — основанного на началах индивидуального хо-

зяйства. В области управления: остатки прежних привилегий и новых уравнительных административных тенденций (снизу — самоуправление, «сверху» — урядник из Моздока).

е. На северо-восток от перечисленных селений, не более как в ста верстах, начинаются кочевья ногайцев. Таким образом, если между географическими пунктами «немецкая колонка» — «ногайское кочевье» пролегают сто верст, то между формами хозяйства, имеющимися в первом и во втором случае, пролегает несколько сотен лет (ср. экономическую периодизацию некоторых европейских политико-экономистов, напр., Ф. Листа).

ж. И там же, в этих степях, встречаются образцово-поставленные латифундии — громадные экономии каких нибудь Яковенок или Мамантова, в большинстве случаев сектантов, пришедших сюда из Таврии.

Добавим, что в настоящее время, по доходящим из СССР сведениям, на Сев. Кавказе проведена сплошная коллективизация. Таким образом, указанные здесь различия, с у щ е с т в о в а в ш и е н е с м о т р я н а е д и н с т в о м е с т о р а з в и т и я, — по заданию — должны быть сравнены. Именно в этом пункте рельефно выступает значение человеческой инициативы и человеческого целеустремления, о котором было уже упомянуто. Дело идет о геополитической роли и геополитическом значении в л а с т и. Об этом скажем несколько ниже.

3. Перейдем к рассмотрению сложного субъекта истории, жившего в условиях сложного месторазвития. Возьмем то, что в русской истории называлось з е м л е й: — Новгородская земля, Псковская земля. В Европе им соответствовали государственные образования типа государства-города Венеции или — в более отдаленные времена — Афины и Спарта.

В каждом отдельном случае, при наличии сложного месторазвития, имеются особые условия, которые должны быть изучаемы всегда в и н д и в и д у а л ь н о м порядке. Это требование становится понятным только теперь, когда несколько развеялись гипнозы того или иного цивилизаторского эго-центризма.

Итак, возьмем государство-город. С точки зрения геополитической морфологии, это образование является как бы переходным от примитивного государства к тому, которое нам знакомо по современности.

Новгородская земля характеризуется наличием выхода к морю и громадных пространств, годных для земледелия, скотоводства и лесоводства. Отсюда два основных рода занятий жителей господина Великого Новгорода: с одной стороны — торговля и ремесла; с другой — земледелие, охота, пушное и кожевенное

дело, и другие занятия, связанные с землей и лесом. Смешанной системе хозяйства отвечает смешанная система управления. Отсюда — как раз на примере с Новгородом — ясны выгоды индивидуализирующего геополитического подхода: Новгород — не народоправство, как настаивают одни и опровергают другие историки; и это — не аристократическая республика, с преобладанием «северных дожей» — Борецких или других. — Это есть о с о б а я форма, соответствующая о с о б ы м же геополитическим условиям. И не надо смущаться, если формы Новгородского государственного устройства не входят в «рамки юридических начал», завещанных (добавим от себя) существенно иным месторазвитием. Наоборот, надобно вдохновляться богатством своеобразия различных частей нашей страны и искать соответствующего этому своеобразию определения.

Венеция тем именно и отличается от других схожих типов государств-городов, что в ней интересы торговли поглотили безусловно все остальные интересы. Поэтому, здесь и утвердилась вполне определенная и своеобразная система управления— аристократическая республика дожей. Более всего Венеция походит на Карфаген, но в Карфагене было большое религиозное и расовое разнообразие, тогда как Венеция в религиозном и расовом отношениях представляла собою некоторое единство.

Мимоходом отметим, что современные попытки возродить государство-город (напр., Батум, Данциг, Фиуме и пр.) обречены на неудачу. Наша эпоха отличается бытием многосоставных государственно-экономических образований, стремящихся поглотить все, поддающееся поглощению и попадающееся на пути их экспансии. Можно считать, что государство-город — форма, окончательно отмершая.

4. Следующей формой будет такая, где субъектом истории является народ или совокупность народов, живущих в условиях сложного месторазвития.

Напомним все оговорки, сказанные относительно необходимости соблюдения индивидуального подхода. Они приобретают тем большее значение, чем больше особенностей в данном месторазвитии.

С обще-принятой, собственно-политической точки зрения, государство состоит из трех слагаемых: территории, населения и власти. Основное свойство государственной территории — непроницаемость; населения — состояние в едином политическом целом; власти — независимость, суверенитет.

Иной подход геополитический. Для него важнейший момент не непроницаемость — понятие юридическое, но е с т е с т в е н н ы е, п р и р о д н ы е особенности и богатства территории. Поэтому, геополитик говорит не о территории, но о м е с т о р а з в и т и и (в установленном выше смысле).

Геополитик интересуется населением не с точки зрения его принадлежности к единому политическому целому (хотя, конечно, и это факт не безразличный), а с точки зрения т в о р ч е с к и х с п о с о б н о с т е й населения. Основным критерием будет здесь соработа, сотрудничество, участие в единой *организации*.

«Прикладная география — говорит пр. А. Фатеев — может до некоторой степени оттачивать проницательность и способствовать предведению в общественной политике». [4])

Для геополитика первее и существеннее ф о р м а л ь н ы х моментов — моменты более прочного порядка, т. е. геополитические. В то время, как политики включительно до 1910-1912 г. г. говорили о единстве политической Австро-Венгерской системы (напр., П. Б. Струве в «Патриотике»), геополитики могли предвидеть и предвидели эклектичность, агрегатность этой системы.

Геополитический взгляд на Чехию объясняет — почему не произошла ассимиляция чехов немцами. И, наоборот, — почему п р о и з о ш л а ассимиляция немцами же поморских славян. Понятно также — почему, напр., Грузия или Армения сохранили себя в той или иной форме в течение тысячелетий, и почему в С. А. С. Ш. уже второе-третье поколение эмигрантов американизируется до неузнаваемости.

Громадная система равнин, именуемая российско-евразийским миром, как бы самой природой созданный колоссальный ассимиляционный котел. На пространствах России с замечательной наглядностью могут быть наблюдаемы два встречные процесса. С одной стороны, от центра к периферии, идет поток руссификации. С другой стороны, от периферии к центру — процесс «окраинизации», от слова — окраина (старое слово украйна приобрело новое значение). Под окраинизацией я понимаю, как возрождение национальных культур: татарской, узбекской, армянской, грузинской и др.; так и восприятие единой общероссийской евразийской культурой отдельных периферийных элементов.

Эти два встречные процесса составляют особенность геополитического мира, к которому мы принадлежим.

5. Перейдем к рассмотрению последней из форм, которая может быть названа государством-материком или государством-миром. [5])

Зарождение этой геополитической формы относится к де-

---

4) «География и обществоведение». Прага 1927, с. 91.
5) См. «Теорию государства» *Н. Н. Алексеева*, с. 27-28 и повсюду.

сятилетиям, предшествовавшим мировой войне, но обнаружение ее во всей конкретности происходит только теперь.

В государстве-материке мы встречаем чрезвычайно сложное строение как месторазвития, так и субъекта истории. Тенденция к образованию государства-материка замечается в Европе, с ее сложным месторазвитием, отграниченным на Западе, Юге и Севере морями, а на Востоке соприкасающимся с Россией-Евразией; в Америке, точнее говоря в С. Ш. С. А., с их стремлением освоить Центральную Америку и Канаду. Россия-Евразия — как это показано и показывается евразийской теорией и... исторической практикой каждого дня, есть слагающееся государство-материк.

Геополитическое изучение государства-материка является одной из основных научных тем евразийства.

К. А. Чхеидзе

ЗАМЕТКИ О ЛЕНИНЕ

УЧЕНИЕ ЛЕНИНА ОБ ИМПЕРИАЛИЗМЕ И ПОЛИТИКА КОМИНТЕРНА

В разгар Мировой войны, 11 января 1916 г.[1]), Ленин, находившийся тогда в Швейцарии, писал Максиму Горькому: «Сажусь за работу над брошюрой об империализме». Эта работа была готова к июлю того же года. Писалась она для легального издания в России; печатание было однако закончено уже после начала революции, в апреле 1917 г. Работа озаглавлена была Лениным «Империализм как высшая стадия капитализма».[2])

Эта брошюра или популярный очерк, как было поставлено в печатном издании, сыграла значительную роль в развитии идейного фонда русской революции, а равно и в последующей истории международного коммунизма. Работа Ленина подвела фундамент под высказываемые им уже раньше взгляды на характер Мировой Войны и вместе послужила основанием дальнейшей тактики большевизма, как в Российском, так и в мировом масштабе.

По своему содержанию, работа Ленина построена главным образом на выводах Гильфердинга.[3])

Самое понятие империализма не было также конечно изобретено Лениным. Ленин сам считал отцом понятия «империализм» в современном смысле слова английского экономиста Хобсона, книга которого вышла в 1902 г. [4])

1) Все числа по новому стилю.

2) В печатном издании 1917 г.: «Империализмъ, какъ новѣйшій этапъ капитализма». По первоначальной рукописи напечатано в XIX томе второго издания сочинений Ленина (ниже ссылки на сочинения Ленина делаются всюду на второе издание, если нет специальной оговорки).

3) *Р. Гильфердинг*, Финансовый Капитал. Русский перевод И. Степанова, Москва 1912 (5-ое изд. Госиздат 1925).

4) J. A. HOBSON, Imperialism, London 1902.

Ленин придал только этому понятию окончательную шлифовку для коммунистического употребления. Но именно разработка понятия империализма есть то, что составляет главный багаж ленинизма в расширение былой основы марксизма.[5])

Работа Ленина породила в дальнейшем целую литературу, преимущественно из лагеря последователей ленинизма.[6])

В определение понятия империализм, по Ленину, должны входить следующие пять основных признаков:

«1) Концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни;

2) слияние банкового капитала с промышленным и создание, на базе этого «финансового капитала», финансовой олигархии;

3) вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение;

4) образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир, и

5) закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами».[7])

«Империализм — говорит дальше Ленин — есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового капитала, приобрел выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел мира международными трестами и закончился раздел всей территории земли крупнейшими капиталистическими странами».[8])

Характерным признаком империализма в том смысле этого слова, как его употребляет Ленин, следует признать вывоз капитала. Вывоз капитала для новейшего (монопольного) капитализма столь же типичен, как для прежнего капитализма (основанного на свободе торговли) был вывоз товаров.

«Возможность вывоза капитала создается тем, что ряд отсталых стран втянут уже в оборот мирового капитализма. проведены или начаты главные линии железных дорог, обеспечены элементарные условия развития промышленности и т. д. Необходимость вывоза капитала создается тем, что в немногих странах капитализм перезрел, и капиталу не достает

5) Ср. *Н. Бухарин*, Ленин как марксист, Харьков 1924.
6) Ср. об этом *Е. В. Тарле*, Европа в эпоху империализма, Москва-Ленинград 1928, стр. 9. Из этой литературы см. напр. *Е. Б. Пашуканис*, Империализм и колониальная политика, ч. I, М. 1928. Не связана с ленинизмом книга P. T. MOON, Imperialism and World Politics, New York 1927.
7) Ленин, Соч. XIX, 142-143.
8) Ленин, XIX, 143.

(при условии неразвитости земледелия и нищеты масс) поприщ прибыльного помещения».[9])

Процесс возрастания вывоза капитала из главных капиталистических стран Европы Ленин иллюстрирует следующими цифрами. В 1862 году 3,6 миллиардов франков английского капитала было помещено за пределами Англии; в 1914 г. цифра дошла до 100 миллиардов франков.

В 1869 году 10 миллиардов франков французского капитала было помещено вне пределов Франции. К 1914 г. цифра поднялась до 60 миллиардов. Подобные же цифры для германского капитала: 12,5 миллиардов в 1902 г. и 44 миллиарда в 1914 г.[10])

«Таким образом, пишет Ленин, финансовый капитал... раскидывает свои сети на все страны мира».[11])

«Страны, вывозящие капитал, поделили мир между собою, в переносном смысле слова. Но финансовый капитал привел и к прямому разделу мира».[12])

Ленин говорит о разделе мира в двояком смысле: 1) раздел мира международными монополистическими союзами капиталистов и 2) раздел мира крупнейшими капиталистическими державами. В сущности эти два ряда Лениным далеко не согласованы. В первом случае Ленин приводит как примеры электрическую промышленность, керосиновую, торговое судоходство и пр. Во втором случае Ленин говорит о колониальных владениях Англии, Франции, Германии.

Соотношение между двумя рядами конечно есть, но это далеко не простая хотя бы причинная связь. Границы сфер влияния монополистических союзов капиталистов не совпадают с территориальными границами государств.

Что касается территориального раздела мира между державами, Ленин, основываясь на цифрах Зупана и Гюбнера, дает следующую картину роста колониальных владений великих держав. В 1876 г. колонии шести великих держав (Англия, Россия, Франция, Германия, Соединенные Штаты и Япония) составляли 40,4 миллиона кв. км. (273,8 милл. жителей), а в 1914 г. — 65 мил. кв. км. (523,4 милл. жителей).

Следует заметить, что Ленин включает в таблицу «колоний России» так называемую «Азиатскую Россию», хотя конечно «Азиатская Россия» н е е с т ь колония России, а есть составная часть России-Евразии.

Исключив из таблицы Ленина колонии России, получа-

9) Ленин, XIX, 120.
10) Ленин, XIX, 121.
11) Ленин, там же, 123.
12) Там же, 124.

ем общий итог колониальных владений пяти великих держав в 23,4 милл. кв. км. для 1876 г. и 47,6 милл. кв. км. для 1914 г. (по отношению к населению цифры будут 257,9 миллионов и 490,2 милл.)

Колонии остальных держав (Бельгии, Голландии и пр.) имели в 1914 г. 9,9 милл. жителей; полуколонии (Персия, Китай, Турция) — 361,2 милл. жителей.

К полуколониям приближаются страны, формально всецело самостоятельные, но на деле опутанные сетями финансовой и дипломатической зависимости от мировых капиталистических центров (Аргентина или Португалия по отношению к Англии).

Таким образом раздел мира к началу мировой войны был закончен и осталась возможность лишь дальнейших переделов, что и было произведено мировой войной.

Следствием мирового господства капиталистических монополий является «паразитизм и загнивание капитализма».

«Мир разделился на горстку государств-ростовщиков и гигантское большинство государств-должников».[13])

«Понятие: Государство-рантье, или государство-ростовщик, становится поэтому общеупотребительным в экономической литературе об империализме».[14]) Это обстоятельство влияет и на внутреннее социальное перерождение в каждой отдельной стране.

«Империализм есть громадное скопление в немногих странах денежного капитала, достигающего 100-150 миллиардов франков ценных бумаг. Отсюда необычайный рост класса или, вернее, слоя рантье, т. е. лиц, живущих стрижкой купонов, лиц совершенно отделенных от участия в каком бы то ни было предприятии, — лиц, профессией которых является праздность».[15])

При максимальном развитии этого явления изменился бы совершенно экономический облик населения капиталистических метрополий.

Ленин заимствует у Хобсона предположительную картину изменений в жизни европейского населения, которую создал бы раздел Китая европейскими державами:

«Большая часть западной Европы могла бы тогда принять вид и характер, который теперь имеют части этих стран: юг Англии, Ривьера, наиболее посещаемые туристами и населенные богачами места Италии и Швейцарии, именно: маленькая кучка богатых аристократов, получающих дивиденды и пенсии

13) Там же, 152.
14) Там же.
15) Там же, 151-152.

с далекого Востока, с несколько более значительной группой профессиональных служащих и торговцев и с более крупным числом домашних слуг и рабочих в перевозочной промышленности и в промышленности, занятой окончательной отделкой фабрикатов. Главные же отрасли промышленности исчезли бы, и массовые продукты питания, массовые полуфабрикаты притекали бы, как дань из Азии и из Африки».[16])

Европейская федерация великих держав, если бы она была основана всецело на финансовой эксплуатации цветных континентов, по мнению Хобсона, «не только не двигала бы вперед дела всемирной цивилизации, а могла бы означать гигантскую опасность западного паразитизма: выделить группу передовых промышленных наций, высшие классы которых получают громадную дань с Азии и с Африки, и при помощи этой дани содержат большие прирученные массы служащих и слуг, занятых уже не производством массовых земледельческих и промышленных продуктов, а личным услужением или второстепенной промышленной работой под контролем новой финансовой аристократии. Пусть те, кто готов отмахнуться от такой теории (надо было сказать: перспективы), как незаслуживающей рассмотрения, вдумаются в экономические и социальные условия тех округов современной южной Англии, которые уже приведены в такое положение. Пусть они подумают, какое громадное расширение такой системы стало бы возможным, если бы Китай был подчинен экономическому контролю подобных групп финансистов, поместителей капитала, их политических и торгово-промышленных служащих, выкачивающих прибыль из величайшего потенциального резервуара, который только знал когда либо мир, с целью потреблять эти прибыли в Европе. Разумеется, ситуация слишком сложна, игра мировых сил слишком трудно поддается учету, чтобы сделать очень вероятным это или любое иное истолкование будущего в одном только направлении. Но те влияния, которые управляют империализмом западной Европы в настоящее время, двигаются в этом направлении и, если они не встретят противодействия, если они не будут отвлечены в другую сторону, они работают в направлении именно такого завершения процесса».[17])

Таковы, в общих чертах, основания Ленинского учения об империализме.[18])

Эти основания позволили Ленину сделать широкие практические выводы, частью намеченные в этой же работе, частью

16) Там же, 154.
17) Там же, 154-155.
18) Меня интересует сейчас лишь сама теория Ленина, и я не вхожу в рассмотрение вопроса о том, в какой мере согласуется эта теория с действительностью.

выдвинутые им в других статьях и речах той же эпохи войны и в пылу революционной борьбы.

Из ряда выводов, которые делались Лениным и его последователями из теории империализма, сейчас остановлюсь только на одном, самом общем. Вывод этот таков: Империализм создал новую базу капиталистического строя. База эта — колонии, полуколонии и финансово-зависимые страны. Следовательно для того, чтобы сокрушить капиталистический строй, нужно разрушить эту его базу.

Вывод этот нашел себе широкое применение в дебатах и тезисах конгрессов Коммунистического Интернационала.

Нужно заметить однако, что вопрос не был выдвинут на первом конгрессе Интернационала. На то были, конечно, совершенно определенные исторические причины.

Первый конгресс Коммунистического Интернационала был созван в 1919 г. Это—время подъема коммунистического энтузиазма, время, когда Ленин и другие руководители надеялись на близкую победу коммунистической революции и установление советского строя в главных капиталистических странах Европы. Первый конгресс Коминтерна заседал в Москве со 2-го по 7-ое марта 1919 г. 21 марта того же года произошла советская революция в Венгрии, а 7 апреля в Баварии. Международная атмосфера во время 1-го конгресса Коминтерна была уже насыщена электричеством. Ленин имел основания надеяться на успех предстоящей атаки в лоб капиталистическим странам, и потому на время положил под сукно планы обходных движений.

Но атака 1919 г., как известно, не удалась. Советский строй в Баварии рухнул уже 5 мая 1919 г., а 4 августа напором военной интервенции соседей был сломлен советский строй и в Венгрии.

Второй конгресс Коминтерна, происходивший летом 1920 г. (от 19 июля по 6 августа), вынужден был считаться с возможностью неудач прямого нападения на капиталистические твердыни. И вот тут то был пущен в ход Ленинский план обходного движения.

Вторым конгрессом Коминтерна были приняты особые «дополнительные тезисы по национальному и колониальному вопросам». Второй из этих тезисов гласит: «Европейский капитализм черпает свою силу главным образом не из промышленных европейских стран, а из своих колониальных владений. Для его существования необходим контроль над обширными колониальными рынками и широкое поле эксплуатации». Третий тезис: «Сверх-прибыль, получаемая с колоний, является главным источником средств современного капитализма. Европейскому рабочему классу удастся только тогда свергнуть капи-

талистический строй, когда этот источник окончательно иссякнет». Четвертый тезис старается объединить лобовую и обходную тактику: «Отделение колоний и пролетарская революция у себя дома свергнет капиталистический строй в Европе».[19])

Эти тезисы по колониальному вопросу II конгресса Коминтерна легли в основу действительной политики Коминтерна в течение ближайших лет.

В своем докладе о тактике коммунистической партии на III конгрессе Коминтерна (в заседании 5 июля 1921 г.) Ленин выражал надежду, «что в грядущих решающих сражениях мировой революции движение большинства населения земного шара, первоначально направленное на национальное освобождение, обратится против капитализма и империализма, и может быть сыграет гораздо бо́льшую революционную роль, чем мы все ожидаем. Важно подчеркнуть, что мы в первый раз в нашем Интернационале подошли к подготовке этой борьбы».[20])

Новая чрезвычайно пространная редакция тезисов по колониальному вопросу была принята VI конгрессом Коминтерна, происходившим в Москве с 17 июля по 28 августа 1928 г.[21])

Основание однако осталось прежнее. Первый тезис гласит: «VI конгресс Коммунистического Интернационала заявляет, что выработанные Лениным и принятые II конгрессом Тезисы по национальному и колониальному вопросам в полной мере сохраняют свое значение и должны служить путеводной нитью в дальнейшей работе коммунистических партий. Со времени II конгресса актуальное значение колоний и полуколоний как факторов кризиса мировой империалистической системы еще более возросло».

Идеи Ленина таким образом продолжают руководить политикой Компартии в международном масштабе. Другой вопрос, насколько схема Ленина соответствует действительному историческому развитию.

Стройность схемы во всяком случае разбивается, как только заходит речь о приложении схемы к самому Советскому Союзу.

С одной стороны, советская система привлечения иностранцев к производству с предоставлением им особых привилегий грозит в близком будущем сделать Россию подлинным объектом международного империализма. С другой стороны,

---

19) Ленин, Соч., XXV, 573.
20) Ленин, Соч., т. XVIII первого изд., ч. I., 323.
21) Напечатана в «Правде» от 17 октября 1928 г. (No 4074).

в Советской внешней политике можно наблюдать явления, уже окрещенные названием Красного империализма, хотя сами советские лидеры и протестуют против такого названия.[22])

Впрочем, применение Ленинской схемы к России не входит в задачи настоящей заметки.

Г. Вернадский

22) См. напр. речь А. И. Рыкова на Московском областном съезде Советов в сентябре 1929 г. (Торгово-Промышленная Газета от 28 сентября 1929 г.).

ЭЙДОКРАТИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ НАУКИ

Самым слабым местом философии науки в эпоху господства кантианства можно считать безнадежный раскол, трещину, между «науками о природе» (естествознанием) и науками о культуре (гуманитарными). Сам Риккерт, установивший это трагическое для философии науки деление, не сделал в сущности серьезных попыток преодолеть эту трагедию. Охарактеризовав науки о природе, как «номотетические» (устанавливающие закономерность), а науки о культуре, как идиографические, устанавливающие момент индивидуально неповторимый, идейный и ценностный, риккертианство сообщило философии науки в высшей степени теоретический, в дурном смысле этого слова, оттенок.

Было бы ошибочно думать, что философско-научная трагедия есть только трагедия бумажная и что чрезмерный теоретизм есть только отрицательный признак данной философской доктрины, сказывающийся в бездействии. В качестве-ли симптома, в качестве-ли идейно-действенного «идеократического» момента, философия всегда была сильнейшей движущей силой человеческого духа. Отрицать это невозможно уже потому, что само отрицание есть философия, правда, часто дурная, нелепая и ядовитая, но все же философия, оказывающая свое неизбежное влияние. Философская трагедия, разыгравшаяся в древней Греции, действующими лицами которой были Сократ, Платон и софисты — не менее «история», чем Саламинская битва и Пелопонесская война. Не надо быть особенно глубоким философом истории, чтобы видеть, до какой степени битва при Херонее, отдавшая свободу Греции в руки Филиппа Македонского, была выиграна руками разлагавших Грецию изнутри софистов. Да, несомненно, кубок с ядом, поднесенный афинскими обывателями к устам Сократа, отравил весь греческий народ. Вся сущность материалистической доктрины, как в зеркале, отражается в деяниях русских революционеров. Но ведь материализм — философия, и при том самая беспочвенная и фантастическая из всех философий — менее, чем какая-либо другая, имеющая отношение к реальности и к материи.

С точки зрения власти идеи любопытно сопоставить кантианство с марксизмом. Для кантианства не существует моста между природой и моралью. В этом смысле отношение «Критики чистого разума» и «Критики практического разума» можно назвать вершиной трагического конфликта, который обостряется еще более тем, что находит свое выражение в холодном, бесстрастном стиле Канта, в духе столь присущей ему бестемпераментности. Практический разум, мораль, требует осуществления, реализации, воплощения того, что по законам «Критики чистого разума» не может быть не только осуществлено, но и само существование чего не может быть констатировано с необходимостью.

Пошлый оптимизм бюргеров-профессоров постарался с самого начала представить этот конфликт в розовом свете и объяснить его так, что, будто-бы, «Критика практического разума» начинает там, где оканчивается компетенция «Критики чистого разума». В действительности же речь идет о непримиримом конфликте обеих критик. Философский трагизм усиливается еще тем, что столкновение происходит в своеобразном духовном плане «сознания вообще» (Bewusstsein überhaupt), в сфере «трансцендентального субъекта» с его неумолимыми закономерностями идеального характера, не подлежащими никакому изменению, именно в силу своей идеальности. Действие «практического разума» на «чистый разум», действие идеи должного на идею сущего было бы с точки зрения кантианского идеализма самым невозможным из всех чудес, вообще и вполне последовательно отрицаемых кантианством. В самом деле, ведь само понятие чуда возможно лишь при реалистическом воззрении на мир, а не идеалистическом, при допущении вторжения «вещи в себе», «нумена» — в мир явлений, феноменов. Но с кантианской точки зрения это невозможно.

Марксизм имеет перед Кантом и его новейшими эпигонами (и даже перед всей новейшей философией), то преимущество, что в нем нет элементов бесплодного, бездейственного теоретизирования. Он есть дело, прагма (см. ниже); непереходимая пропасть между теоретическим и практическим разумом им устранена, теория для него стала действием, действие стало продуктом теоретизирования, продуктом опознания процессов экономического развития. Но вместе с тем в основе марксизма лежат устарелые, философски изжитые предпосылки. Кант придал понятиям субстанции и причинности вечный смысл, — однако, для него они только формы мысли, а не «вещи в себе». Марксизм оперирует с этими же понятиями, но придает им значение безусловных, онтологических сущностей. В этом смысле марксизм, по сравнению с кантианством, являет

ется философским шагом назад, возвращением философии в стадию самого наивного натурализма. Отличие марксизма от вульгарного материализма XVIII века только в том, что субстанцией для него являются не «атомы», а производственные отношения и что сознание «причиняется» не столько движением материи, сколько развитием экономического базиса. При этом два мифа старого естествознания, из которых исходил и Кант — субстанция и причинность — остаются действенными не только гносеологически, но и онтологически. Подобно Канту, Маркс исходил из естествознания своего времени. Есть некоторая аналогия между его отношением к естествознанию, с одной стороны, и к экономической жизни того времени, с другой. Он и не подозревал возможности новых открытий как в области изучения природы, так и в области экономического развития.

Новая и новейшая философия сообщили термину «идея» смысл совершенно противоположный тому, который он имел у своего основателя «божественного Платона». В этом отношении особенно много погрешил «изумительный Кант» и неокантианство. Наторп в своем «Учении Платона об идеях» до конца гносеологически опустошил платонову концепцию, чем и завершил начатый Кантом просветительский поход против онтологизма. Конечно, в этом походе могла бы быть положительная сторона — борьба трансцендентализма с психологизмом и релятивизмом. Но, во первых, здесь с водой выплескивался и ребенок, а, во вторых, здесь не избежали вторжения релятивизма и психологизма с заднего крыльца в самом злостном виде, что́ и случилось, напр., в «Философии как если бы» (Die Philosophie des «Als Ob») Файгингера; при том — это самое важное — яды натурализма и позитивизма остались непреодоленными, что́ мы видим на примерах как топорного полуматериализма Альберта Ланге, так и тончайшего трансцендентального сциентизма Германа Когена. Характерный немецкий позитивизм в лице Авенариуса с его школой, Маха и т. п. несомненно плоть от плоти, кость от кости кантианства. Первородный грех последнего — его генетическая зависимость от механического естествознания XVII и XVIII веков сказался в «натурализировании всех имманентных данностей сознания и вместе с ними всех абсолютных идеалов и норм», по выражению Эдмунда Гуссерля. Под флагом гносеологизации естествознания в действительности произошла натурализация философии. При таких условиях опустошение платоновых идей, вылущивание из них онтологического ядра, а вместе с тем потемнение и измельчание философии было неминуемым и совершалось роковым образом. К счастью, в самом естество-

знании происходил благотворный кризис, результаты которого ныне налицо в виде освобождения от пут механистической и материалистической мифологии. В этом отношении особенно много дали реальные труды и умозрения физика Луи де-Бройль.

Но и в самой философии в начале XX века стал происходить поворот к платонову онтологизму с возвращением идеологической (вернее эйдологической) концепции ее коренного смысла. Мы говорим о феноменологии Гуссерля.[1]) Любопытно, что это направление вышло из критики эмпиризма и рационализма — двух течений, творческий синтез которых, несомненно, дало кантианство. Таким образом, феноменология Гуссерля и его школы, хотя в начале и имеет явно выраженный трансцендентальный оттенок, но все же в конечном счете есть критика критицизма. Сюда же относится и родственный гуссерлианству интуитивизм Лосского. Это с особенной силой чувствуется в аксиологии, напр., Макса Шелера, давшего настоящий бой этике Канта.

При всем том ни новое естествознание, ни новая философия не выходят пока из стадии бездейственного теоретизма. Эти изумительные механизмы, вызывающие совершенством и красотой своей конструкции наше искреннее восхищение, словно вполне лишены приводных ремней к живой действительности, ныне грозно олицетворяемой приматом социального бытия.

Трагическая парадоксия нашего времени та, что власть над массами получили «битые идеологии», по образному выражению Ф. А. Степуна. В то время, когда духовная непитательность и ядовитость различных философских отбросов была доказана анализом философских лабораторий, массы в своих столовках накинулись на эти отбросы с жадностью. Мелит, Ликон и Анит современности в союзе с современными Аннами, Кайафами и Пилатами вновь умерщвляют Сократа. Над пошлой и философски безграмотной идеей прогресса посмеялась духовная элита; но эта идея «перешла к неграм», по выражению Кайзерлинга, овладела «черными» душами — и сделалась фактором ужасающего регресса. На языке — прогресс, на деле — регресс. Как ни омерзительно все происходящее, как ни отвратительно зрелище «битых идеологий», руководящих «неграми», за всем этим есть огромное преимущество: предмущество это есть дело, действие, «прагма»

1) Мы имеем здесь в виду немецкую и родственную ей русскую философию. Что же касается Франции, то основные представители ее философской мысли в XX веке являются традиционными спиритистами с ярко выраженным позитивистическим и психологическим оттенком, а враждебный им Анри Бергсон, несмотря на весь свой блеск, есть явление скорее литературное, чем философское.

в противоположность бездейственному, апрагматическому теоретизированию.

В этом смысле бездейственность новейших философских конструкций и бессильно-теоретический характер самих построений невыгодно отличается от деятельности древних философов, бывших, по выражению Шпенглера, «политиками и купцами большого стиля». К этому мы прибавим, что, напр., Сократ был философский праведник, своей жизнью и смертью давший жизненное приложение своей доктрине, а Платон лучшие свои силы положил на осуществление своей коммунистической мечты, бывшей в свою очередь действенным выражением его доктрины. Владимир Соловьев с большой остротой раскрыл трагедию срыва величайшего из философов (см. «Жизненную Драму Платона»). Насколько величественнее и мощнее эта великая неудача на деле — разных «удач» и «побед» кабинетных мыслителей в аудиториях и на многострадальной бумаге.

Возвращаясь к власти «битых идеологий» и к той легкости, с которой они нашли для себя точки приложения в массах, следует помнить, что развивающаяся при этом энергия есть энергия «взрыва» и «срыва», ведущая к энтропии, т. е. к уравнению энергии и к смерти. Материализм и позитивизм являются типичным выражением аггрегатно-энтропического миросозерцания. Т. е. их миф о мире есть образ уравненных в качестве и в количестве материальных частиц, относительно сущности которых полагается, что она известна до конца. Этот миф есть собственно миф не о сущем, а о «должном», о мертвой, безобразной серости уравненного в своих энергиях аггрегата. Материалистическому мифу-мечте противостоит живое разнообразие жизни, кыпащей неравенством энергий, т. е. иерархическим принципом. С огромной силой и колоссальным публицистическим темпераментом вскрыл это Н. А. Бердяев.[2]) Это неравенство всегда находится в невыгодном положении относительно энтропической бездны, ибо первое предполагает творческое усилие и заряд, а второе — разрушительное бессилие и разряд, взрыв. Равным образом и маниакальная идея материалистического всезнания находится психологически и прагматически в более выгодном положении перед творческой, истинно познающей философией незнания, ибо первая есть мышление «по принципу наименьшей траты психической силы» — в пределе нуль и полное бессмыслие, энтропия в области познания; философия же творчески познающего незнания есть мышление по принципу наибольшей траты психической энергии, в пределе — полнота мысли, видение сущности (эйдоса) вещей, максимум энергии, эктропия (т.е. насыщение энергией) в области познания. «Omnia praeclara quam difficilia tam rara sunt».

2) См. его «Философию неравенства».

Так как энтропия наиболее вероятна, а эктропия наименее вероятна и в то же время эктропия чудесно осуществлена, а энтропия является лишь злобной мечтой сатанинской фантазии, то по принципу психологической и нравственной вероятности идеология энтропии будет всегда иметь за собой больше сторонников, чем идеология эктропии. В этом, между прочим, заключена и морально-математическая вероятность грехопадения. «Критика чистого разума» с ее энтропическими категориями субстанции и причинности и «Капитал» с его энтропической идеей классовой борьбы всегда будет противостоять с большей степенью вероятности эктропическим идеям Бога, свободы воли и бессмертия души, данным в «Критике практического разума», и эктропической идее «прыжка из царства необходимости в царство свободы». Но тут мы сталкиваемся уже с настоящей и, кажется, никогда не отмечавшейся идеей борьбы мифа с контр-мифом.

Если мы обратимся к основным понятиям природы, как они даны в естествознании, то увидим, что есть своеобразное мифотворчество как в начале исследования (в исходных понятиях), так и в конце, в так наз. обобщениях. Миф же есть всегда образ, эйдос, им живет и дышит знание, им преображается и им же потемняется. Замечательно, что вопреки популярным на этот счет представлениям, так наз. гипотеза есть не исходный, а конечный момент исследования — видение образа, эйдоса истины под углом зрения сверх-опытных, направляющих и определяющих эмпирическую установку данностей. Гипотеза есть «око ума», по выражению Серапиона Машкина. Таким образом речь идет о выработке основных научных мифов, об их обобщениях и толкованиях, т. е. об эйдологической мифологии, эйдологической догматике как естествознания, так и гуманитарных наук. Сюда же относится и назревающая с непобедимой силой потребность в философии истории естествознания, предметом которой должно быть раскрытие эйдоса в научных мифах различных эпох и гетерогония (чередование) этих мифов с раскрытием той истины, которая светит в каждом из них. Мы подходим к проблеме действенной, эйдократической философии природы, где она, как это видно, напр., из трудов Дакэ, творчески синтезируется с истоками гуманитарных знаний. Ее необходимо ныне выдвинуть и противопоставить господству разрушительных энтропических мифов в области социологии, черпающих свою силу, в свою очередь, в разрушительных энтропических и механистических мифах аггрегатного материализма. Вершиной эйдократического научного мифа несомненно является концепция Н. И. Федорова. Здесь во главе эйдократии открываются высшие ценности православно-христианской догматики в нерасторжимом единстве бытия, знания и действия.

ВЛАСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ИДЕИ

Русская наука из глубины десятилетий одержима социальным вопросом. В статье «Научные задачи евразийства» (см. выше) мы отметили, что сделано ею в области изучения истории крестьянства в Европе и Византии. Русские авторы нередко обличали европейцев за недостаточное внимание к крестьянскому вопросу (так, напр., из сочинений Н. И. Кареева 1870-ых годов можно извлечь не мало таких обличительных суждений). Русские авторы, нередко считавшие себя «западниками», сами того не сознавая, выступали здесь представителями особого мира, с его особой логикой и ритмикой социального развития — и ставили европейцам русские вопросы. И негодовали, когда европейцы оказывались не подготовленными к ответу на них. — Русская наука, в лице М. И. Ростовцева и других, сделала замечательные вещи по социально-экономической истории эллинистического и римского мира. В этих отраслях русской исторической работы, изучения социально-экономического порядка являлись безусловно преобладающими. Не мало работ такого характера дала, конечно, и европейская наука, в которой традиция по изучению эллинистического и в особенности римского мира, вообще говоря, несравненно значительнее, чем в русской науке. Но в ней труды на социально-экономические темы не занимают такого *исключительного* места, какое они занимают в русской традиции. Та же тенденция к постановке социально-экономических вопросов заметна и в русском востоковедении. На интереснейшие данные этого рода приходится натыкаться в самых неожиданных местах. Так, напр., в «Историко-географическом обзоре Ирана» покойного В. В. Бартольда (С.-Петербург 1903) заключаются весьма характерные сведения о «демократическом движении» X века в нынешнем Гиляне (северная Персия). Оно было вызвано попыткой местной династии «захватить в свою пользу участки необработанной земли, находившиеся до того в общем пользовании и никому не принадлежавшие». Если мы вспомним

о значении аналогичных движений в событиях, сопровождавших французскую революцию конца XVIII века, то мы поймем, что подобные указания имеют интерес и для европоведа. — Другими лозунгами социального движения X века являлось освобождение от десятинного налога и разрушение родового строя. Вождь движения Хасан умер в 917 г. «Какое сильное впечатление оставили его реформы, видно из слов историков, что люди еще никогда не видели такого справедливого правления». — Ориентация в сторону социально-экономических проблем заметна и в русском славяноведении. Уже с конца 1850-ых годов русские стали специально работать по аграрной истории Сербии (Майков, Макушев и др.), а в последние десятилетия, отчасти, и по аграрной истории Чехии (Яворский). Но своего наиболее яркого выражения указываемая черта русской исторической науки — ее одержимость социально-экономическими вопросами — достигла в изучении французской революции. В нем, за последние десятилетия (начиная с 1870-ых годов), приложили свои силы *десятки* талантливых исследователей. На первом плане стоят проблемы социальной истории революции, в которых именно русская наука сказала основоположное слово («русская школа»). Здесь она вышла далеко за пределы разработки только *аграрной* истории революции (хотя потрудилась немало и в этой области). В лице Е. В. Тарле, ныне находящегося в тюрьме, она выдвинула одного из первых, если не первого в современной науке знатока истории *рабочего вопроса* во Франции. Но не только применительно к Франции ставила русская наука эти проблемы. Она внесла свой вклад и в исследование положения рабочих в эллинистическом мире, в Англии и т. д.

Изучение роли рабочих в период французской революции представляет большой методологический интерес. Вне всякого сомнения в Париже того времени уже существовали весьма значительные кадры рабочих, т. е. производителей, лишенных собственности на средства производства. Но основной вывод, к которому пришли новейшие исследователи рабочего вопроса во Франции — тот, что в событиях революции рабочие не играли никакой *самостоятельной* роли, подкрепляя лишь своей физической силой движения, исходившие от других социальных групп. Причиной этого являлось отсутствие в рабочих массах идеи об особых *целях* рабочих, представления о себе, как о самостоятельной социальной группе. Согласно марксистской терминологии, рабочие периода французской революции были «классом в себе», но не являлись «классом для себя». Возникает вопрос, можно ли вообще называть «классом» лишенную социального самосознания группу. Ведь наличие или отсутствие мысли о своем собственном призвании

и целях определяет роль и значение той или иной социальной группы в исторических событиях. Где нет такого сознания, там приходится говорить *не о классе, но «состоянии»*. Может существовать материальный субстрат социально-экономических отношений (который и создает понятие «состояния»), не находя себе никакого сколько либо значительного отражения на поверхности исторической жизни. *Класс создается идеей класса* — вот основная истина, вытекающая из рассмотрения исторических явлений. Французский пролетариат эпохи революции мы взяли в качестве примера. Не менее яркие свидетельства о том же порядке явлений может дать и русская история, в развитии поместного слоя, казачества, крестьянства и т. д. Задачей евразийства является исследование *классообразующей силы идеи*. — Исследование это, в условиях русской науки, не может быть ограниченным и местным. Из всех национальных и многонациональных наук — русская наука в наибольшей, быть может, степени призвана к созданию *всеобщей истории состояний и классов*. Социальную историю России нужно расширить до рамок социальной истории Евразии. Уже проложены просеки в социальной истории Европы и Азии. Социально-экономическая постановка этнологии должна дать соответствующий материал по народам других материков.

Как и во многих других вопросах, современный марксизм, отрицающий в теории самостоятельное значение идеи, — в научной своей практике и в самом бытии своем — является неопровержимым доказательством такого ее значения. Нет сомнения, что социально-экономическая ориентация русской исторической науки создалась *независимо от влияния марксизма*. Она сказывалась уже в первых действительно научных русских исследованиях по истории античного мира (напр., Куторги и Леонтьева), произведенных отчасти *до* появления наиболее ранних работ Маркса. Никак нельзя возводить к Марксу и того интереса к общине и даже прямого общинолюбия, которое со второй половины 1850-ых годов овладело самыми различными течениями русской мысли (напр., одновременно славянофилами и Чернышевским!). Между тем, общинолюбием этим вдохновлены многие весьма значительные труды русских ученых по социально-экономической истории как Запада, так и Византии. В вопросах отношения к общине — как это показало письмо Маркса о русской общине, сравнительно недавно опубликованное Д. Б. Рязановым, — скорее русская наука влияла на Маркса, чем наоборот. На этой ниве, также славянофильство приносило плоды, питавшие развитие русских социально-экономических изучений (пример — работы Ф. И. Успенского по истории крестьянского вопроса в Византии). Повторяем, обращенность русской науки к проблемам соци-

ально-экономической истории имеет *самостоятельные*, независимые от марксизма корни. Соотношение здесь иное: обращение этого могущественно содействовала *укреплению марксизма на русской почве*—порождая мотивы, созвучные «экономической интерпретации истории». Тот путь, которым марксизм подошел к русскому сознанию, был открыт для него своего рода «избирательным сродством». — Но в диалектическом процессе развития сам же марксизм истребляет мотивы, в свое время проложившие ему дорогу в русскую науку и в русскую историю. Экономизму до-марксистской и отчасти ранне-марксистской русской науки противостоит резко выраженный *а-экономизм* современной русской марксистской историографии. И чем актуальней, для современности, тот или иной разбираемый ею вопрос, тем явственней черты *а-экономизма* в его современной русской марксистской трактовке. Старая русская историография французской революции, развивая социально-экономические исследования — вовсе не знала *биографий* отдельных деятелей; личность, как таковая, ее интересовала мало. Уже с первых годов революции, марксистская наука, с небывалым в России рвением, занялась обработкой биографий «героев» (Робеспьера, Сен-Жюста, Марата и др.). Русский марксизм, в теории отрицая значение личности в истории, в научной практике создал «культ героев». Именно *идеологические* и политические стороны явлений интересуют современных русских марксистов и в истории французской революции, и в истории 1848-го, 1871-го гг. и т. д. Примеры бесчисленны. О русской марксистской историографии, как она будет складываться в 1930-х годах, говорить преждевременно. В 1920-х гг. для нее *максимально отличительным* являлся *идеологический и политический «уклон»*, преимущественное внимание к идеологической и политической сущности явлений. — Марксистская историография 1920-х годов *сеет практикой* свидетельствует *о первенстве идеологического начала в истории*. А именно для марксистов довод «от практики» является решающим. — Наибольшим вниманием марксистов пользуется *история революционных идеологий* — и притом взятая в ней самой, вне связи с экономической историей. Именно такая, так сказать, «самодовлеющая» трактовка вопросов идеологии характерна для современного русского марксизма как в области европейской, так и в области русской истории. Самые яркие результаты дает, в этом отношении, рассмотрение истории самого же марксизма. — Работы новейших исследователей марксистов (напр., Г. Зайделя) позволяют установить с полной определенностью, что в первую очередь в мировоззрении Маркса сложилось стремление «к изменению мира». И затем уже он стал отыскивать ту «материальную силу», которая могла бы произвести

это «изменение». И нашел ее в лице пролетариата. Идея Маркса, в возникновении своем независимая от факта существования пролетариата, впоследствии *воплотилась* в пролетарском движении. Это последнее, в данной перспективе, вырисовывается, как обрастание плотью и кровью *организационной идеи*. — Что иное, как не *организационная идея*, или иначе — модель и прообраз, сочетающий и сопрягающий материальные силы — является основным движущим фактором, существом или *зйдосом* исторического процесса? Эта идея есть идея *властная*, владеющая материей и движущая ею, проникающая в материю и преобразующая ее, чуждая всякого отвлеченного «идеализма». — Идея эта неотрывна от субстрата, который она организует. Грандиозным обнаружением *первенства организационной идеи* является новейшая история социализма. В ней мы наблюдаем, как организационные идеи зарождаются и оформляются за десятилетия до того, как начинают переходить в жизнь. Каждый социальный строй есть воплощение некоторой организационной идеи. Так, в основе капиталистического порядка лежит идея организации производства при помощи свободных производителей, работающих на средствах производства, принадлежащих предпринимателю. В свободном крестьянском укладе инициатива по части организационной идеи принадлежит самому производителю, который организует производство при помощи собственных, ему же принадлежащих средств производства. — Социальная история, в этом смысле, есть история зарождения и борьбы социальных организационных идей. В отношении материального субстрата социальной жизни, они находятся в таком же положении, в каком техническая идея изобретателя находится к пронизываемой ею материи. Одним из видов социально-организационных идей являются те, которым обязаны своим существованием классы.

Должны быть возведены в сознательные начала те положения, которые уже и сейчас заключены в развитии русского марксизма. *Нужно утвердить самостоятельное бытие пронизывающей социальную действительность организационной идеи*, нужно отдать себе отчет в том, что только *идеей* определенное состояние социально-экономического субстрата переводится в разряд «класса». Нужно изучить и утвердить классообразующую способность идеи.

Также в этом разрезе вырисовывается значение, которое присуще овладению всемирными горизонтами (см. статью «Научные задачи евразийства»). Только освоившись с ними, русская наука может заложить основы *всеобщей истории состояний и классов*, к созданию которой она призвана действующими в ней тенденциями развития: многое осветив в социальной

истории Востока и Запада, она призвана осветить социальную действительность всего мира.

К этой работе и зовет евразийство. Все предыдущее указывает, на какой философской основе должна развертываться эта работа. Н. С. Трубецкой утвердил идеократию, как особую форму отбора правящего слоя. Как феномен сущего, эта форма есть отражение более широкого порядка явлений. В политической области люди, сознательным усилием, достигают того, что в качестве устойчивого порядка господствует в мире истории и природы. *Периодическая система сущего восходит к системе организационных идей.* И ее периодичность определяется ритмикой в сочетании организуемых элементов. Это одинаково относится к «периодической системе химических элементов», в том виде как ее раскрывает современная физическая химия, к «периодической системе зон», в ее климатологической стороне, к той «периодической системе», к которой тяготеет современная биология. Рассматривая на тех же основаниях ряд социально-экономических формаций, можно построить, путем сочетания важнейших производственных элементов, своеобразную «периодическую систему» общественных укладов. — Установление организационных идей, лежащих в основе сущего, в высокой мере способствует упорядоченности и стройности нашего познания. Можно сказать даже, что путь к высшим формам познания пролегает именно и только чрез установление *системы организационных идей*, действующих в каждой отрасли явлений. Устанавливая эти системы и сопоставляя их, евразийство стремится к нахождению *единой философии сущего.*

По сказанному выше, в организационной идее каждого явления мы нащупываем его эйдос. И наблюдая, как эйдос *управляет* явлением, мы приходим к *эйдократической* концепции сущего — не только в политическом, но и в самом широком *философском* смысле слова. — В одних случаях, эйдос — перед тем, как раскрыться в мире — проходит чрез человеческое сознание. В этих случаях организационная идея есть, прежде всего, факт человеческого сознания. В других случаях организационная идея присуща самим вещам (физическая химия, география, биология) и только улавливается нашим сознанием, — но уже не в порядке действенной практики (как в политике или экономике), а только в порядке познания. Однако, и здесь организационная идея остается сама собою. В этих *противоположных* выявлениях организационной идеи раскрывается ее *единство*, тожество «образа и подобия» ее различных носителей. — Чрез *осознание* этого единства пролегает путь к *познанию движущей силы мира.*

П. В. Логовиков

ПОД ЗНАКОМ ДИАЛЕКТИКИ

ПРОГРЕСС ТЕХНИКИ, КРИЗИС МАРКСИЗМА И ПРОБЛЕМЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ.

Марксизм возник в эпоху расцвета паровой централизованной техники второй половины XIX века. Он с самого рождения определен и закрепощен технической картиной этой эпохи. Можно даже сказать, что сам марксизм входит в состав этой картины, является ее идеологическим рупором и типичным продуктом XIX века. Ортодоксальный марксист живет, мыслит и действует словно техника навсегда должна оставаться прикрепленной к громоздкому паровому котлу и к паровой поршневой машине — тяжелой, слабой и неэкономной.

Классический капитализм и связанное с ним социальное зло пролетаризации и эксплуатации масс — соединены в единый целый комплекс с паровым котлом и поршневой паровой машиной.

Марксисты, столь любящие сомнительную философски, критически неоправданную и не проверенную теорию «базиса и надстройки», почему то не захотели заметить главного, — что до некоторой степени имело бы видимость оправдания их теории. Они не заметили того, что *классический капитализм и связанная с ним социальная морфология являются «надстройками» над главным техническим фактором XIX века: над центральным паровым котлом и центральной паровой машиной, приводящей в действие большую фабрику, обслуживаемую пролетариатом.* Собственно здесь термин «базис» является приблизительным и мало удовлетворительным. Лучше говорить о центре и периферии. В центре — паровой котел с большой паровой машиной. На периферии и по радиусам — соответственные им, «конформные» им социально-экономические явления хорошо известного типа; с ними находятся в комплексной связи некоторые явления

— далеко не все — общей духовной культуры. Рассмотрим, в чем тут дело.

Малая паровая машина требует для своего привода в действие довольно дорогой котельной установки и чрезвычайно невыгодна. Вместо двух паровых машин с двумя котлами, из которых каждая, скажем, в 50 сил, гораздо выгоднее иметь одну паровую машину в 100 сил с одним паровым котлом. Использование энергии пара тем совершеннее, чем больше силовая единица. Кроме того, передача двигательной силы от паровой машины возможна только на небольшое расстояние. Отсюда централизованность предприятий, отсюда концентрация капиталов, отсюда и соответствующие социально-экономические и культурные явления.

Что же лежит в основе всего этого комплекса и всего этого процесса? Ответ может быть лишь один: духовная функция изобретателя паровой машины. Это он, изобретатель паровой машины, вместе с ее усовершенствователями, вызвал концентрацию движущих сил, концентрацию капитала, появление его магнатов, — с одной стороны, и обширной армии пролетариата, с другой. Вот какова истинная картина соотношения «базиса и надстройки». Правда, даже развитие классического капитализма не оправдало навязчивых лже-пророчеств маркизма о концентрации всех капиталов в немногих руках и об обращении в пролетариат всего остального человечества.

Даже и в царстве паровой машины и концентрированного капитала дело пошло совсем не так, как бы этого хотелось марксистам. Явилась многочисленная и чрезвычайно многообразная гамма промежуточных состояний, не принадлежащих ни к пролетариату, ни к магнатам капитала.

Даже в пределах классического капитализма, выросшего на централизированной паровой машине, стал наблюдаться мощный процесс социально-экономической и культурной децентрализации.

Можно себе представить, с какой бурной силой должен был бы проявить себя этот процесс в том случае, если бы творческий гений человека заменил громоздкую центральную паровую машину с ее котлом — децентрализованным типом двигателя, который был бы выгоден и удобен как в малых, так и в больших размерах.

Это уже совершилось. Появился, во первых, двигатель внутреннего сгорания, допускающий дробление мощности до дробей лош. силы и концентрацию до многих тысяч. Во вторых, появились электрический генератор и трансформатор высокого напряжения, позволяющие передавать по тонким проводам энергию на сотни километров. С электрическими генераторами появился и электродвигатель — от миниатюрных форм,

приводящих в действие машины домашних хозяек и бор-машину зубного врача — до грандиозных установок современной тяжелой индустрии.

Существовавший до этого способ распределения паровой силы с помощью шкивов и передаточных ремней заменился передачей электрической энергии по гибкому проводу. Электрические провода мы видим всюду — они спускаются на дно глубочайших шахт, взлетают на горные кручи, заходят в глухие, заброшенные фермы, деревни и т. д. Близится, повидимому, эпоха беспроволочной передачи энергии.

Таким образом, силовые станции, ранее ограниченные пределами заводских корпусов, ныне распространили свое влияние на сотни километров от мест своей установки. Они допускают бесконечную дробимость энергии и удобство пользования ею.

Из сказанного вырисовываются дали некоторого социально-экономического и материально-культурного будущего, которое, впрочем, в значительной степени уже осуществилось и стало фактом.

Как и всегда, истинный прогресс заключается не в пресечении, устранении и уничтожении, а в полноте сосуществования различных форм и в преодолении низшего высшим. Мы уже не говорим о том, что самый процесс эволюции, каким его себе представляет , напр., один из характерных идеологов XIX века Герберт Спенсер, заключается в сосуществовании процессов дифференциации и интеграции, — что с формальной точки зрения в значительной степени верно.

Прогрессивная эволюция современной техники и дает именно картину сосуществования концентрации и дробления, хотя процесс совершенствования сосредоточен преимущественно на дроблении и дифференциации. В этом собственно пункте выявляются наиболее веские прогнозы, связанные с чрезвычайно важной проблемой децентрализации культуры.

Как далеко может простираться выгодная и целесообразная децентрализация технической культуры, видно из того, что в наше время вес бензино-мотора доведен до 225 граммов на лошадиную силу. При этом надо иметь в виду, что здесь допускается еще дальнейшее дробление. Современного типа авиационный мотор для тяжелых масл доведен до 217 кгр. при 200 лошад. сил. При таком совершенстве двигателей допустима децентрализация, напр., в сельском хозяйстве, в значительно большей степени, чем это возможно на основе примитивной лошадиной тяги и даже ручного труда. По сей день многим кажется, что техническое несовершенство лошадиной и людской силы есть причина децентрализованности сельского и домашнего хозяйства, коллективизация которых и унификация неминуемо дол-

жны, будто бы, последовать за рациональным применением механических двигателей. Российскими марксистами до такой степени овладела навязчивая идея крупного трактора и социалистических казарм-домов с их коллективизированным бытом, что они просто перестали замечать прогресс современных механических моторов, не только допускающих децентрализованные хозяйства, наряду с центральными силовыми установками, но при некоторых условиях даже имеющих над последними неоспоримые преимущества. Легкие, дешевые автомобили, небольшие моторы для обработки мелких участков земли, небольшие перевозные моторы, действующие газами всевозможных отбросов и могущие быть в кратчайшее время приспособленными к молотилке, соломорезке, пиле, насосу и т. п. — говорят сами за себя. Ныне нищие точильщики ножей сочли для себя выгодным обзавестись собственными моторами. В домашнем хозяйстве, в местностях, удаленных от районных силовых станций, выступают уже небольшие силовые станции для электрического освещения, чтобы не упоминать здесь о всевозможных формах мелких электродвигателей, приводящих в движение пылесосы, швейные машины и т. п. К этому надо прибавить, что мелкие и выгодные формы двигателей (независимо от того, бензиновые ли они, действующие ли органическими отбросами, электрические ли) раскрывают новые возможности для кустарных промыслов. Живучесть этих последних поистине изумительна (особенно в области фабрикации часов и физических приборов). Кустарная промышленность выдержала состязания не только с крупной промышленностью Франции, Швейцарии и Германии, но не могла быть совершенно умерщвлена и советской крупной индустрией.

Все время надо иметь в виду, что идея всепоглощающей коллективизации, централизации и унификации выросла на базисе классического «парового» капитализма и в наше время обозначает скорее регресс и отсталость.

Надо заметить, что в ту эпоху, когда паровая машина была действительно новостью и означала настоящий прогресс, — последний покупался ценой жестокой деградации качества продукции. Недаром в эпоху расцвета паровой техники, да и в наше время, выражение «машинная работа» остается синонимом плохого качества, в термином «ручная работа» определялась прочность, добротность и красота товара. Это хороший урок для крепкоголовых сторонников идеи единого, линейного и всеобщего прогресса. Современный двигатель мелкого типа, современные мелкие станки, предназначенные для всевозможных производств и доведенные до высочайшей степени совершенства дают возможность сочетать быстроту и точность работы с той интимностью общения мастера с материалом, которое одно

обеспечивает добротность и красоту работы, равно как и возможность непрерывного творческого и индивидуального совершенствования. *Этим возвращается слову «техника» его античный высокий смысл, раскрывающийся в своем идеале, как искусство.* Здесь необходимо упомянуть, что техника сельского хозяйства с примыкающими сюда сферами — садоводством, огородничеством, скотоводством, птицеводством — могут быть творчески усовершенствованы лишь в порядке широкой децентрализации и при наличии не стандартного, а индивидуального отношения к объектам хозяйственной деятельности. Выращивание новых культур овощей и плодов, новых цветов, выведение новых пород скота и птиц — возможны, главным образом, в порядке индивидуально-инициативном. Здесь огульная коллективизация и централизация так же вредны и бессмысленны, как и в сфере искусства в подлинном значении этого слова. Правда, в наше время существуют сторонники так. наз. «социального заказа», представляющего пышный термин для весьма неприглядного содержания, — для обозначения принудительного социального подкупа. Самое ужасное, что и коллектива при этом никакого не получается, а дело сводится к механическому конгломерату раздавленных индивидуальностей. Между тем, не будь этого уничтожающего нажима, наша эпоха, — социальная, — не только в дурном, но и в хорошем смысле слова, — могла бы дать, и кое-где дает, продуктивное и прекрасное сочетание моментов лично-инициативного и социально-симфонического. Капитало-коммунистическая стандартизация, губящая столько же качество продукции, сколько и личность рабочего, ныне уже обретает пути своего раскрепощения.

Картина технического прогресса вообще с удивительной стройностью может быть выражена в тройственной системе Гегелевской диалектики: тезис, антитезис, синтез.

Тезис: цеховая техника, цеховое производство, патриархально-цеховой быт и режим. Господство художественных тенденций и идеи качества — шедевра (мейстерштюка). Применение силы людской, лошадиной и отчасти водяной.

Антитезис: централизованная техника, централизованное производство, буржуазно-капиталистический режим с его тенью и продолжением — марксистским коммунизмом. Господство стандартного производства, падение и исчезновение идей совершенства, художественности и добротности, победа количества над качеством, применение паровой машины. Закрепощение рабочего и разрушение его личности.

Синтез: дальнейший рост централизации, господство социальных тенденций и кооперативных идей, возникновение новых, усовершенствованных децентрализованных хозяйств, бурный прогресс двигателей внутреннего сгорания и электро-

двигателей, возникновение новых возможностей в связи с электрификацией металлургии и сельского хозяйства. Перспективы возможного раскрепощения рабочего и возрождения его личности в связи с неминуемостью падения классического капитализма и коммунизма. Появление новых социальных вопросов немарксистского типа.

Без сомнения, это не такая диалектика, которая могла бы прийтись по вкусу ортодоксальным марксистам. Здесь в основу положена не убийственная и самоубийственная идея классовой борьбы, но творческий дух изобретателя и те воздействия, которые произвели на личность созданные им машины. Нам и в голову не приходит отрицать здесь общественные расслоения (социальную дифференциацию) и общественную борьбу, возникшую вследствие утверждения капиталистически-пролетарского слоя. Мы только считаем, что этот строй и выражающая его система политико-экономических и социальных учений, включая сюда и марксизм, — являются надстройками («эпифеноменами») над определенным состоянием научно-технического уровня. Этот уровень, в свою очередь, есть функция духовно-творческой деятельности человека. Совершенно легко себе представить такое изобретение, или такое состояние научно-технического уровня, при котором будут сбиты и перепутаны, как карточные домики, все человеконенавистнические хитросплетения прожектеров гражданской бойни. В самом деле, ведь все рассчеты революционеров этого рода построены на идее скудости, а не на идее богатства, на идее голода, а не на идее сытости, на идее нерассуждающего стадного повиновения (так наз. «сознательность», «партийная дисциплина»), а не на разумном рассуждении, критике и инициативе; наконец, что всего печальнее, этот идеал основывается на идее сбитых в конгломерат, сломленных, но не преодоленных индивидуальностей («коллективизация»), а не на идее соборно-органического симфонизма, в котором самозамкнувшаяся эгоистическая индивидуальность преодолена ради свободной личности — как единичной, так и множественной.

Появление новых источников дешевой энергии, соответствующие усовершенствования в сельском хозяйстве, прогресс синтетической химии пищевых веществ, орошение пустынь, удачное решение проблемы международного мира, удачное разрешение проблем кооперации и участия рабочих в прибылях (копартнершипа) — немедленно превратят всю взрывчатую силу маркисо-коммунизма в безвредный хлам бумажной макулатуры.

Все эти усовершенствования несомненно связаны с ростом новейшего естествознания, мощно пробивающего себе путь в стороне от жалких шаблонов «классического» материализма и механизма. Любопытно, что они (марксо-коммунисты) не проявили ни малейшего интереса к философии техники и связанной с нею философии естествознания. Слепота и глухота марксизма объясняются тем, что он генетически прикреплен к определенному виду техники (к паровой технике, о которой мы уже говорили), он носит его в крови, почему и лишен всякого кругозора в этой области, как его лишен был и Маркс. Между тем, здесь раскрываются поистине грандиозные перспективы в прошлое, настоящее и будущее.

Техника нашего поздне-четвертичного человека начинается с малого количества и малого качества; она в своем рождении [1]) связана с механикой удара, толчка и примитивными разновидностями «простых машин» — рычага и наклонной плоскости. Характерно отсутствие вращения, вала и так наз. трансмиссий (валов с насаженными на них шкивами для передачи вращения). В этот период техника отличается индивидуальным или групповым характером. Она направлена на поднимание тяжестей, на охоту, скотоводство, примитивное земледелие, на добывание огня, примитивное речное и морское судоходство, примитивное судостроение. В этом состоянии она пребывает очень долгое время, когда она, наконец, в эпоху халдейских и египетских древностей эволюционирует в большое качество и относительно малое количество. После катастроф, приведших к средневековому типу культуры, техника в новую эпоху европейской истории эволюционирует в большое количество и относительно малое качество. Здесь техника становится социальной, появляется и достигает высшего развития капитализм, отправляющийся от примитивного водяного двигателя и примитивной паровой машины и прогрессирующий до грандиозных усовершенствованных паровых установок, паровых и водяных турбин. В этот период господствуют вал, вращение, трансмиссия; все это очень громоздко и относительно слабосильно. Социальные противоречия достигают страшной остроты и напряженности, а процессы централизации все усиливаются. В этот момент с почти внезапной взрывной силой нарождается техника малого количества и большого качества: двигатели внутреннего сгорания и электродвигатели с их почти неограниченной дробимостью и способностью к децентрализации. При этом происходит совмещение больших централизованных и малых децентрализованных форм.

---

1) Неверно думать, что примитивный четвертичный человек, известный нам по свайным постройкам, пещерам, «кухонным отбросам» есть действительно впервые начинающий свою техническую карьеру, только что возникший из животного состояния человек. Скорее всего, что это период одичания после предыдущего расцвета, оборвавшегося катастрофой, — так сказать, рождение или возрождение после смерти.

Появляется огромный по своему разнообразию спектр промежуточных социальных и технических состояний. Этим острота противоречий смягчается, вследствие чего сильно уменьшается опасность всеобщего взрыва. В социально-экономическом отношении положение рабочего тоже имеет наклонность к изменению: намечаются возможности своеобразной децентрализации рабочего, пока еще в формах капиталистических и в противоречивом сочетании с крайне односторонней специализацией (Америка). Вращение и вал продолжают господствовать, но трансмиссии имеют тенденцию сокращаться или даже вовсе уничтожаться по причине местного приложения децентрализованных двигателей. В связи с открытием радиоактивности и четвертого (лучистого) состояния материи, появляются первые признаки колоссальных по силе генераторов энергии, основанных на междуатомной и волнообразной (ондуляторной) механике. Эта новая механика почти ничего общего не имеет со старой механикой грубого удара и толчка. Появляется идея механического движения без вала и вращения, идея машины, которую можно было бы назвать химической. Таков, напр., принцип автомобиля-ракеты, аэроплана-ракеты с сюда примыкающим проектом прибора для путешествия в междупланетных пространствах. Вырисовывается новый, грандиозный перелом. По всей вероятности мы находимся в преддверии этого периода.

Возможно, что далее дело пойдет в совсем ином сравнительно со старой механикой направлении. Не исключена возможность, что генераторы примут ничтожные размеры при гигантских количествах развиваемой энергии. Изготовляться они станут по всей вероятности, в лабораториях. Большие фабрики и заводы запустеют так же, как запустели многие железнодорожные и трамвайные линии от конкуренции автомобилей. В этой «технике будущего» вращение, вал, трансмиссия — упразднятся. Явится новый тип метатехники, где снова связь между искусством и техникой будет восстановлена. Социальные отношения, вероятно, примут индивидуально-групповой оттенок со своеобразным, резко очерченным профессионализмом. Начнется ожесточенная борьба за нравственность и веру, ибо технике, при таком ее могуществе, уже невозможно будет сохранять свой, хотя бы поверхностный, нейтралитет. Проблема общественно-государственная (социально-этатическая) вновь станет нравственной (этической) по преимуществу. Со всей остротой встанет проблема мира и войны.

Схема этого наброска философии истории «с точки зрения техники» (sub speciae technicae) трехчленна и вполне соответствует вышеприведенной диалектике тезиса, антитезиса и синтеза.

Первая эпоха. Начало простых машин, грубая междумассовая механика удара и толчка, отсутствие вала, вращения и трансмиссии, господство религии и этики над социологией.

Вторая эпоха. Максимальное увеличение и усложнение простых машин и междумассовой техники удара и толчка. Господства вала, вращения и трансмиссии. Господство социологии над религией и этикой.

Третья эпоха. Она находится еще в состоянии проективном. Намечается развитие междуатомной и ондуляторной механики. Предвидится ограничение и, быть может, исчезновение вращения, вала и трансмиссии. Вновь намечается господство религии и этики над социологией.[2])

Здесь, на рубеже второй и третьей эпох, возможно, в случае войны и победы марксо-коммунизма, грандиозное одичание, регресс и возвращение в состояние первых эпох. Впрочем, даже если этого не случится, — все же развитие метатехники и метамеханики (или лучше — ультра-техники и ультра-механики) само может вызвать, особенно при наличии нравственного вырождения, некую страшную катастрофу, быть может, планетарного характера. Катастрофа эта может смести и уничтожить не только изобретателей, но и то место, на котором они находятся. Но также весьма вероятен диалектически-идеологический сдвиг и взрыв внутри самого марксо-коммунизма, в результате которого победят творческие евразийские идеи столь же далекие от марксизма, как и от капитализма.

Марксизм связан с данной эпохой в науке и технике, он сам есть надстройка над ними. Но видя всюду надстройки, марксизм ни за что не желает самого себя признать за одну из них. Он претендует на бесконечно большее. Доктрина Маркса превратилась в лже-религиозную догму без всяких на это прав, ибо не имеет трансцендентного содержания, без которого нет религии. Доктрина Маркса, как Левиафан Гоббса, предписывает знание, веру, мораль и нормы личного поведения с определенной целью уничтожения самой личности. Марксистский Левиафан не может не смотреть на дальнейший прогресс науки, техники и общественных отношений, как на «ересь».

Это мы наблюдаем с особенной отчетливостью на судьбах диалектики в России. Так называемый «диалектический материализм» есть единственная допущенная форма философии,

---

2) Весьма возможно и даже вполне вероятно, что первый период есть период одичания, имеющий позади себя великую, так сказ., цифра-технику погибших культур — быть может магически-оккультного характера; равным образом, нам предстоит войти в эпоху ультра-техники, связанную с частичным, неполным овладением междуатомными силами. Возможно, что для техники, также, как для геологии и био-антропологии, существуют свои периодизмы.

— предписанная и принудительно вводимая правительством СССР. Но малейшая попытка действительной диалектики хотя бы внутри марксизма немедленно приводит к грубому внешнему пресечению начавшегося диалектического процесса. Это объясняется тем, что в самом ортодоксальном марксизме нет настоящей философской диалектики, но есть вероучение о превращении капиталистического общества в коммунистическое. Так как коммунизм предполагается вечным, то этим «диалектика» всякий кончается. Конечно, это не диалектика, но социальная эсхатология. Между тем, настоящая диалектика не имеет пределов и является отделом гносеологии, или лучше сказать формой гносеологии; у Гегеля она наполнена онтологическим содержанием, которое, впрочем, подлежит оспариванию, как и вообще весь философский стиль Гегеля. Впрочем, возможны формы диалектики ничего или мало общего имеющие с Гегелем — например, диалектика Платона-Сократовского и вообще античного типа, диалектика Канта, диалектика христианской догматики, диалектика новейшего естествознания и математической философии и т. д. На всем этом в СССР поставлено в полицейском порядке строжайшее veto. Между тем, как раз здесь то и коренятся блестящие возможности не только для философии, но и для положительной науки, для техники, социальной этики и даже для социальной эсхатологии — в духе, напр., Федорова.

«Диалектикой», в сущности, в СССР названа совокупность quasi теоретических положений, обосновывающих «генеральную линию». Но всякому ясно, что в генеральной линии могут быть только тезисы со строжайшим запрещением всяких антитезисов. Что же касается синтеза, то его в официальном направлении и на горизонте не заметно. Итак в генеральной линии нет диалектики, но есть лишь материализм. Это понятно: материализм исключает как учение о материи, так и диалектику. В материи действительно есть диалектика, — это показывает нам новейшее естествознание, но нет никаких признаков диалектики в материализме. Между тем, учение о классовой истине приводит к тому, что ортодоксальный марксист, желая быть последовательным, должен был бы на вопрос о сущности материи и о материализме ответить так:

— Материя это то, что учит о ней компартия.

Или:

— Материя это то, что предписывают думать о ней вожди генеральной линии.

Конечно, это очень легко, но совсем не диалектично, ибо подлинная материя есть вечная диалектическая задача. Поэтому само выражение «материализм», как закрепляющее навсегда одно из учений о нем, есть антидиалектическая нелепость.

Автор этих строк охотно станет материалистом, если марксо-коммунисты ответят ему на вопрос: — что такое материя? Но отвечая на такой вопрос, они впадут либо в материализм и классовой идеализм — и тогда прощай диалектика. Или же принуждены будут вступить на путь реальной диалектики — и тогда прощай классовая точка зрения и материализм.

Третья эпоха, о которой мы говорили — раскрывает новые пути для диалектики материи, диалектики техники и социально-этической диалектики. Евразийство ставит своей задачей ускорить и организовать наступление третьей эпохи. Наступление ее означает тем самым конец марксизма и коммунизма, с ним неразрывно связанного. Она зарождается в недрах самого марксо-коммунизма — и рано или поздно победит несмотря ни на какие препятствия — ибо таков закон истинной диалектики.

В. Н. Ильин

ВРЕМЯ, КУЛЬТУРА И ТЕЛО

К ПОЗНАНИЮ КУЛЬТУРНЫХ ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОСТИ

I.

Каждая эпоха имеет свои излюбленные проблемы, на которых сосредоточивается ее мысль; свои особые вопросы, которые ощущаются ею особенно остро, в которых выражается ее индивидуальный подход к жизни и только ей присущее отношение к окружающему миру; ее заботы и упования; ее противоречия и искания выхода из них. Вместе со сменою культурных эпох меняются поэтому не только типы мировоззрений, но и определяющие их боевые проблемы.

Однако, есть и такие вопиющие проблемы, к которым не может остаться глухой ни одна эпоха; проблемы, выпирающие из всех явлений жизни и неотступно преследующие философскую рефлексию, куда бы она ни обратила своего испытующего взора. Тем не менее и на их судьбе отражается смена культурных эпох. Проблема сама остается, правда, повсюду одна и таже. Но меняется установка на нее, меняется глубина захвата в ее понимании и осмыслении, перемещается центр тяжести либо к ее периферическим слоям, либо к самой ее метафизической сердцевине. К таким проблемам принадлежит и проблема времени. В подходе к ней особенно отчетливо сказывается острота и напряженность философского самосознания эпохи. И если мы действительно стоим на рубеже новой исторической эры, если кризис культуры для нас не только досужий домысел, но реальнейший факт, который мы испытываем всем своим существом, то, очевидно, коренным образом должно измениться и отношение к проблеме времени.

Правда, к проблеме этой надо подходить теперь с сугубой осторожностью. С тех пор как Эйнштейн выступил с теорией относительности, проблема времени стала не только злободневной, но и последним криком философской моды. Посвящен-

ная ей литература уже теперь почти необозрима. В теории относительности, казалось, нашли ключ к совершенно новому мировоззрению, разрешающему окончательно сложные философские вопросы, начиная от вопроса о конечности или бесконечности мира и строении материи и кончая вопросами о свободе воли и о возможности овладения временем, о подчинении его творческой воле человека. Теперь, когда первое увлечение теорией относительности уже несколько улеглось, для непредвзятого наблюдателя не может быть сомнения, что вся эта шумиха, поднятая вокруг нее, скорее затемнила в сознании современности самую сущность проблемы времени. От нескромных прикосновений и взглядов истина всегда умеет ускользнуть и скрыться. Быть может философская оценка теории относительности еще несвоевременна, пока не определилось окончательно ее лицо и не установилось ее положение в пределах точного естествознания. Во всяком случае ясно одно: не она одна открывает доступ к проблеме времени. Есть и другие аспекты ее, не менее значительные и существенные.

Выяснению одного из таких аспектов и посвящен настоящий очерк. Только этим ограничивается его задача. Вопроса о метафизической сущности времени мы не ставим и не решаем. Мы хотим лишь отдать себе отчет в том, как время вообще воспринимается сознанием культурного человека, — еще до научно-философской рефлексии — и как это восприятие и понимание времени определяет собою самую культурную жизнь.

II.

Если присмотреться внимательно к тому, как непосредственное восприятие времени отражается в сознании человека, какую оно будит в нем естественную реакцию, — то реакция эта характеризуется, как нам кажется, тремя рядами мыслей, ощущений и оценок, часто связанными между собою, но нередко выступающими и отдельно друг от друга.

Прежде всего время представляется как всемогущая грозная сила, против которой никто и ничто не может устоять; все, что живет и существует в мире природы и мире человеческом, подвержено ее разрушительному действию. Все изменчиво, преходяще, смертно. Правда, в круговороте бытия время не только уничтожает старое, но и рождает новое. Однако, в первоначальном представлении времени решительно преобладает идея разрушения. Время — Кронос, пожирающий своих собственных детей, неумолимый рок, уносящий человека в темный Аид, из которого нет возврата. Образ смерти заслоняет собою образ жизни и налагает на самую жизнь неизгладимый

отпечаток: все живое в себе самом уже носит причину своей гибели. Поэтому ощущение времени, мысль о временности всего сущего будит прежде всего страх и ужас; она неизбежно обесценивает жизнь и жизненные блага. Перед страшным ликом времени-разрушителя бледнеют все представления об его положительной роли, о том, что оно залечивает раны, придает забвению слезы и страдания и восстанавливает утерянное и погибшее. И это понятно. Восстановима лишь периферическая оболочка жизни, те внешние материальные блага, которые являются готовым результатом ее созидательной творческой деятельности. Сама же жизнь как творческое начало восстановлению недоступна. Время необратимо. Прошлое невозвратно; оно не может стать снова настоящим. Каждый момент, каждая ситуация единственна в своем роде и потому неповторима. Случай раз упущенный уже неподвластен воле человека. Всякий ложный шаг, всякая ошибка, раз совершившись—неизгладимый и по существу неисправимый факт. И та исключительная острота, которая свойственна мукам раскаяния, возникает из сознания этой непоправимости. — Вот тот круг мыслей, оценок и чувств, которые связаны с необратимостью времени. Правда, не всеми эпохами и возрастами он переживается с одинаковой силой и глубиной. Античной натурфилософии, столь еще родственной и близкой мифически-религиозному сознанию, он совершенно чужд. Циклический характер мирового процесса обеспечивает — в ее представлении — как раз периодическое повторение одних и тех же событий, одних и тех же жизненных судеб. И даже в философии бывания Гераклита — учение о необратимости времени не вносит в оценку жизни сколько-нибудь заметной пессимистической ноты. В сущности, эти мысли и настроения — первый признак начинающегося старения, когда все сильнее и тягостнее ощущается гнет прошлого, его давление на настоящее и будущее. Тем не менее мысль о необратимости времени имеет и свою положительную сторону. Она вообще не остановила бы на себе внимания человека, если бы сознание неповторимости жизни и отдельных ее моментов и ситуаций не было связано с ощущением исключительной ничем не заменимой ценности этого неповторимого. Ощущение это настолько мощно и стихийно, что в обычной обстановке даже заслоняет собой, заставляет забывать о разрушительной силе времени. Однако в интуиции времени раскрывается еще третья сторона, третий аспект, который в корне подрывает именно это непосредственное ощущение ценности жизни. Не только непрочность и бренность реального бытия, и не только его неповторимость тревожит мысль человеческую, ее смущает и еще одно загадочное свойство: именно то, что разделяя бытие на прошлое, настоящее, оно тем самым упраздняет его реальность.

В самом деле: подлинным носителем реальности как-будто является только настоящее; только через него к реальности приобщаются и прошлое и будущее. Прошлое лишь потому реально, что оно было настоящим. Будущее — лишь постольку, поскольку оно станет настоящим. Но с другой стороны: само настоящее, как таковое, неуловимо в своей непосредственной реальности. Когда мы говорим: «оно есть», — то оно уже стало; а став, тем самым кануло в прошлое и перестало быть настоящим. Поскольку же оно не стало, а становится, оно в будущем, и будущим определяется и осмысляется, т. е. его еще нет как настоящего. Так исчезает реальность настоящего. Она как будто не больше чем идеальная грань, точка без измерения, лишенный длення миг, через который нереальное будущее переходит в нереальное же прошлое. Конечно, во всей своей парадоксальности антиномия времени встает лишь перед рефлексией, перед совершательным умом, привыкшим смотреть на мир и на жизнь со стороны. Но в смутной, неотчетливой форме она ощущается и наивным сознанием и глубоко тревожит его: сомнение в реальности собственного бытия есть и сомнение в ценности жизни; ибо ценность жизни неотделима от ее реальности. И потому сознание нереальности невыносимо для самой жизни. Роковым образом оно ведет к ее саморазрушению; или же должно быть радикально преодолено.

Из этой исключительной жизненной важности проблемы времени понятно, почему она так глубоко задевает и религиозную мысль. Все религиозные мировоззрения так или иначе пытаются разрешить антиномию времени и найти путь для ее преодоления. Пути эти, конечно, весьма различны; особенности каждого из них зависят от общей установки религиозного мировоззрения. Однако, во всем этом разнообразии ясно вырисовываются два руководящих направления, соответствующих двум основным аспектам религиозного сознания: *трансцендентному* и *имманентному*. Всякая настоящая религия так или иначе признает наряду с земным бытием еще иную, (обычно) высшую реальность, которая не только воздействует на сферу эмпирии, но определяет также ее смысл и значение. В зависимости от того, как понимается взаимоотношение между земным бытием и иным миром, меняется и отношение к проблеме времени. Она решается или дуалистически или монистически. В первом случае временному бытию противопоставляется вневременное, как нечто иное и запредельное, не знающее ни прошлого, ни будущего, ни настоящего, вечная жизнь, которой чужда смерть и разрушение, подлинная реальность, пребывающая в неизменном тожестве и совершенстве. Это взгляд — отрешенной от жизни религиозности, путь трансцендентный. В пределах земного существования признается неограниченное господство времени

и смерти, и только переход в иной план бытия сулит человеку избавление от проклятия временности и роковых ее последствий. Перед лицом чаемой вечной жизни — земное временное существование превращается в ничто; центр тяжести человеческой жизни переносится целиком за его пределы. Ярче всего эта отрешенная религиозность (не чуждая и христианству) выражена в буддизме. «Нирвана» есть ничто, потому что она — отрицание земной жизни. Но жизнь эта подвластна времени, обречена страданию и тлению и потому сама есть смерть, небытие. А стало быть и в Нирване на самом деле отрицается не жизнь, а смерть (временность) — не бытие, а небытие, и блаженство ее есть блаженство освобожденной от кошмара времени и небытийности жизни. — Однако, трансцендентный путь отрешенной религиозности, по существу не преодолевает времени именно там, где оно господствует, т. е. в земном бытии, а утешает лишь указанием, что власть времени не неограниченна, что есть и бытие, не подвластное ему. Но простое отрицание эмпирической жизни и ее ценности не может ее уничтожить, оно не может даже превратить ее в приготовление к смерти, по крайней мере для человечества в целом. Да и само религиозное сознание не мирится с полной отрешенностью от жизни; оно требует не отрицания ее, а усовершения и преображения, и притом не только в будущем, по исполнении времен, но именно теперь, в каждый отдельный момент ее временного бытия. И земная жизнь должна стать подобием, отблеском совершенной Божественной Жизни. А это возможно только через преодоление временности в самом времени и обнаружение в его ирреальности подлинно реальной основы. Такое решение намечает второй имманентный путь, который, не отрицая противоположности эмпирического и иного (метафизического) бытия, все же исходит из признания их сущностного, первичного единства. О нем мы и будем говорить; и притом лишь в применении к европейскому и евразийскому миру: как его понимает современный человек, какое значение это понимание имеет для жизни современной культуры, и в особенности для отношения человека к своему собственному *телу*.

III.

Но отдадим себе сначала ясный отчет в том: что собственно значит: преодолеть временность в пределах самого времени? Ведь естественный механизм времени человеку неподвластен. Время всегда останется временем. Неустранима его необратимость, неустранимо и распадение протекающей в нем жизни на прошлое, настоящее и будущее. Значит, говорить можно лишь о преодолении разрушительных действий временности, отнимаю-

щей у жизни ее реальность и ценность и превращающей ее в одну лишь видимость жизни, в бытие самого небытия... Другими словами: в свойствах самой временности должны быть обнаружены такие потенции и силы, которые были бы способны не только парализовать ее разрушительные действия, но могли бы быть использованы для созидательной работы, для устроения и строительства самой жизни. — И такие силы и потенции действительно есть; они заложены в самой природе человеческой жизни, в присущей ей «органической» структуре. В самом деле: пока мы просто, наивно изживаем свою жизнь изо-дня в день, пока мы целиком погружены в нее со всеми ее периодически повторяющимися отправлениями, пока мы поглощены злободневными делами, хлопотами и заботами, мы не замечаем самого времени; оно воспринимается и переживается нами как-бы прикровенно, вместе с самим процессом жизни и внутри него. И только тогда, когда это нормальное изживание чем либо нарушается: когда задерживается удовлетворение потребности или желания, когда какое-нибудь событие наступает несвоевременно, нарушая этим нашу работу и наши планы, когда наша деятельность не совпадает с темпом окружающей жизни, когда не исполняются намеченные нами сроки, или мы почему-либо обречены на бездействие, и наша жизнь утрачивает свою естественную полноту и заполненность, или, наконец, когда умирает или гибнет то, что входило в наше существование как неотъемлемая его часть и ценность; — только тогда временность выступает неприкрыто перед нашим сознанием и впервые воспринимается и переживается как нечто наличное и в себе существующее или бывающее. Но само по себе это восприятие времени еще слепо, безотчетно, оно не несет в себе знания времени. Внезапно вспыхнув, оно может столь же внезапно исчезнуть, утонуть в потоке переживаний непосредственной обыденной жизни.

Чтобы стать зрячим, чтобы развернуться в отчетливую интуицию и утвердиться в сознании, как самостоятельное и особливое содержание, оно должно высвободить внимание из под власти непосредственных жизненных нужд и интересов, и заставить его отдаться ему одному, восприятию самой временности. Только тогда и обнажается природа временности со всей присущей ей антиномичностью и загадочностью. Правда, жизненный процесс своей внутренней диалектикой сам выводит сознание за свои собственные пределы, чем и наталкивает его на интуицию временности. Однако, пока он еще сохраняет свою первоначальную непосредственность, скрытое в самом изживании жизни безотчетное ощущение времени существенно иное: оно не знает распада жизни на прошлое, настоящее и будущее; в нем живо сознание непрерывности жизни, непрерывного перехода каждого мгновения в следующие за ним, и только на

фоне этого непрерывного единства вырисовываются укорененные в нем отдельные моменты, относимые к прошлому, настоящему и будущему. — Всякая деятельность или работа, всякое занятие *длится*, т. е. проходит через множество моментов и потому в процессе своего осуществления захватывает прошлое, настоящее и будущее. Оно имеет начало, середину и конец. Когда оно началось, начало его уже в прошлом; но не только в нем: оно сохраняется и в настоящем и делает возможным продолжение работы или деятельности. И только потому что настоящее основывается на прошлом и включает его в себя, работа спорится, движется вперед, приближается к завершению. Но конец ее еще в будущем. Значит: работа идет так, как должна итти, она выполняет свою задачу, свою цель, поскольку настоящее направлено на будущее, его предвосхищает и, предвосхищая, подготовляет его осуществление. Стало-быть настоящее живет предварением будущего и им осмысляется. Но не только настоящее, вместе с ним осмысляется будущим и прошлое. Ведь и начало имеет в виду — продолжение и конец или завершение деятельности. И лишь для того, чтобы могло быть продолжение, чтобы был достигнут конец, оно стало началом. Поэтому и прошлое, сохраняясь в настоящем, предваряет будущее; так же как и будущее, направляя и осмысляя настоящее, тем самым накладывает свою печать и на прошлое. Итак: всякая деятельность, всякая работа, осуществляясь, объединяет прошлое, настоящее и будущее в одно смысловое целое: и благодаря этому смысловому объединению моменты времени не только переходят друг в друга в процессе непрерывной смены, но и взаимно проникают один в другой; это значит: взаимоопределение совершается не только в поступательном направлении от прошлого к будущему, но и в обратном — от будущего к прошлому. Так же как прошлое через настоящее зачинает и растит будущее, так же и будущее в предвосхищении своем оформляет через настоящее прошлое. Правда, всякая работа или деятельность может быть прервана или прекращена еще до своего завершения; тогда у нее нет уже настоящего, и будущее ее так и остается лишь неосуществившейся в действительности возможностью. Но это не значит, что этим уничтожена связь его с прошлым, установленная самим смыслом деятельности. Неосуществленность будущего означает и незавершенность прошлого. Поскольку же прошлое завершено и не требует своего завершения в будущем, постолько нет и самого объединяющего их смысла деятельности. Отсюда ясно: то скрытое, еще самостоятельно не выявленное ощущение времени, которое заложено в непосредственном изживании какой-либо деятельности, определяется смысловым единством этой деятельности: оно связывает прошлое, настоящее и будущее в единое целое процесса, в котором они, как необходимые его

моменты, взаимно друг друга обусловливают; в качестве моментов этого процесса они поэтому все равноценны и равнозначительны. Ни одному из них не принадлежит первенство. Нельзя, например, говорить, что будущее главенствует над прошлым и настоящим, как направляющая и определяющая их цель. Определяющее и осмысливающее начало не будущее, а целое процесса. И будущее может восприниматься как руководящая цель лишь потому и в той мере, в какой оно замещает собою это целое процесса и говорит от его имени. Но и прошлое и настоящее не имеют перед будущим преимущества в смысле реальности. В прошлом отлагаются уже осуществленные фазисы целого процесса; настоящее — являет актуальный момент его осуществления. И здесь и там не только ценность, но и реальность каждого момента обусловлена его соотнесенностью к целому процесса. Таким образом во всякой осмысленной деятельности, т. е. во всякой деятельности, запечатлевающейся в тех или других результатах или достижениях, отрицательные характеристики времени приобретают положительное значение: время не разрушает, а напротив созидает. Его необратимость, неповторимость каждого из его моментов означает лишь поступательное движение самой созидательной деятельности: каждый момент вносит в общий итог нечто новое, нечто свое, чего не может дать ни один другой момент. Наконец, и реальность жизни не только не уничтожается, а наоборот утверждается в процессе этой творческой деятельности. Ибо реальность каждого ее момента обеспечена и обоснована вхождением его как неотъемлемого элемента в состав целого процесса. Конечно, отрицательные стороны временности немедленно сказываются, как только созидательная деятельность наталкивается на препятствия, которые или совсем ее приостанавливают или нарушают ее внутренний ритм; выступают они и в том случае, когда я выхожу за пределы занимавшей меня деятельности, т. е. когда, очнувшись от погруженности в нее, я вдруг замечаю, что из-за нее мною упущены из виду другие существенные стороны жизни, и что упущенного мне уже не исправить и не наверстать. Тем не менее, самая природа творческой (производственной) деятельности уже открывает путь для принципиального преодоления этой дурной временности в пределах самого времени: необходимо лишь заложенное во всякой созидательной деятельности изживание времени осознать и поднять до уровня руководящего сознательной жизнью начала; иначе говоря, нужно всю жизнь в целом обратить в такую созидательную деятельность, или вернее в совокупность таких деятельностей, взаимно обусловливающих и дополняющих друг друга и объединяемых в одно систематическое целое единством высшей жизненной цели. Такая организованность жизни в эмпирии достижима, конечно, только с

большим или меньшим приближением. Но это нисколько не умаляет ее исключительного практического значения. Во всяком случае ясно: чем организованнее жизнь, чем совершеннее иерархический строй определяющих ее деятельностей, чем лучше приспособлены ее внешние условия к внутренним и внутренние к внешним, тем больше парализуются и преодолеваются разрушительные тенденции времени. На началах такой организации зиждется культура. Всякая культура составляет особую, т. е. построенную на особом принципе организацию разных сторон и деятельностей человеческого бытия. То, что ее чеканит и оформляет, есть прежде всего этот преодолевающий дурную временность организационный принцип, т. е. культурный труд. Чем выше культура, тем глубже она захватывает своей организацией индивидуальную и социальную жизнь, общественность и политику, быт и воспитание, интеллектуальную и художественную деятельность, нравственное и религиозное делание человека. Культурный труд характеризуется прежде всего не сохранением уже приобретенных, а накоплением новых благ и ценностей. И только процесс накопления нового обеспечивает и сохранение (или восстановление) старого.

IV.

Мы видели: аспект времени, характерный для культурного труда, обусловлен погруженностью человека в отправляемую им деятельность, изживанием ее внутреннего смыслового единства. А погруженность эта значит — сосредоточенность сознания на том, что порождается и производится самой деятельностью, на ее произведениях и результатах. Произведения же и результаты представляют в своем завершении всегда те или другие объективные блага или ценности, продолжающие так или иначе существовать и по прекращении породившей их творческой деятельности. Совокупность или вернее система этих благ и ценностей и есть то, что принято называть *объективной* культурой, противостоящей как нечто самостоятельное субъективной культуре, т. е. созидающей эти ценности деятельности и вообще самому изживанию культурной жизни творящими ее субъектами. Мы можем поэтому формулировать наш тезис еще так: аспект времени, присущий культурной деятельности, отличается тем, что в нем субъективная сторона культуры ориентируется на объективную. Культурная деятельность учитывается и оценивается здесь по ее объективным результатам и достижениям. (Все это применительно к европейскому пониманию культуры).

Служение объективной культуре — вот тот критерий, ко-

торым измеряется ценность жизни индивида; и не только индивида, но и общества и народа. Лишь в той мере, в какой он служит культуре, т. е. обогащает ее новыми ценностями, за ним признается и право пользования благами культуры. Таким образом, культурный труд, благодаря направленности на объективные свои результаты, приобретает некоторую абсолютную самодовлеющую ценность; между тем, как для того, что не есть труд и не связано с ним (например, отдых, развлечение) требуется в глазах общественного мнения еще особое оправдание. Но это подчинение субъективной культуры объективной сказывается еще и в другом отношении. Субъективная культура, по крайней мере, в индивидуальных своих проявлениях, ограничена пределами индивидуальной человеческой жизни. Для объективной же культуры эти пределы, хотя и могут существовать, но во всяком случае несущественны. Чем дальше она развивается, тем больше она перерастает субъективную культуру. Не только смерть отдельного индивида, но и гибель создавшего ее народа по существу ее не затрагивает. Она продолжает существовать и при другом субъекте. Напротив, субъект культуры, все равно будет ли это индивид или народ, может преодолеть ограниченность своего исторического существования и увековечить себя лишь в созданных им объективных ценностях. Участие в культурном делании упраздняет обособленность индивидуального бытия, включая его в те или другие сверхъиндивидуальные жизненные объединения и организации, весь строй и значение которых определяется исключительно тем, что они вносят в сокровищницу объективной, предметной культуры.

Но этим дело не ограничивается. Внутреннее развитие культуры, основанной на труде, приводит не только к тому, что субъективная ее сторона целиком ориентируется на объективную, но и к тому, что сама субъективная культура, самый дух, ее творящий и созидающий, до известной степени опредмечивается, претворяется в некоторое предметное объективное бытие. Всякая культура предполагает традицию; только благодаря традиции прошлое продолжает жить в настоящем. Но как осуществляется конкретно эта живая связь настоящего с прошлым? Традиция хранится в памяти, но не как простое воспоминание, которое каждый отдельный индивид по своему усмотрению может беречь или предать забвению, а как противостоящая ему реальная величина, являющаяся исходным пунктом его жизнедеятельности, той незыблемой основой, которая в самом главном и предопределяет общий ее строй и направление. Стало-быть уже в традиции прошлое приобретает объективный характер. Но этого еще недостаточно. Для прогресса культуры требуется, чтобы процесс объективации прошлого не остановился на этой ступени, еще зависящей от субъективных усло-

вий, а дошел до своего конечного предела, т. е. завершился претворением прошлого в предметное, материальное бытие в полном смысле слова, в совокупность *вещей*, ничем уже не связанных в своем существовании с производителем и обладающих своей собственной независимой от субъекта жизнью. В самом деле, все, что определяет и обусловливает жизнь и деятельность культурного человека, — окружающая его обстановка, орудия, которыми он пользуется, средства передвижения и сообщения, книги, газеты, художественные произведения, наконец и сами учреждения социальной и политической жизни — все это не только внешние продукты культурной деятельности прошлого, но его органические порождения, в которых овеществился его творческий дух и в которых он продолжает жить в скрытой потенциальной форме. Эта жизнь прошлого, которую являют нам вещи и учреждения, обычно остается вне поля нашего сознания. Вещи для нас — прежде всего — только вещи, годные или негодные для употребления. И чем они нам привычнее, тем менее ощутима для нас скрытая в них разумность. Бывают, конечно, случаи, когда овеществление прошлого приводит к отчуждению его от настоящего и в конце концов к полному его забвению. Тогда наступает перерыв в самой традиции, который всегда отражается болезненно на самой культуре и нарушает ее органическое единство. Но в нормальных условиях — связь с традицией не теряется; она сразу оживает, приобретает актуальность, как только вещи перестают для нас быть исключительно предметами практического употребления и у нас появляется или теоретический интерес к их истории, их происхождению или же желание создать, воспроизвести их собственным трудом. В таком случае настоящее или просто повторяет прошлое или же делает его исходной точкой для собственного творчества.

V.

Однако, наряду с процессом овеществления духа, сопровождающим развитие культуры, намечается и обратный процесс (особенно в европейской культуре) *развеществления* или вернее *обнажения* духа. И только в результате взаимодействия этих двух процессов выявляется с полной отчетливостью противоположность между объективной культурой (т. е. всей ее предметной и вещной наличностью) и созидающим ее субъектом — интеллектом или духом. Противоположность эта возникает в сознании самой культуры сравнительно поздно. Первобытному человеку она совершенно чужда, его представления о «духах» — совершенно иного порядка и не связывают-

ся с противоположением их материальному миру. И это вполне понятно: в первобытной культуре нет еще основного условия этой противоположности: той самостоятельности объективной стороны культуры, которой она достигает только на более поздней стадии своего развития. Первобытный человек в борьбе за существование, в утверждении и устроении своего бытия полагается гораздо больше на выносливость и сопротивляемость своего тела, на ловкость и силу рук и ног, на остроту слуха и зрения, чем на те скромные технические средства (орудия производства, защиты, нападения), которыми ему удалось обставить свою жизнь. Главный и почти единственный источник всех его технических возможностей, т.е. возможностей воздействия на внешний мир и властвования над ним—это его *тело*; и тело поэтому является здесь подлинной основой объективной культуры. Тело человека не противостоит ему как весь остальной телесный мир; входя в состав внешнего мира, оно вместе с тем принадлежит самому субъекту, образует неотъемлемую его часть и потому выполняет роль посредника между ним и окружающим внешним миром. Пока объективная культура еще сосредоточена в человеческом теле и ограничивается преимущественно приобретенными им способностями, навыками и умениями, она не обособлена от самого субъекта культуры, она остается при нем, не отрываясь от его бытия, как отрываются все те орудия и вещи, которые он выделывает для жизненных надобностей. И не иначе, чем материальная, техническая сторона культуры, сохраняет непосредственную связь с субъектом и духовная ее сторона. Она живет в переходящем от поколения к поколению предании, в обычаях, нравах, в быту, в культе в языке, словом, во всем том, что усвояется естественно каждым отдельным индивидом и неизбежно становится его собственным кровным достоянием. Итак: в этой первичной, мало еще дифференцированной стадии развития вся объективная культура умещается в пределах тех возможностей, которые заложены в психо-физической организации самого субъекта; и потому она целиком ему подвластна. Сообразно с требованиями настоящего он может в каждый момент собственными силами актуализовать и использовать любую из этих возможностей, не нуждаясь для ее осуществления в какой-либо внешней помощи. В этом смысле первобытный человек довлеет себе (конечно, лишь в привычной для него обстановке); он всегда во всеоружии своих культурных умений и знаний. И поэтому его культура вся актуальна, вся в настоящем.

Процесс дальнейшего развития культуры характеризуется тем, что тело (т. е. психо-физический организм) постепенно утрачивает свое господствующее положение в объективной культуре; правда, оно не может быть из нее совершенно устра-

нено—иначе прервалась-бы связь между субъективной и объективной культурой,—но сфера его непосредственного действия все более и более суживается и постепенно доводится до минимума. Функции тела в значительной мере переходят на объективную культуру в строгом смысле слова, т. е. на совокупность тех вещей, орудий и организаций, которые возникают в меру роста и дифференциации материальной базы человеческого бытия. Первоначально во всякой работе, во всяком действии руке принадлежит решающая роль; орудие лишь «вооружает» ее, т. е. восполняет и усиливает ее движения и действия. Впоследствии ее функция исчерпывается тем, что она приводит в движение заменившую ее машину, которая не только количественно, но и качественно бесконечно превосходит ее умение и способности. И та же участь постигает и все остальные члены и органы тела, через которые человек общается с внешним миром и воздействует на него. И ноги, и органы чувств, и речь человеческая либо совершенно выключаются из процессов, осуществляющих культурную жизнь и культурное производство, или же уступают бóльшую и главную часть работы самым разнообразным техническим орудиям и приспособлениям. Мало того: такой-же материализации (овеществлению) подвергается в значительной мере даже психическая деятельность человеческого организма. Живая память разгружается письменностью, книгой; или-же заменяется фотографической пленкой, пластинкой фонографа. А там, где мертвые вещи не могут взять на себя функции живого человека (его организма), это делают общественные и политические учреждения и организации, обладающие не менее объективным и не менее независимым от отдельного индивида бытием, чем материальные вещи.

Однако, постепенное уменьшение удельного веса тела в жизни объективной культуры вызывается не только тем, что непрерывно ускоряющийся рост культуры и осложнение ее структуры предъявляет к телу такие требования, которые бесконечно перерастают все его возможности; процесс сужения его сферы действия и влияния идет еще и по другой линии, определяемой дифференциацией и спецификацией самого культурного труда. От всякого ремесленника требуется известное умение, известная ловкость рук и меткость глаза. Но это умение сводится к соразмеренности и целесообразности строго ограниченной группы движений, необходимой для отправления именно данного ремесла. Все остальные потенции тела при этом не актуализуются; они остаются неиспользованными, потому что не находят себе профессионального применения. Чем более ручной труд заменяется машинным, тем более суживается сфера специфически-профессиональных функций тела, тем более упрощается система движений, необходимых

для управления той машиной, которая взяла на себя роль работника-профессионала. Часто она исчерпывается простым нажатием на кнопку или поворотом рычага. И если первоначально орудия производства должны были приспособляться к человеческому телу и его организации, то впоследствии движения тела должны приспособляться к самодовлеющей в своем бытии машине. Таким образом центр тяжести объективной культуры переносится целиком в независимый от субъекта мир вещей; роль тела низводится до чисто служебной и притом внешней функции, не определяющей собою ни существа, ни структуры культурного труда. Особенно ясно видно это по тому, как меняется отношение между телом и созидающим культуру интеллектом (умом). У первобытного человека ум разлит по всему телу, по всем его членам и внешним органам. Для человека ремесленника достаточно обладать «умной» рукой, «умным» глазом. От носителя и деятеля современной культуры меньше всего требуется телесного ума. Ум его сосредоточивается в двух полярных точках: в сознании (или физиологически в сенсорных центрах головного мозга) и в созидаемых им вещах. В строе современной европейской культуры силы и способности тела отодвинуты на задний план; они остаются вне поля зрения ее актуальных интересов. Лицо ее определяется прежде всего обнаженностью интеллекта. Именно этой обнаженности он обязан своей властью над окружающей природой и способностью со все возрастающим совершенством воплощать начала разумности и целесообразности в мире материальных вещей и явлений.

Овеществлению объективной культуры соответствует как необходимый коррелат такое-же развеществление самого субъекта культуры, т. е. отрыв, обособление разума от тела. В жизни современности материализм и отвлеченный идеализм [1]) проистекают из одного и того-же источника и являют два взаимно дополняющих один другой аспекта одной и той-же жизненной установки. И потому вполне естественно, что и в философском сознании современности ни одно из этих течений не может вытеснить другое и во внутреннем своем развитии неизбежно переходит в свою диалектическую противоположность. Материализм точных наук растворяет в конечном итоге весь материальный мир в идеальную систему функциональных связей и закономерностей; а с другой стороны, противостоящий ему идеализм ориентируется в понимании реальности прежде всего

1) Это — спиритуализм или идеализм, по происхождению и по основным своим мотивам в корне отличный от спиритуализма или идеализма античности, как он проявился, напр., ярче и полнее всего в Платонизме (об этом смотри ниже).

на бытие мертвых материальных вещей. Ибо разум, который, согласно Канту, диктует природе свои законы, это именно обнаженный разум — строитель объективной вещной культуры.[2]) Весьма знаменательно также, что тело как культурная сила не составляет актуальной проблемы для современного европейского научного и философского сознания, по крайней мере — не составляло таковой до последнего времени. Оно довольствовалось теорией психо-физического параллелизма, теорией, которая, по существу, или совсем не дает решения проблемы взаимоотношения души и тела или же преподносит в прикрытом виде самую наивную материалистическую метафизику. Да и в самой культурной жизни—тела обычно не замечают, т. е. замечают только тогда, когда оно является источником страданий и заболеванием нарушает нормальное течение жизни и культурного труда. Забота о нем выражается поэтому почти исключительно в лечении его недугов, т. е. в устранении тех физических и физиологических причин, которые вызывают его заболевания, в лучшем случае в мерах профилактических, в создании благоприятных внешних условий. Девятнадцатый век был веком расцвета медицины; под водительством медицины постепенно стала развиваться и гигиена. Но чего, до последнего времени, совершенно не знала новая европейская культура, — несмотря на настойчивые требования теоретической педагогики,—это физической культуры в настоящем смысле, т. е. воспитания тела, планомерно дисциплинирующего и организующего его *живые силы*. На тело привыкли смотреть только как на материальную вещь, на сложный созданный самой природой механизм, доступный так же, как и материальный мир, внешним воздействиям и влияниям. Несмотря на все успехи биологии и физиологии, тело стало для современного европейца чем то чужим, малопонятным и вероятно он утратил бы всякую интимную близость к нему, если бы о требованиях тела не напоминали ему голод, болезни, усталость и половой инстинкт (т. е. преимущественно явления отрицательного порядка).

Правда, на первый взгляд может показаться, что отчуждение от тела, связанное с непрерывно прогрессирующим сужением и умалением его роли в культурной жизни, знаменует собой освобождение человека и его жизненных возможностей от тех стеснительных рамок, в которые ставит его ограниченность сил и способностей человеческого тела, и поэтому является необходимым условием всякого культурного прогресса. Это,

2) Односторонне - интеллектуалистический характер европейского образования и воспитания обусловлен в значительной мере (и независимо от влияния античных традиций) этой обнаженностью и отвлеченностью интеллекта-строителя.

конечно, верно, поскольку речь идет о пределах власти человека над внешней природой, о возможности подчинения ее потребностям и интересам культуры. Но при этом совершенно забывают, что эта власть и эта свобода покупаются очень дорогой ценой: полной зависимостью человека от объективной культуры и совершенным бессилием и беспомощностью перед собственным телом.

VI.

Зависимость от объективной культуры сказывается в двояком отношении. Во-первых, она—необходимое последствие того преобладания объективной культуры над субъективной, к которому привело внутреннее развитие европейского мира. В настоящее время не предметная культура служит человеку, а человек предметной культуре. Участие в культурной жизни определяется участием в культурном труде, в созидании объективных культурных ценностей. Каждый европеец, прежде всего, специалист, профессионал, и профессией его, его профессиональными качествами и достоинствами обусловлено его положение в обществе, его репутация, влиятельность и слава. Профессия кладет отпечаток на весь его жизненный строй, его привычки и повадки, его внешний вид, его вкусы и интересы. И в профессии поэтому «средний» человек теряет самого себя, свое индивидуальное лицо. Его знают, ценят и уважают, прежде всего, как врача, адвоката, техника, коммерсанта, и эта оценка личности в конце концов усваивается и им самим. Профессиональная оболочка не только заслоняет его подлинное лицо, его нутро, но даже замещает его, т. е. сама обращается в средоточие его личности.

В связи и параллельно с этим совершается и другой процесс. Индивидуальное бытие культурного работника, как личности, утрачивает все более свой самодовлеющий характер. Чем дифференцированнее культура, чем дальше и глубже в ней идет специализация, тем более уменьшается и самостоятельность каждого отдельного культурного работника, его способность, собственными силами, создать, что-либо цельное и в себе законченное; [3]) на каждом шагу он вынужден пользоваться услугами других специалистов и с их деятельностью сообразовывать свою собственную. А в меру того, как он зависит от сотрудничества других, он зависит и от овеществленной (материализованной) культуры, т. е. от всех орудий и приспособлений, необходимых для его работы, и от той внешней об-

3) Исключение представляет конечно художественное творчество, но оно менее всего характеризует культурную жизнь и культурное делание в целом.

становки, которая делает ее возможной. Разгружая тело и психику, т. е. всю психо-физическую организацию от непосильной для нее работы, человек заряжает своим умом, своими знаниями и умениями созидаемую объективную вещную культуру. Правда, эта накопленная в вещах духовная энергия сама по себе пребывает в потенциальном виде; она как бы демобилизована и скована косностью воспринявшей ее материи. Она оживает и снова актуализуется лишь тогда, когда приходит опять в соприкосновение с живым не опредмеченным субъективным духом. Но эта мобилизация овеществленного интеллекта, — несмотря даже на все усовершенствования современной техники, преодолевающей не только пространственные, но и временные расстояния, — не есть дело мгновения, одного импульса воли, а требует времени, требует рассчета и зависит от целого ряда внешних условий, неподвластных или лишь частично подвластных личной воле индивида. Человек современной культуры менее всего может про себя сказать: *omnia mea mecum porto*. Ему не свойственно и обыкновенно даже недоступно состояние полной мобилизованности своих сил (органических и духовных). Наоборот, сама мобилизация этих сил становится особым культурным актом(трудом), который так же как всякий другой культурный акт «длится», осуществляется во времени, в некоторой последовательности отдельных моментов. Готовность к делу означает для современного человека — не столько напряженность и сосредоточенность воли и интеллекта, сколько внешнюю приготовленность, т. е. возможность актуализовать силы прошлого, накопленные в вещной культуре, и при помощи этого прошлого предопределить будущее. Поэтому и жизнь культурного труженика, — а таким и является по преимуществу современный человек — никогда не сосредоточена в каком нибудь определенном моменте; она необходимо размещается и растекается во времени, в последовательности обусловливающих друг друга моментов. Менее всего она пребывает в настоящем; она в будущем или в прошлом *для* будущего. Настоящее для нее означает лишь актуальность или непосредственную реальность непрерывной связи между прошлым и будущим. А погруженность жизни во временную процессуальность, размещенность ее целостности в ряде последовательных моментов вырабатывает у современного европейца совершенно особый склад ума: мы уже видели, что это ум «обнаженный», освободившийся от своей органической и биологической обусловленности. Но именно эта обнаженность ставит его актуализацию в зависимость от времени. Его основа и исходная точка — прошлое. Он подводит итоги; и на итогах прошлого вычисляет будущее. Это ум «задний», властвующий над прошлым; но вместе с тем и упреждающий и через прошлое под-

чиняющий себе будущее. Менее всего он останавливается на настоящем; он лишь проходит через него в своем непрерывном движении от прошлого к будущему и от будущего к прошлому. А потому в ситуации, не укладывающейся в рамках мерно развивающегося культурного труда, когда настоящее не довольствуется скромной ролью переходного момента, а предстает, как решительное и грозное «вот теперь», и вне всякого отношения к прошлому или будущему, ум культурного работника теряется. Он боится всего неожиданного и непредвидимого — а таким именно является настоящее, которое есть только настоящее — и старается по мере сил устранить его из своей жизни путем тщательного и точного учета всех реальных возможностей. А там, где такой учет невозможен, где неожиданности неизбежны, он предпочитает в сознании своего бессилия о них не думать и их не замечать. Особенно ясно это сказывается в отношении к смерти. Вопрос смерти — это для среднего европейца или вопрос завещания, забота об обеспечении своей семьи, о будущем своего дела, своих идей и проектов. Или это вопрос о продлении жизни, об омоложении. Но ни в коем случае не вопрос о последнем «теперь», о предельной ситуации жизни.

Однако, не одностороння ли эта характеристика современного культурного ума? Не упускает-ли она из виду как раз одну из наиболее типичных особенностей современности, отличающую ее существенно от всех предыдущих эпох? Разве для современного человека не характерно именно то, что он по настоящему *дорожит* временем, и что он так научился учитывать фактор временности, как этого не умела ни одна из прежних культурных эпох? А искусное учитывание времени как будто влечет за собой и умение пользоваться каждым актуальным моментом и претворять в действительность заложенные в нем потенции. Именно в сосредоточенном внимании к настоящему, актуальному и в способности властвовать над ним, казалось-бы, существенная особенность того американизма, который все более овладевает всем ритмом культурной жизни и проникает во все ее области. А кроме того: если в нашей характеристике и есть доля истины, не относится ли она исключительно к теоретическому человеку, к кабинетному ученому, далекому от настоящей жизни, т. е. к типу, правда, довольно распространенному и в наше время, но все же принадлежащему уже прошлому и постепенно вытесняемому даже в ученом мире новым более почвенным, более близким к непосредственной живни типом? — На все эти вопросы и возражения мы можем ответить встречным вопросом: что собственно значит это учитывание настоящего? И во имя чего оно делается? Ясно, — что во имя того же будущего, вернее того же культурного труда,

который вообще определяет собой отношение современного человека к времени. Учитывание настоящего всегда служит рассчету на будущее. Оно означает—более экономное целесообразное распределение работы во времени, повышение интенсивности культурного труда, ускорение его темпа. Т. е. это разница количественная, не меняющая по существу отношения к времени и в особенности к настоящему в его непосредственной реальности, к настоящему, не подчиненному служению объективной культуры. Правда, эта количественная разница не остается только количественной, она неизбежно вносит и в самый строй культурной жизни значительные изменения, так или иначе отражающиеся и на всем психо-физическом складе современного человека. Ускорение темпа жизни приводит, так или иначе, к внутреннему кризису культуры, который, как мы увидим дальше, подготовляет иной подход, иное отношение к времени, или создает по крайней мере для такого (нового) подхода благоприятную почву. Но не больше. Учет настоящего момента, как необходимое условие рациональной организации культурного труда, служит тому же преобладанию объективной культуры над субъективной, под знаком которой проходит вся жизнь современной Европы. А поэтому тот склад интеллекта, одно из типичных проявлений которого есть «задний» ум, характеризует не только теоретика, кабинетного ученого, но вообще современного человека. Известная доля теоретичности ему всегда присуща, хотя бы он с головой ушел в практическую жизнь. Не в смысле созерцательности ума, а в смысле той его отвлеченности или обнаженности, о которой речь была выше. Он всегда склонен подчинять свою деятельность, а тем самым и всю свою жизнь известным выработанным заранее на основании прошлого опыта общим планам и директивам (плановое хозяйство в жизни!). Тип теоретика отличается от типа практика прежде всего не своим отношением к прошлому, а тем, что в его сознании преобладает установка на *прошлое*; между тем как практик ориентируется на будущее. И если теоретика обычно характеризуют тем, что он живет вообще вне времени и рассматривает все *sub specie aeternitatis*, то таким возвышением над планом временности он обязан именно своей обращенностью к прошлому. Она открывает ему доступ к вневременности. Даже когда предметом его созерцания становится будущее, он не выходит за пределы своей основной установки: и будущее он видит как уже ставшее, т. е. в аспекте прошлого. Практик, наоборот, живет весь в будущем, ибо действует и работает во имя будущего и для будущего. Именно потому он и настоящему уделяет больше внимания, поскольку в нем точка приложения для воздействия на будущее. Ни в том, ни в другом случае за настоящим не признается самодовлеющего значения. И практик, и

теоретик — прежде всего культурные труженики; и будучи такими, они одинаково подвластны временности объективной культуры и ее строительства.

Итак, та установка интеллекта, которая видит в настоящем лишь актуальный момент культурного делания и подчиняет тем самым настоящее прошлому и будущему, составляет характерную особенность современного европейского сознания во всех его главнейших проявлениях. Она внутренне связана с преобладанием объективной культуры над субъективной. И самое яркое свое выражение она нашла в том культе труда, которым живет и питается нравственный пафос современности. Труд, разумный, организованный труд стал почти что синонимом культуры и человечности. Труд определяет ценность и смысл человеческого бытия. Но именно труд и требует жертвы настоящим во имя будущего, т.е. во имя созидаемой им объективной культуры. Этот культ труда не установлен, однако, впервые трудовым народом. Он — создание третьего сословия —буржуазии. Власть над миром, руководительство культурой она завоевала себе трудом. А потому и охарактеризованная нами концепция времени составляет существенную особенность, именно, европейской буржуазной культуры.[4])

VII.

Но вернемся к нашему основному вопросу. Все сказанное о современной европейской культуре должно было только показать, какой путь она избрала для преодоления дурной временности. Путь этот, ориентируя всю жизнь человека на культурный труд, подчиняет субъективную культуру объективной. Остается решить критический вопрос: действительно ли этот путь приводит к намеченной цели? Соответствует ли он самому существу культуры? Или же он связан с некоторым извращением ее смысла, извращением, которое может повлечь за собой внутреннее ее разложение и распад ее творческих сил? Действительно ли культурный труд является панацеей, избавляющей человека от зла дурной временности и сообщающей ее реальности прочный, нерушимый фундамент? В самом деле: чем вообще может быть оправдано господство объективной культуры над субъективной? Своим происхождением она обязана этой последней, да и в дальнейшем своем существовании, как

4) Социалистическая и коммунистическая культура в этом отношении находится в полной зависимости от культуры буржуазной. Она лишь возвела в абсолютный принцип ту оценку труда, которая была установлена этой последней («кто не работает, да не ест!»).

момент живой культуры, целиком от нее зависит. Сама по себе, в своем вещном бытии, она мертва или, вернее, жизнь ее, плененная оформленною ею же косной материей, пребывает в состоянии неподвижности и оцепенения. Она оживает только тогда, когда создавшая ее субъективная культура вновь вбирает ее в себя и заражает своей собственной жизнью. Только тогда, в непосредственной связи с субъективной культурой, она обретает актуальное бытие, т. е. реальность в подлинном смысле. А раз это так, то попытка обосновать реальность жизни на культурном труде, т.е. на подчинении субъективной культуры объективной, запутывается в ложном кругу. Ибо как обеспечить реальность жизни человека, основывая ее на том, что само заимствует свою реальность у субъективной стихии жизни! В терминологии Гегеля нашу мысль можно выразить еще так: объективная культура— это культура в своем инобытии. Чтобы утвердить себя и раскрыть свою сущность, она должна выйти из своего субъективного в себе бытия и объектироваться в вещной культуре. Но этим процессом объективации внутреннее развитие не может завершиться, и не в этом смысл ее развития. Как только она уходит целиком в свое предметное инобытие, в нем застывает, она теряет самое себя, свое лицо и умирает. Чтобы сохранить свои творческие силы, она снова должна вернуться к своему субъективному первоисточнику, из инобытия подняться на высшую ступень *для себя бытия*. Иначе говоря: инобытие культуры, ее объективация — необходимый момент в жизни культуры. Но только момент, утверждение которого необходимо требует его преодоления, его снятия в новом высшем моменте.

Правда, может показаться, что выход из этого круга открывает само понятие культурного труда. Именно культурный труд препятствует разрыву между субъективной и объективной культурой, объединяя их в процессе непрерывного творчества, непрерывного перехода от одной к другой. Представляя творческий синтез обоих моментов культуры, он не служит вне его лежащей внешней цели (т. е. объективной вещной культуре как таковой), а довлеет себе, являясь одновременно и средством и целью, т. е. *самоцелью*, оправдывающей и обосновывающей самое себя. Но этот выход — одна только видимость, возникающая потому, что мы, не отдавая себе ясного отчета в самом понятии культурного труда, неправомерно отождествляем его с понятием творчества. Между тем эти понятия далеко не совпадают. Хотя труд и предполагает, как последнее свое основание, творчество, но в конкретном своем бытии он на 90 процентов, если не больше, не есть творчество, а лишь осуществляет известные уже заранее установленные директивы и предначертания. Уже по одному этому он не довлеет себе, а служит чему-то иному,

вне его лежащему. А будучи зависим от внешней цели, он не может дать и настоящего внутреннего синтеза субъективного и объективного момента в культуре: синтез такой доступен только сознанию, способному воспринять культуру и постичь определяющий и организующий ее дух в ее целостном единстве. Между тем современный культурный труд носит почти исключительно строго профессиональный характер и приковывает сознание к ограниченной сфере профессиональных интересов, тем самым скорее препятствуя, чем способствуя постижению и усвоению культуры в целом. То, что им руководит,—всегда лишь та или иная область объективной культуры. А потому и подчинение жизни водительству культурного труда означает подчинение ее власти объективной культуры. И недоумение, о котором выше была речь, так и остается неразрешенным: как служение объективной культуре может обеспечить жизни человека настоящую реальность, раз объективная культура сама по себе этой жизненной реальностью не обладает?

Мы уже видели, какою ценою покупается это преодоление дурной временности. Настоящее становится моментом в процессе культурной деятельности, моментом равноценным и равнозначным прошлому и будущему. Это значит: оно должно поступиться своим качественным своеобразием, своей исключительной только ему присущей жизненной напряженностью; другими словами, чтобы уравняться с прошлым и будущим, оно должно пожертвовать как раз своей специфической реальностью!

Но не упустили ли мы в нашей характеристике временности, определяющей современное культурное сознание, один существенный момент, и притом именно тот момент, который обосновывает и обеспечивает реальность самой протекающей во времени жизни? это момент — завершения (труда). Ведь завершение — целиком в настоящем; и притом в настоящем, которое довлеет себе, которое не зависит от будущего и не ждет от него исполнения. Вместе с тем момент завершения не обособлен, не отъединен от прошлого. Напротив, завершая прошлое, он объединяет в себе и все предшествующие моменты труда и тем самым осуществляет и утверждает их настоящий смысл и реальность. А поэтому уже до завершения труда, в самом процессе его реализации, каждая отдельная фаза его, предвосхищая момент завершения, утверждается и удостоверяется в своей реальности. И наконец,— что особенно важно — объективной стороне завершения труда соответствует и его субъективная сторона. Объединяя собой все предшествующие моменты, момент завершения как бы вбирает их в себя, сосредоточивая в себе всю их энергию, и достигает благодаря этому какой-то исключительной напряженности и повышенной реальности. Он — итог жизни или периода жизни и как итог осуществляет

ее единство и цельность. Однако, слово «итог» выдает истинный характер этого настоящего. Если оно и независимо от будущего, то не потому что действительно довлеет себе, а потому что обращено исключительно к прошлому и прошлым-же определяется. В завершении прошлого весь его смысл и реальное значение. А реальность прошлого — в исполненной работе, в готовом объективно, «вещно» существующем ее результате — т.е. в объективной культуре. Стало быть, момент завершения не выводит за пределы той временности, которой живет культурный труд, и которая подчиняет его объективной культуре. А кроме того: далеко не всегда субъективная сторона момента завершения соответствует по своей значительности его объективной основе; и там, где это соответствие есть, оно случайно. Как часто сознание законченной работы, исполненного задания не сопровождается подъемом духа или повышенным ощущением реальности, как часто этот момент протекает даже особенно вяло и буднично, принося вместо ожидаемого удовлетворения разочарование и возбуждая тревожный вопрос: чем теперь заполнить жизнь?

VIII.

В этом вопросе обнаруживается с полной очевидностью, что ориентированием жизни на культурный труд дурная временность отнюдь не преодолевается, а лишь вытесняется из центра сознания или вернее заслоняется той работой или деятельностью, которая приковывает к себе наше внимание. Но стоит лишь этой работе прекратиться или же утратить свою привлекательность, свое значение для нас, и дурная временность сразу завладевает сознанием и проявляется как ощущение внутренней пустоты или скуки. Скука изобличает полное бессилие сознания перед дурной временностью. Мы скучаем, когда нам нечем заполнить пустую, однообразно текущую временность. Чтобы избавиться от скуки, необходимо отвлечься от самого себя и найти в окружающем мире то, что могло бы нас занять или развлечь; будь это дело (работа) или развлечение; и в том и в другом создается недосуг, т. е. такое состояние сознания, при котором внутренняя пустота делается незаметной. Обычно говорят, правда, что скучает только тот, кто не умеет заниматься, не способен к труду. Но этот взгляд на скуку не улавливает ее существа, ее внутренней связи с дурной временностью. Не по умению работать, а лишь по умению быть досужим можно судить о том, способен ли человек справиться со скукой. Скуке подвластен не только бездельник, убивающий время, но и труженик, весь смысл жизни которого сосредоточен в его работе. Стоит ему лишиться возможности труда, и

жизнь сразу становится для него пустой, бессодержательной. Досуг его тяготит, ему нужен недосуг. Но настоящее искусство жизни обнаруживается только в способности к досугу. Понимание этой истины, близкой античному мышлению и мудрости Востока, почти утрачено современной буржуазно-демократической культурой.

IX.

Итак, путь культурного труда, путь, подчиняющий жизнь объективной культуре, в конечном итоге оказывается несостоятельным: он не преодолевает дурной временности, а лишь скрывает ее от сознания человека. Но существуют ли другие пути, другие возможности разрешения этой основной проблемы человеческой жизни? — Мы видели, в чем коренной порок пути культурного труда, приводящий к безисходному тупику. Он не считается с исключительным значением настоящего, низводя его на один уровень с прошлым и будущим. Значит, если вообще возможно настоящее искусство жизни, преодолевающее дурную временность, то оно должно прежде всего основываться на правильном отношении к настоящему, на признании и утверждении его самодовлеющей реальности. Но что означает такое утверждение самодовлеющей реальности настоящего? Сводится ли оно к Горациеву «carpe diem», к уменью ловить момент? Формула эта многозначна и может быть истолкована по разному. Одного признания самодовлеющей ценности настоящего еще недостаточно. Самое главное в том, как понимать это настоящее.

Настоящее складывается из двух моментов: из некоторой внешней ситуации, зависящей от окружающей материальной и социальной обстановки; и из внутреннего состояния самого человека, которое определяется его настроенностью, его актуальными мыслями, интересами, потребностями, запросами и т. п. Значит, если взять настоящее просто как этот актуальный момент вне всякого отношения к прошлому и будущему, то искусство ловить момент должно было бы заключаться в умении извлекать из данной ситуации все необходимое для удовлетворения насущных именно теперь потребностей и стремлений. Но отвлечься при этом от всякой мысли о прошлом и заботы о будущем, — это значило бы отдаться пассивно течению самой жизни, отказаться от всякого воздействия на нее и поступать только так, как подсказывает настоящее мгновенье. Но что оно подсказывает? — Это зависит от случая; от случайных, ибо мною не регулируемых движений и желаний моей души, от случайного, ибо независимого от меня, стечения внешних обстоятельств, пробуждающих во мне именно этот, а не другой интерес.

Стоит только продумать эту возможность до конца, чтобы убедиться в ее призрачности. Исключительная забота о настоящем, отрешающаяся от прошлого и будущего, уже не забота, а скорее отказ от всякой заботы. Настоящее, оторванное от прошлого и будущего, само теряет свою подлинность и реальность. Быть только в настоящем это значит — не владеть им, а быть подвластным его случайным прихотям; это значит — дробить свою жизнь на ряд несвязанных между собой и как бы замкнутых атомов-моментов, из которых каждый довлеет себе и изживается мною вне всякого отношения ко всем остальным. А такое дробление жизни на отдельные самостоятельные моменты неизбежно уничтожает единство, а вместе с тем и реальность самой личности человека. Иначе говоря: исключительная направленность на настоящее обесценивает самое жизнь, разменивает ее на мелочи текущей минуты и не только не преодолевает, а, наоборот, еще усиливает, ощущение ее ирреальности.

Весьма показательна в этом отношении эволюция, которую проделал античный гедонизм. Он начал с утверждения самодовлеющей ценности настоящего; настоящее удовольствие, по учению Аристиппа, независимо от своей силы имеет предпочтение даже перед самым большим будущим удовлетворением, ибо только оно, как настоящее, обладает подлинною реальностью. Это — позиция, которая, казалось бы, подсказывается самым существом гедонизма. Однако, чем решительнее античный гедонизм пытался претворить свою теорию в практику и построить на ней искусство жизни, тем более он удалялся от своей первоначальной позиции, тем более склонялся к точке зрения, отрицающей самый принцип гедонизма. Этот новый мотив, в корне изменивший всю этику гедонизма, звучит уже ясно у самого Аристиппа: ἔχω, οὐκ ἔχομαι, говорил он о своей любви к гетере Лаисе; не страсть владеет мною, а я — страстью. Значит, счастье (евдемония) не в наибольшей сумме удовольствий, и, вообще, не в самом удовольствии; а в моем *отношении* к нему; и отношение это должно быть суверенным и свободным. Умеет жить не тот, кто отдается настоящему удовольствию и связан им, а тот, кто способен обойтись и без него, лишиться его, не теряя при этом своего внутреннего равновесия и спокойствия духа. Иначе говоря, внутренняя свобода и независимость — это основа евдемонии. Евдемония требует, прежде всего, самообладания; и только тот, кто обладает собою, обладает и удовольствием, т. е. тому доступна и ценность удовольствия. Таково учение эпикуреизма, завершившего собою внутреннее развитие гедонизма. И если Эпикур провозглашает высшим благом не удовольствие, а отсутствие страдания, то, прежде всего, именно потому, что в отсутствии страдания внутренняя свобода находит самое непосредственное и чистое выражение.

Отсутствие страдания не означает отсутствия зла, неудовольствия, боли, т. е. самих причин страдания. Ибо причины эти неподвластны человеку. Отсутствие страдания — состояние не пассивное, а активное; это внутренняя установка, возвышающая меня над страданием, т. е. не позволяющая боли, злу, несчастью стать *моим* страданием, меня наполняющим и мною владеющим. Беспечальность (отсутствие страдания) поэтому и есть основная черта внутренне свободной и самодовлеющей личности мудреца.

X.

Не будем, однако, углубляться в анализ того умонастроения, из которого вырос эпикуреизм. Для освещения нашей проблемы не существенно, какое содержание он вкладывал в идею самообладания и внутренней свободы; не существенна также связь этой идеи с античным интеллектуализмом и представлением о самодовлении личности мудреца. Для нас было лишь важно показать, как стремление выработать искусство жизни, преодолевающее всякое зло (а в том числе и дурную временность), привело эпикурейцев, так же как и стоиков, к началу *самообладания*, как совершенно особого телесно-душевного строя, в корне отличающегося от внутреннего строя обыкновенного человека, не владеющего этим искусством. Главнейшая особенность этого строя в том, что его действенность не зависит от временной длительности. Дух, обладающий им, не разбросан во множественности моментов, не рассеян во времени, а сосредоточен, собран весь в каждом актуальном моменте. Он весь мобилизован в настоящем. И из этой собранности и мобилизованности в настоящем проистекает его решимость и готовность встретиться с любой ситуацией, не повиноваться ее внушениям, не поддаться ее натиску, а *овладеть* ею и во власти над ней проявить свои собственные потенции и возможности. Это и есть то, что в обычной речи называют «*присутствием духа*». Сам по себе душевный строй, из которого рождается присутствие духа, носит чисто «формальный» характер, он не связан с каким либо определенным содержанием или направлением жизни. Он встречается в самых разнообразных видоизменениях и проявляется в самых различных жизненных планах. Он может быть результатом воспитания, внутренней дисциплины, но может быть и преимущественно прирожденным свойством душевно-телесной организации. Присутствие духа обнаруживает тот, кого ничто не может застать «врасплох»; будет ли это просто та или другая неожиданная, непредвиденная им ситуация, сбивающая все рассчеты и вынуждающая к какой-то новой непривычной установке на действительность,

к совершенно новому образу действий; или же настоящая опасность, требующая необычного, быть может даже предельного напряжения душевных и телесных сил. Застигнутый врасплох «теряется». Растерянность его вызывается не только неожиданностью наступившей ситуации; но и сознанием своей беспомощности перед ней. Необходимо действовать немедленно, но потеряв ориентацию, он не знает, *как*? В растерянности есть поэтому помимо испуга и некоторый момент боязни — не найти выхода из создавшегося положения; боязни, парализующей или по крайней мере понижающей всю психо-физическую дееспособность человека. Чтобы проявить присутствие духа, однако, недостаточно избавиться от растерянности; т. е. превозмочь оцепенение испуга и суетливую беспомощность боязни, притти в себя, вернуть себе внутреннее равновесие и спокойствие духа; хладнокровие и бесстрашие лишь *необходимые* отрицательные условия настоящего самообладания, они не обеспечивают еще способности овладеть ситуацией. Присутствие духа требует чего-то большего: чтобы человек нашел себя, чтобы он «нашелся»; ибо только тот, кто нашел себя и мобилизовал все свои силы, способен проявить находчивость, т. е. найти выход из критической ситуации. Находчивость эта по существу одна и та же в самых разных случаях и положениях жизни. Находчив не только тот, кто в минуту опасности для жизни из всех возможных способов действия выбирает как раз единственный спасительный; находчив и тот, кто насмешку, оскорбление, наглое требование умеет отпарировать достойным ответом; кто знает, как замять нетактичную выходку, как предупредить вот вот готовую вспыхнуть ссору, как повернуть неправильно начатое дело в благоприятную сторону. Находчив политик, который и при самой сложной политической конъюнктуре, в переговорах с противной стороной, берет правильный тон. Находчив и биржевик, который по почти незаметным признакам улавливает перемену в настроении биржи и на этом строит свои спекуляции. Находчив наконец и атлет, который, в самую критическую минуту схватки, на сокрушительную атаку противника отвечает соответствующим парадом и, вкладывая в этот парад всю свою силу и ловкость, обеспечивает себе победу. Вообще опыт спортивных состязаний с полной убедительностью показывает, что решающую роль играют не только чисто физические и физиологические данные: сила и гибкость мышц, быстрота и точность движений, выносливость организма в целом; но помимо всего этого (а иногда и вопреки всему этому) совершенно особая способность в надлежащий момент сразу мобилизовать и проявить все свои силы и дать максимум того, что вообще доступно организму. Эта способность и есть особый вид само-

обладания (присутствия духа), выражающийся в полной власти над своим телом.

XI.

Однако, было бы ошибочно думать, что жизненная сфера, в которой обнаруживается исключительное значение самообладания, как власти над настоящим, ограничивается выше приведенными случаями: непосредственной опасности для жизни, обостренной политической и общественной борьбы, азарта спекуляции, спортивных состязаний. Она вообще не определяется только отношением человека к окружающему его внешнему миру. В одинаковой степени она захватывает и его внутреннюю жизнь, самые интимные и глубокие пласты его духовного бытия. На первый взгляд это может показаться парадоксальным: ведь внутренняя духовная жизнь как будто не дает повода для проявления самообладания и присутствия духа, в свойственных ей ситуациях и перипетиях как будто нет ничего безотлагательного, нет той принудительности настоящего момента, которая ставит человека перед необходимою дилеммой и настоятельно требует немедленного ответа «да» или «нет». Ибо все ее конфликты и борения вызываются не столкновением с независимой внешней силой, а порождаются внутренним противодействием или сопротивлением, исходящим из ее собственных недр. Но такой взгляд на внутреннюю жизнь не считается с конкретными условиями ее реального протекания и превращает ее либо в какую то призрачную отвлеченность, либо же в несамостоятельный придаток внешней жизни человека. Это не шахматная партия, которая в любой момент может быть отложена,и не интеллектуальная задача, которую можно решать и перерешать бесконечное количество раз. Внутренняя жизнь человека столь же исторична, как и его внешняя (биологическая, социальная) жизнь. Она тоже имеет свои критические ситуации, свои решающие минуты, которые не повторяются и определяют собою всю дальнейшую судьбу человека. И здесь бывают неожиданности, непредвиденные искушения и опасности, которые могут человека застать врасплох и дать повод к совершению непоправимых ошибок. И все эти неожиданности и опасности проистекают не только из внешней жизни, врывающейся во внутренний мир человека, но очень часто назревают в самой глубине его духа и ждут лишь внешнего повода, чтобы стать актуальными. Внутренние ситуации поэтому в последнем счете так же мало зависят от сознательной воли человека как и внешние ситуации, и требования, которые они предъявляют к нему, не менее настоятельны, неустранимы и решительны.

Если есть судьба внешняя, то есть и судьба внутренняя. Обычно это ускользает от нашего внимания, потому что внутренняя жизнь среднего человека обладает очень слабым напряжением и большею частью заглушается шумом и суетой той периферической внешней жизни, в которой он участвует как член общества. Но если прислушаться к свидетельству людей, бытие которых не исчерпывается этим передним планом, и в особенности к голосу людей с напряженной религиозной жизнью, то эта историчность духовного бытия не оставляет никаких сомнений. Сказывается она не только объективно в неизбежности, принудительности самих критических ситуаций, но и субъективно в той глубокой *тревоге*, которая охватывает духовно активного человека, когда он ощущает свою неподготовленность к встрече с решающей ситуацией, свою неспособность овладеть ею и извлечь все скрытые в ней духовные сокровища. Тревога эта его никогда не покидает совсем, она существенно связана с духовной бдительностью, которая составляет в сфере внутренней жизни необходимое условие самообладания или присутствия духа.

Духовная бдительность представляет собою совершенно особую установку субъекта, в корне отличающуюся от той предусмотрительности и рассчетливости, которая руководит культурным трудом и деланием. Не в том смысле, что она противоположна этой последней и с ней не совместима; она может даже включать в себе предусмотрительность, но только как подчиненный ей и приспособленный к ее целям момент. Ибо духовная бдительность переносит центр тяжести из объективной культуры в жизнь самого субъекта. Она не строит предметной культуры, непрерывно переходя через настоящее от прошлого к будущему, а мобилизует дух в настоящем и для настоящего. Не будучи направленной на предметную сферу, она лишена и процессуального характера (ибо процессуальность — и есть временность предметного мира); она динамична и потому мгновенна. Настоящее, как средоточие духовной бдительности, поэтому существенно иное чем настоящее, в котором актуализуется культурный труд. Поскольку в настоящем соприкасаются (встречаются) прошлое и будущее, настоящее всегда в каком-то смысле содержит в себе и прошлое и будущее. Но именно *смысл* этот может быть различным. Настоящее культурного труда включает в себя прошлое, как нечто готовое, завершенное, как ту предметную основу, из которой оно исходит, устремляясь в будущее. Будущее при этом предвосхищается настоящим, как то, что лежит за его пределами,и что должно его завершить; в устремленности к будущему заложена динамика настоящего. В настоящем духовной бдительности отношение к прошлому и настоящему противоположное. Прошлое в нем нали-

чествует не как уже ставшее, уже готовое начало, не как предметная основа, а как его субъективная динамика, как полнота его внутреннего напряжения. С другой стороны, будущее не задано настоящему, как высшее, долженствующее его преодолеть и перерасти, а целиком дано и предопределено в настоящем же; оно знаменует не динамику, а статику настоящего, его завершенность и самодовление.

Этим уже сказано, что настоящее, в котором осуществляется духовная бдительность, обладает и самодовлеющей ценностью. Оно не служит лишь моментом в процессе реализации целого (объективной культуры); оно само есть полнота и высшая напряженность жизни. Правда, с одним ограничением: оно есть эта полнота в потенции. Для актуализации ее требуется еще некоторый внешний повод, который должен разрядить ее внутреннее напряжение. Таким поводом может послужить лишь известная предельная ситуация, дающая ей возможность проявиться во всей своей силе. Но предельные ситуации в сфере духовной жизни не могут быть произвольно вызваны или созданы. Воле человеческой они подвластны лишь в области периферической телесной жизни. Чем глубже затрагиваемые ими жизненные пласты, тем больше в них рокового, тем меньше они зависят от усмотрения человека, от его сознательной воли. Этому нисколько не противоречит то, что, чем больше напряжение внутренней сосредоточенности, чем острее зоркость духовного зрения, тем неизбежнее становится и наступление решающего момента.

Духовная бдительность не только ждет наступления этого момента, как приключения или опасности, которая может и миновать; она активно устремлена к нему, готовится к нему, как к решающему испытанию, которым определяется судьба человека; но в котором жизнь вместе с тем достигает своего кульминационного пункта, своего «апогея». — Под знаком этого «апогея» у духовно-бдительного человека протекает и вся остальная жизнь; это — или ожидание и предчувствие решительной минуты, или же воспоминание о ней, движение по предопределенному ею пути.

Эта устремленность к предельным моментам, к предельному напряжению (которая, впрочем, отличает не только духовную бдительность, но встречается и у людей, живущих более периферической жизнью, например, у искателей приключений, измеряющих ценность жизни многообразием ее содержания, остротою возникающих в ней конфликтов, силою и контрастом переживаний) — в корне меняет весь внутренний строй жизни, меняет и отношение между целым жизни и отдельными ее моментами или фазами. Здесь целое — не в совокупности всех моментов и не в единстве и завершенности процесса

культурного делания, созидающего объективную культуру; подлинное свое выражение и осуществление оно находит именно в вершинном моменте, в апогее. Все остальные моменты или фазы либо подготовляют апогей, либо живут его отраженным светом. — Так для Плотина смысл его жизни сосредоточивался не в его философском творчестве и не в построенной им всеобъемлющей системе; а в тех немногих исключительных мгновениях, когда он непосредственно прикоснулся к Единому, к тому источнику внутреннего света, который озарил и определил весь его жизненный и философский путь. — Апогей, являясь моментом предельным, вообще не укладывается в один ряд с остальными моментами жизни, не соизмерим с ними ни по смыслу, ни по содержанию, а потому по существу не зависит ни от состава жизни в ее целокупности, ни от ее длительности, ни от итога ее объективных (предметных) результатов. Воплощая и выражая собой смысл целого, он выпадает из мерного и нормального течения человеческого существования, и, приобщая личность к чему-то абсолютному, открывает ей исключительную возможность проявить свою подлинную и неискаженную сущность.

XII.

Но с самодовлеющей ценностью апогея неразрывно связана еще другая его существенная черта: в нем и только в нем преодолевается дурная временность. Не только в том смысле, что апогей, довлея себе, сосредоточивает в себе цельность жизни, ее подлинную ценность, но и в том, что тем самым он уничтожает ту призрачность и ирреальность человеческого бытия, которую неизбежно порождает господство объективной культуры, погруженность личности в процесс культурного делания. Апогей, как момент предельного напряжения, ощущается и переживается личностью как нечто исключительно и непреложно реальное, по сравнению с чем вся остальная жизнь кажется чем-то неподлинным, почти призрачным, бытием «смешанным с небытием», пронизанным стихией меоничности. Предельные моменты — по словам Плотина — минуты, когда душа пробуждается от сна небытия к истинной реальной жизни. Устремленность духовной бдительности к этим моментам, воплощающим апогей жизни, поэтому и выражает собою жажду подлинного бытия.

Сообразно с индивидуальной природой личности, с ее духовной одаренностью, меняется, конечно, и характер ее жизненного апогея. Различной может быть та область, в которой личность достигает высшей ступени реальности, различны могут быть и те формы, в которых выражаются присущие ей

предельные возможности. Это может быть исключительное метафизическое прозрение, открывающее доступ в скрытые для непосвященного глаза миры, или художественная интуиция, извлекающая из глубин бытия новые ценности. Это может быть религиозный экстаз (unio mystica), в котором угашается обычное сознание человека, или момент обращения, духовного перерождения, кладущий начало новому восприятию жизни и новому отношению к миру и человечеству; но это могут быть и великие страдания любви и жертвенный подвиг для спасения ближнего.

По существу, т. е. по смыслу своему, по своему жизненному значению и строю — это всегда одно и то же: предельная напряженность бытия, апогей жизни, сосредоточенность ее в едином исключительном моменте. — Конечно помимо этих качественных различий апогея может быть различной и степень его приближения к подлинной, абсолютной реальности. Чем дальше от центра *духовного* бытия отстоит осуществляющий его жизненный путь, тем в меньшей степени апогей носит на себе печать чего-то окончательного, решающего, абсолютного и неповторимого, тем ограниченнее его власть над дурной временностью, его способность вместить в себе целое жизни. Поэтому бывают жизненные пути, — и это более частый случай, — которые достигают своей целостности лишь в нескольких вершинных моментах, из которых каждый определяет собой известный период жизни, известный этап в духовном росте и развитии личности.

Но каковы бы ни были эти различия в конкретном осуществлении апогея жизни, все они второстепенны по сравнению с основным различием между жизнью, сосредоточенной в культурной деятельности, и жизнью, ориентированной на апогей. Если первая вращается вокруг объективной культуры и в служении ей видит свое назначение, то в последней центр тяжести перемещается из объективной культуры в субъективную сферу, в бытие, в судьбу самой личности: такой сдвиг в жизненной ориентации не означает, однако, пренебрежения объективной культурой или даже отрицания ее; не означает он и ухода от общественности, индивидуалистического культа личности или исключительного подчинения всей жизни единой заботе — о спасении души. Различие этих двух ориентаций не основано на исключающем противоположении субъективной и объективной культуры, или на антагонизме личного и общественного начала.

Все то, чего требует духовная бдительность, — зоркость духовного видения и внимательность к своему внутреннему миру — отнюдь не предполагает отказа от служения общественности или участия в строительстве объективной культуры.

Мало того, именно это служение и строительство может быть предуказано судьбой личности, может явиться необходимым и прямым результатом ее прохождения через апогей. Суть дела не в противоположности объективной и субъективной стороны в бытии личности; а лишь в сущностном первенстве ее субъективных (непредметных) истоков перед ее объективными обнаружениями. Но такое первенство субъективного начала перед объективным менее всего знаменует субъективизм в смысле индивидуалистической замкнутости личности и ее эгоцентрического самоутверждения. Напротив, оно-то и утверждает и обосновывает ее настоящую объективную ценность и значимость. Ибо только своим субъективным (непредметным) ядром личность укоренена в подлинной, не подчиненной дурной временности реальности.

XIII.

Итак: в духовной бдительности мы обнаружили тот внутренний строй личности, который один только может обеспечить победу над дурной временностью. Духовная бдительность устремлена к апогею; и лишь в апогее преодолевается по существу та разрозненность и несосредоточенность личности, та ее неполнота и ирреальность, которая роковым образом вытекает из ее обреченности времени. Если это так, и если духовная бдительность предполагает первенство субъективной (непредметной) основы личности перед ее внешними объективными проявлениями, то казалось бы, что достигая апогея, она не только возвышается над временностью своего бытия, но и над другим не менее существенным ограничением, над своей телесной связанностью. Как будто само слово «духовная бдительность» указывает на то, что для нее вся телесная сторона бытия личности безразлична и несущественна, что ее сфера действия относится к такому плану, который к самой телесности не имеет никакого отношения. Однако, уже в самой постановке этого вопроса сказывается глубоко вкоренившийся в наше мышление дуалистический предрассудок, будто сущность отношения между духовным и телесным бытием исчерпывается их противоположностью. Между тем душевный строй, выражаемый духовной бдительностью, не только не характеризуется отрешенностью от телесного начала, но, наоборот, связан с ним самым тесным образом. В конкретном своем бытии дух возвышается над противоположностью душевного и телесного и потому одинаково охватывает и то и другое. Связь духа с телесностью сказывается не только в том, что лишь в чувственно-материальной, телесной стихии он находит свое выражение, но и в том, что только через телесное он осу-

ществляет и проявляет свою реальную действенность. Тело в этом смысле — и орган-проявитель духа, и оформляемый и осмысляемый им материал. Вот почему и духовная бдительность, будучи не столько созерцательной, сколько действенной установкой духа, менее всего может быть нейтральной или безразличной по отношению к телесному началу. В той собранности и сосредоточенности внутренних сил личности, которую она порождает, участие тела и неизбежно и необходимо; необходимо потому, что без содействия тела актуализация духа вообще не может осуществиться; неизбежно потому, что, если участие тела не будет положительным содействием, оно неизбежно превращается в отрицательное противодействие. «Присутствие» духа зависит не только от одного духа; оно предполагает и известную телесную собранность и мобилизованность (настороженность). Если ее нет, не может сосредоточиться и дух; препятствовать будет материальная косность тела, парализующая действенное проявление духовных сил. Стало быть, осуществляя и утверждая себя, духовная бдительность не может не направить своей активности и на тело, т. е. не может не дисциплинировать его, частью для того, чтобы заручиться его содействием, частью, чтобы устранить его противодействие. Духовная бдительность таким образом неразрывно связана с *телесной дисциплиной*. — Этой связью, однако, еще не предрешается, каково должно быть отношение духа к телесному началу. Оно может быть и положительным и отрицательным в зависимости от общей жизненной установки, от основного определяющего духовную бдительность мироощущения: ощущается ли тело прежде всего в своей косности, как помеха духовной жизни, как враждебная ей стихия, или же, как орудие, инструмент духа, как начало положительное, через которое и в котором духовные потенции достигают своей реализации, своего воплощения. И в том и другом случае отношение к телу — активное, действенное, требующее непрерывного и планомерного его дисциплинирования. Что это так, подтверждает вся история человеческого духа. Стоит лишь внимательнее присмотреться к идеалам человеческой личности, которые выдвигались разными эпохами и разными культурами, чтобы убедиться в том, что повсюду, где этот идеал определяется духовной бдительностью, или где по крайней мере сосредоточенность, присутствие духа входит в него как неотъемлемый и существенный момент (а такова, пожалуй, структура идеала в большинстве случаев), дисциплине или даже культуре тела уделяется особое внимание. Быть может с наибольшею ясностью это сказывается в тех случаях, когда в основе этого идеала лежит мировоззрение, исходящее из отрицательной оценки всего телесно-материального мира и предъявляющее к человеку

требование борьбы с телом, умерщвления плоти. Возьмем ли мы орфически-платоническую идею внутреннего очищения (катарсиса), или монашеское подвижничество в христианстве, или созерцательную жизнь отшельника-буддиста, повсюду этот аскетический идеал связывается с той или иной формой телесной практики и дисциплины. Да, телесное начало отрицается, но не так, что дух просто от него отвлекается или отрывается, предоставляя его самому себе. Умерщвление плоти — в настоящей аскезе — никогда не означает просто убиения или уничтожения ее. Нет, дух подчиняет себе плоть, побеждая плоть самой же плотью, т. е. дисциплинируя ее; и только через дисциплинирование плоти он овладевает своими собственными потенциями. Путь к духовному самоуглублению и сосредоточению ведет через систему телесных упражнений. Техника духовной жизни не может обойтись без техники телесной. Так орфический катарсис в толковании Платона (самоочищение через самопознание) предполагает известный телесный режим (воздержание от мясной пищи, от половых сношений и пр.), так молитвенный подъем и внутреннее просветление достижимы для христианского аскета только через пост, лишения и ночные бдения; так и буддист восходит к высшим ступеням духовной сосредоточенности, открывающим ему доступ к блаженству Нирваны, через ряд телесных упражнений, приучающих его к неподвижности, к регулированию дыхания и т. п. Это активное отношение к телу, имеющее целью полное подчинение телесного начала — духу, растворение телесной косности в динамике духовной жизни, — и является исходной точкой тех форм спиритуализма или идеализма, в которых христианская, платоническая и буддистская аскетика нашла свое философское выражение. Эти формы идеализма (и спиритуализма) по существу своему и, в особенности, по своим внутренним истокам — не имеют ничего общего с тем субъективным идеализмом (и спиритуализмом), который в новой философии приобрел господствующее положение. И поэтому только чисто внешний схематизм, к которому — увы — до сих пор еще склонна история философии, — может видеть в последнем дальнейшее развитие и раскрытие первого (идеализма древнего мира). Правда, и буддизм и платонизм (а вслед за ним и христианский спиритуализм) — в конечном итоге отрицает первичную и самостоятельную реальность телесного мира; пусть он считает его одной обманчивой видимостью. Но все же эта видимость есть некоторая объективная реальность, есть бытие низшего порядка, в котором участвует и с которым связан всякий, кто еще не прошел аскетического пути. Правда, путь этот является вместе с тем и путем познания, духовного прозрения, но познание никогда не исчерпывается здесь актом чистой отвлеченной мысли, оно захватывает всего

человека, перерождает не только его разум, но все его существо; иначе говоря, само познание становится бытийным процессом, и только благодаря своей бытийности оно ведет человека к высшему свободному от несовершенности телесного мира бытию. Напротив идеализм (и спиритуализм) нового времени зародился на почве научного познания, на почве культуры отвлеченной науки (в особенности естествознания и психологии), вся его проблематика чисто гносеологическая, руководимая интересами научной методики. И в мировоззрение он превратился только потому, что своей гносеологической точке зрения подчинил и всю остальную философскую проблематику. Мир материальный с этой точки зрения есть иллюзия разума (правда неизбежная), которая критикой самого же разума (т. е. чисто познавательным, отвлеченным путем) может быть вскрыта и объяснена. С самим бытием этот познавательный процесс не связан, а потому и не может в нем произвести никаких перемен. Иллюзия не упраздняется и даже не преодолевается, она лишь осознается разумом и учитывается им в его культурной деятельности. Идеализм нового времени это идеализм обнаженного интеллекта, творца объективной научной культуры. Идеализм античный и буддийский (а также и древне-христианский) порожден духовной бдительностью и ее стремлением к преодолению дурной временности.[5])

XIV.

Полной противоположностью этому аскетическому идеалу буддизма, платонизма и христианства является древне-эллинский идеал каллокагатии. Но и он вырастает из активного отношения к телу, из действенного к нему внимания. Он знаменует утверждение телесного начала именно в его телесности, признание его непреложной и безусловной жизненной ценности. Все силы личности направлены не к тому, чтобы освободить дух от тела, чтобы развеществить, расплотить его, чтобы убить в нем именно самую телесность, а к тому, чтобы как можно

5) Конечно, возможен и синтез этих двух форм идеализма, но он будет органическим только в том случае, если вырастет на почве нового мировоззрения, новой установки культурного сознания, способной вобрать в себя и подчинить высшему единству обе эти концепции. В противном случае неизбежно получится философский эклектизм, смешение разнородных и чуждых друг другу философских стилей. Примером тому служит философия Шопенгауера; только благодаря выдающемуся литературному таланту ему удалось скрыть и затушевать полное внутреннее несоответствие между двумя источниками его философии: между кантовским субъективным идеализмом и религиозной метафизикой буддизма.

полнее и совершеннее воплотить и выразить его в телесной стихии, чтобы сообщить ему самому телесность (вещественность), и таким путем слить с телесностью в нераздельное единство. Поэтому идеал каллокагатии построен на началах меры, гармонии, евритмии; все это — в первую очередь категории, определяющие воплощение духа, категории дисциплины и культуры тела (не культуры предметной, вещной), открытые в самом процессе развития этой культуры. И потому в жизненном устремлении к идеалу каллокагатии, в практическом его осуществлении, руководящую роль играл agon — состязание. Обычно основным мотивом, движущей пружиной античных состязаний считали честолюбие, жажду славы, правда не только славы личной, но и славы рода, племени, славы города — отечества. И античные писатели именно так толкуют соревнование агонистов. Однако, навряд ли этим исчерпывающе и до глубины определяется психология античных состязаний. Помимо жажды славы здесь действовало еще что-то другое, более глубокое и жизненно-существенное. Агон создает исключительную ситуацию (вызывающую на предельное сосредоточение сил), ситуацию, требующую, чтобы агонист раскрыл и показал все, на что он способен, словом, чтобы он обнаружил «присутствие духа» в полном смысле этого слова. И потому именно в агоне непосредственно ощущается и изживается жизненное напряжение, как особая самодовлеющая ценность, как тот вершинный момент, в котором снимается и угашается дурная временность обыденного существования и культурного делания. Не даром и Платон, хотя он и не довольствуется имманентным идеалом каллокагатии, требует от философов-правителей государства справедливости, чтобы они предварительно проходили школу воина-агониста. Ведь философ, в понимании Платона, отнюдь не тот бесстрастный теоретик, созерцатель горнего мира идей, каким его часто изображают; это прежде всего аскет-агонист, руководимый добродетелью духовной бдительности, искушенный в опасностях и соблазнах духовного искания, и лишь в мгновения исключительного напряжения своего эроса овладевающий теми духовными горизонтами, которые ему открывают мистерию Абсолютного Бытия.

Однако, идеал монашеский и идеал античной каллокагатии — лишь самые яркие примеры того особого духовно-телесного строя, о котором идет речь. В тех или иных видоизменениях, зависящих от индивидуального облика культуры, эпохи или народа, он проявляется — то с большею, то с меньшею отчетливостью — почти во всех идеалах, которыми когда-либо жило и руководствовалось культурное человечество. Возьмем ли мы идеал средневекового рыцаря, или идеал цельной личности в эпоху Возрождения, или наконец идеал служилого

дворянства сложившийся в эпоху Абсолютизма, — повсюду этот идеальный образ личности находит одновременно и свое внутреннее и свое внешнее выражение: нравственные и вообще духовные достоинства и добродетели неразрывно связаны с известной телесной выдержанностью и дисциплинированностью и отчасти даже в ней укоренены. Благородство подлинного аристократа (а идеалы прошлого почти все без исключения идеалы аристократические), то, что отличает его от простолюдина, его достоинство, его формы общения и обращения, с людьми, его умение владеть собой и не теряться в самых опасных и рискованных ситуациях — все это — свойства, органически вытекающие из особенностей его душевно-телесной организации.

Это единство душевно-телесной организации, которое одно только способно породить самообладание и присутствие духа в подлинном значении, утрачено современным человеком. Господствующий в современности тип — тип буржуа, тип культурного работника, жизненный центр которого в культурном труде, в создаваемой им объективной (предметной) культуре. Тело для него лишь одно из орудий культурного труда, и притом орудие весьма несовершенное. Тело поэтому не может для него иметь самостоятельной и самодовлеющей ценности. Он поклоняется отвлеченному разуму, строителю объективной культуры, и пренебрегает телесным началом. Он спиритуалист, хотя бы и исповедывал самый крайний материализм. Телесная аскеза и телесная культура ему одинаково чужды. Это сказывается во всем его быту и укладе жизни; к внешней форме и ее символике он равнодушен и даже пренебрегает ею. Поскольку же эта форма необходима и вызывается самой жизнью, она приспособляется к ритму и строю культурной работы, и скорее скрывает, чем выявляет телесное начало (ср. современный мужской костюм!). То же самое наблюдается и в религиозности Нового Времени. Не случайно обмирщвление религиозной жизни в протестантизме сопровождается не только исчезновением аскезы, но также и подавлением, постепенным отмиранием внешних культовых форм. Для протестантизма, как новой формы религиозности, наиболее соответствующей духу современной светской культуры, характерны не столько индивидуализм религиозного сознания и овнутрение самой религиозности (т. е. перенесение ее центра в глубины человеческой души) — эти начала были живы и в средневековой мистике; сколько отрицание за внешними формами и проявлениями религиозности самостоятельной ценности. В протестантизме утрачивается понимание внутренней сущностной связи между духовной бдительностью и дисциплиной (культурой) тела и утрачивается именно потому, что он являет собою религиозность

того нового буржуазного человека, который целиком погружен в стихию объективной культуры и культурного труда (творчества). Это — религиозность, освещающая культурную работу, исполнение культурного долга, но отнюдь не освобождающая личность от гнета объективной культуры и не определяющая его судьбу вне отношения к его объективным заслугам перед человечеством и культурой.

А в связи с исчезновением внутреннего единства между духовной и телесной культурой находится, повидимому, еще другой знаменательный для современности факт: это то, что она не знает конкретного идеала личности и, видимо, неспособна его создать. В прошлом европейского мира каждая эпоха имела свой более или менее выработанный идеал личности, а иногда в силу своей внутренней расчлененности и многоликости и несколько таких идеалов, к осуществлению и воплощению которых она стремилась. Таковы были идеалы рыцаря и монаха (святого) в Средние Века, идеал гармонической свободной личности в эпоху Возрождения, таковы идеалы гуманиста, поэта романтика и т. д. Все эти идеалы были не только отвлеченными нормами, но обладали полной жизненной конкретностью и потому находили свое выражение в более или менее определенном внешнем облике. У современности же нет такого идеала. И нет его не потому, что она лишена «идеализма», как говорят ее противники из отживающего поколения, вздыхающие о добром старом времени, или же признает идеал в моральном смысле настолько непривлекательный, что предпочитает его скрывать, — а потому, что такого идеала вообще не может быть там, где господствует объективная культура, где личность неавтономна и весь смысл ее существования — в служении этой объективной культуре. Но мало того: если-бы даже такой идеал был возможен, если-бы, напр., мы признали таким образ культурного труженика, то все же он остался бы отвлеченной бледной схемой и не мог бы воплотиться в живой, конкретный, телесный образ. Ибо такое воплощение, да и вообще сама телесность для объективной культуры по существу безразлична, и не входит в сферу тех явлений, которые она организует и оформляет. Живому телу она повсюду предпочитает машину и по мере возможности заменяет работу тела работой машины. А поскольку эта замена требуется прогрессом и совершенствованием техники, при господстве объективной культуры в европейском мире как будто вообще исключается возможность, чтобы тело человеческое вернуло себе свое прежнее значение или приобрело новую творческую функцию в культурной жизни.

XV.

Тем не менее безразличие современной культуры к телу относится уже к прошлому, прошлому, которое, правда, продолжает еще в ней жить, но все же постепенно отмирает и уступает место чему-то иному, новому. С начала 20-го века и особенно в последние годы после войны и русской революции в отношении к телу обозначился существенный поворот. Об этом свидетельствует в особенности то положение, которое занял в жизни современного европейца спорт. Увлечение спортом не только мода, которая затрагивает лишь периферию жизни и может так же быстро исчезнуть, как она возникла. И это не только один из современных способов развлечения, популярность которого некоторые социологи склонны приписывать падению интеллектуальной культуры, «варваризации» широких масс населения Европы. Увлечение спортом—движение стихийное, родившееся из естественной реакции против бездействия и атрофии, на которую обрекает тело господство обнаженного, (отвлеченного) интеллекта и его порождения — машины в объективной культуре; из глубокой потребности приобщить и тело к бытию культуры и восстановить первичное единство живой конкретной личности.

Каждая новая эпоха или фаза в жизни культуры выдвигает те или иные новые организующие начала; отраженные в сознании, закрепленные в понятии, они становятся руководящими идеями или лозунгами своего времени. Одним из таких новых организующих начал является *спорт*. Это не гигиена, не забота о создании благоприятных условий для нормального отправления телесных функций и не профилактика, устраняющая все то, что здоровью могло бы повредить. Это именно *культура* тела, задача которой выявить и осуществить все возможности, заложенные в человеческом теле; культура тела, которая именно в качестве культуры необходимо требует воспитания всей психо-физической организации в целом и потому так или иначе определяет и весь жизненный строй человека. Спорт немыслим без аскезы и притом в двояком смысле: аскезы как определенного режима, основанного и на воздержании и на упражнении тела, и аскезы как дисциплины тела, как умения свободно владеть телом, т. е. умения в случае надобности мобилизовать его силы и осуществлять его предельные возможности. Но в этом смысле дисциплина тела — основа самообладания или присутствия духа. Т. е. дисциплина тела тем самым есть и дисциплина духа; она включает в себя все, на чем основана эта последняя: и сосредоточенность внимания, и внутреннюю собранность, и способность к максимальному напряжению воли.

Самообладание, как мы видели, и только оно одно обеспечивает самобытность и самостоятельность личности и открывает ей возможность выявить и актуализовать в вершинных моментах свою настоящую ценность. Поэтому и культура тела, в силу своего дисциплинирующего характера, организует личность, помогает ей найти в себе самой точку опоры против засилия и гнета объективной культуры. В этом огромное общевоспитательное значение спорта. Овладевая путем аскезы телом, личность тем самым его одухотворяет: только тело, заряженное энергией духа, способно к мобилизации своих сил и к тому максимальному напряжению в решающую минуту, от которого зависит успех в спортивном состязании. В этом смысле власть над телом означает и власть над временем, или иначе, это тот душевно-телесный строй, который ориентируется на предельные моменты жизни и умеет их осуществлять.

Конечно, в условиях современности, в период демократизации культуры и господства буржуазно-капиталистического строя, спорту, так же как и всем без исключения отраслям культуры, грозит опасность опошления и вырождения в явление отрицательное. Там, где он становится культом крепких мышц, его неизбежно сопровождает пренебрежение духовно-интеллектуальными ценностями. И спортсмен превращается в тупого пожирателя рекордов, состоящего на службе у акулы-предпринимателя.

Конечно, одухотворение тела, достигаемое физической культурой,[6]) является лишь относительным. И не только потому, что степень и качество этого одухотворения зависит в еще большей мере от духовных (внутренних) рессурсов личности, чем от ее чисто телесной одаренности. Спорт организует тело в том смысле, что раскрывает и развивает потенции, свойственные ему как живому организму, и потому задания, которые он ставит телу, не выходят за пределы его органического бытия. Но эта организованность в плане органическом может служить основой для организованности высшего порядка, смыслом которой является воплощение в личности высших духовных (вернее, сверхорганических) ценностей; напр., ценностей художественных или религиозных.

Отсюда ясно: высшие формы самообладания (какой, напр., является духовная бдительность) предполагают определенный душевно-телесный строй личности, т. е. строй, в который входит, как необходимый существенный момент, организованность тела. Поскольку спорт и вообще физическая культура органи-

6) Понятие физической культуры, конечно, шире понятия спорта. Но спорт в настоящее время самое яркое проявление физической культуры, что позволяет нам говорить о нем так, как будто он покрывает собою всю физическую культуру.

зует тело, он создает основу для того душевно-телесного строя, на почве которого возможно полное раскрытие творческих потенций личности и преодоление ею (конечно, в пределах человечески возможного) дурной временности предметного бытия.[7])

Будут ли эти возможности использованы европейским миром — сейчас невозможно предвидеть. Во всяком случае нет сомнения, что вне их актуализации Европе не изжить тех внутренних противоречий и затруднений, которыми болеет ее современная культура.

XVI.

С особой остротой вопрос этот встает перед Россией-Евразией. Революция ею еще не изжита. Продолжается напряженный процесс коренного переустройства всей политической, социальной и экономической жизни. Пафосом строительства охвачены не только лучшие силы коммунистической партии, но вообще все активные элементы русской молодежи, сознающие или чувствующие значительность и ответственность переживаемого исторического момента. Они живут верой в руководящую роль государства в культурном творчестве, верой в возможность коллективистического строя, свободного от противоречий и несправедливостей буржуазно-капиталистической организации общества. — Поэтому понятно, что забота советского правительства о насаждении физической культуры и распространении спорта среди населения СССР встретила в рабочей молодежи живой отклик. В спорте усмотрели не только важное средство для оздоровления народных масс, но и поняли, что именно через спорт может быть выработан настоящий навык к дисциплине, к согласованности действий, к подчинению личной инициативы интересам и заданиям целого коллектива (в чем особенно заинтересована коммунистическая партия). — Однако, как ни существенен этот социальный момент в обще-воспитательном значении спорта, — действенным фактором в создании новой культуры он может стать лишь в сопряжении с личным моментом, т. е. в тесной связи с развитием того душевно-телесного строя, который выявляет и актуализует духовные потенции личности.

И для России-Евразии, и для нее особенно, очередной задачей является не только замена буржуазно-капиталистической системы иным некапиталистическим строем, но и освобождение современного человека от засилия объективной культуры и преодоление связанной с ней дурной временности. Коллективистический строй сам по себе этой задачи не решает, он может даже еще усилить, укрепить гнет предметного начала в культурной жизни. А потому судьба России-Евразии зависит не только от удачи или неудачи социалистического эксперимента, но и от того, будет ли насаждение нового общественного строя внутренне связано с выработкой нового душевно-телесного строя личности.

В. Чухнин

---

7) Любопытно отметить, что в современной технике обнаружилось новое течение, которое в противоположность основной линии ее развития выдвигает опять на первый план личность как индивидуальное целое. Это новое течение представлено авиацией. Тип авиатора поэтому знаменателен для современности. В нем как бы предвосхищается идеал личности чаемой новой культуры.

ЕВРЕЙСКОЕ ВОСТОЧНИЧЕСТВО В ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые» . . . Конечно, не скоропреходящее земное блаженство имел здесь в виду поэт: в его время, в те, другие, классические 30-е годы еще свежа была память о грозных годах революции и империи. Но за слепой борьбой страстей и вожделений скрываются иные, высшие и оправдывающие смыслы. В духовной глубине человека живет неистребимо «любовь к року», жажда подвига и ответственности, вины и искупления. И потому возможно утвердительное приятие исторической катастрофы во всей ее неизбывной трагике — для кабального подданного невиданной по деспотизму власти, как и для подневольного изгнанника.

В лотерее истории на долю нашего поколения опять выпало тяжкое счастье выигрыша. При нас закончился некий звездный цикл, «великий год», и именно мы удостоились наблюдать очередное затмение солнца истории, и для нас оно заиграло невиданными, нездешними огнями. Будем же, как звездочеты, ловить драгоценные мгновения нашего тяжкого опыта, в котором столь явственно заколыхалось «покрывало Майи», зашатались еще вчера, казалось, непоколебимые устои и сокровенный смысл всего того, что раньше прикрывалось косностью мысли, ложью и условностями, придвинулся к нам до жуткой близости.

На наших глазах половодье истории смывает и разбивает в щепы целые царства, навеки разрушает давние и привычные скрепы, уводит в область предания целые культурные миры. Но в то же время завязываются новые, еще странные и непривычные связи, выявляются неожиданные итоги предыдущих развитий, облекаются в плоть неожиданнейшие сопоставления и на многие годы устанавливаются очертания

новой исторической реальности, совсем непохожие на то, что предсказывалось глубокомысленными научными прорицателями и не в меру нетерпеливыми утопистами.

Универсально-историческая катастрофа русской революции одним из своих ответвлений и следствий означает крупный поворот на длинном историческом пути ветхого деньми Израиля. Колеблется и обваливается идейное здание, больше ста лет с надеждой и тщанием возводившееся еврейскими идеологами и «властителями дум». Истончаются и рвутся бесчисленные нити на поношенных одеждах еврейского просветительства и рационализма западничествующего толка. При всем официальном оптимизме еврейских деятелей и дельцов, опасность духовного оскудения неминуемо следует за небывалым территориально-политическим и экономическим разгромом основной этнической базы иудейства — восточно-еврейского народа России.

Все надежды фанатического еврейского западничества на наших глазах заканчиваются крушением — и вожделенное царство разума и справедливости, оказывается, либо не задалось совсем на земле, либо придет совсем не оттуда, откуда все его ожидали. Наряду с неуклонным распылением социальных связей в среде урбанизованного и стандартизирующегося западного человечества, по мере его «освобождения» от высших сословий, от уз церкви, монархии и плутократии (последнее конечно, еще только in spe), растут в то же время в Европе и Америке силы национально-культурной дифференциации в первобытном, расово-этническом смысле. И не добром к изумлению еврейских деятелей и идеологов, этих самых верных рыцарей «свободы» и «прогресса», поминается теперь их неустанная историческая борьба против «темных сил» за «нашу и вашу» свободу и право. Не настает гармонического слияния культур и народов в служении истине и справедливости, все крепчают диссонансы духовных ритмов европейско-арийской и азийско-еврейской стихии, все напряженнее и непримиримее делаются силы отъединения и отталкивания.

Завершает свой предустановленный круг дело М. Мендельсона, не оправдав чаяний, на него возлагавшихся, и исторические итоги его взвешены на весах и найдены очень легкими. Впрочем, отбросим привычную еврейскую односторонность: как общее правило, всякий культурно-исторический почин губится руками не врагов и гонителей, а адептов и последователей, и наследие Мендельсона постигла та же участь. Первоначальная чистота учения и возвышенность личного примера основоположников, как всегда, помутнела и измельчала у эпигонов и подменилась слепой притязательностью оскорблен-

ных самолюбий, нетерпеливой жаждой преждевременных итогов и удовлетворений.

Наступает конец еврейского западничества, не в меру засидевшегося за столом истории, и последние остатки его духовных энергий быстро растрачиваются в идейном оргиазме еврейско-интеллигентского фанатизма — как в лже-государственнической, сионистской, так и в лже-религиозной, комму-но-социалистической, разновидности единой утопии.

Но еще жив и силен дух древней религиозно-культурной традиции в народных низах, в реалистической и практической тенденции народной мудрости, сложившейся в тысячелетиях житейского и политического опыта. И расхождение между основной культурно-религиозной стихией восточно-еврейского народа и его «правящим слоем» интеллигентов, утопистов и денежной буржуазии, столь давно и привычно представляющим Израиль на исторической сцене, к нашему времени достигло необычайной остроты. Не будет большого преувеличения в сравнении этого расхождения с общеизвестной послепетровской культурной псевдоморфозой «правящего слоя» в России, расколовшей русский народ глубокой трещиной надвое и повлекшей, в конечном счете, за собою революционную катастрофу наших дней.

В условиях небывалых культурно-государственных экспериментов, в моральной атмосфере, нагнетаемой до невыносимого давления под действием жестоких и хищных сил, поделивших вчера еще единую территорию «черты оседлости», заканчивается процесс напряженной поляризации.

Пали завесы, воздвигнутые досужим утопизмом и оптимистическим празднословием, и, как в страшной гоголевской легенде, «вдруг стало видимо далеко во все концы света»: истинная мера и цена вещам все выпуклее и ярче обрисовывается при зловещем освещении революции. Уже не беспочвенные домыслы идеологов ныне предопределяют (по крайней мере, внешне) формы национально-культурного бытия восточного еврейства, как это было еще столь недавно. Сейчас реалистическая проза житейского опыта, горьких разочарований понуждает его пересмотреть заново культурные устои еврейства, опять приникнуть к истокам вод, его питающих. Из под спуда, из под пыли долгих десятилетий прозябания на задворках культуры приходится ему извлечь старое восточное, азийское наследие, тот самый жупел, которым пугали и попрекали его враги, который так основательно был спрятан на дне души, под грудами условностей и выдумок. И уже начинает одумываться даже кое-кто из идеологов и деятелей, и уже еврейскими устами начинают произноситься еще робкие и отрывистые слова о «единственных в Европе подлинных азиатах». Для

восточного еврейства пришла пора перестать напрашиваться на двусмысленные комплименты и полупризнания со стороны просвещенного Запада и по новому, в свете исторического опыта современности, осмыслить факт нахождения исходной точки своего исторического пути в пределах — не азиатской, впрочем, а азийской, еще вернее — асийской, ближне-восточной икумены. Этот основоположный факт сразу создает известную генетическую общность религиозно-культурных начал с «народом-хозяином», которого рецепция византийского православия в ином смысле вводит в круг асийских культур. Как бы ни переоценивать глубокую разницу догматического содержания православия и иудейства, и то и другое, в своем мирском, универсально-историческом аспекте, восходит к тому единому кругу асийской, магической культуры, яркая характеристика которого составляет одну из заслуг О. Шпенглера.

Для пытающегося постичь глубокий смысл этого факта открываются новые и неожиданные точки зрения на Великую историческую драму, развертывающуюся в непосредственном соседстве и окружении восточного еврейства, при участии немалого — слишком немалого! — числа его собственных сынов, но также и при большом числе кровавых жертв и всяческих страданий с его стороны.

Еврейское сознание только сейчас начинает понимать, задним числом, смысл и глубокое значение старой борьбы западных и восточных начал в русской душе, в свое время прошедшей как-то почти совсем мимо его внимания.

Что восточное еврейство только теперь ощутило не только метаисторическую важность судьбы России, но и неслучайность своей собственной прошлой и будущей роли в ней, и многочисленность точек соприкосновения своей собственной культурной сущности с душой России, и даже просто хронологическую исконность своих связей и сношений с нею — все это есть тоже одно из следствий тумана, напущенного в историческую науку устарелыми схемами и категориями западнической подражательности. Но к нашему времени историческая наука расширила свой предмет далеко за пределы Европы и средиземноморского басейна, еще не так давно почитавшихся монопольными носителями вселенско-исторического замысла. В частности, евразийская критика и научный почин с большим рвением пытаются пролить свет на те, доселе темные, места и провалы истории евразийского мира, мимо которых традиционная вульгата русской истории проходила с небрежной и невнятной скороговоркой. Может быть, именно последнему обстоятельству мы обязаны скудостью и нераспространенностью сведений об одном из замечательнейших в религиозно-культурном отношении эпизодов истории евразийских степных

пространств. Мы имеем в виду историю зарождения, расцвета и гибели обширного Хазарского царства, основавшегося на степных раздольях нынешней Новороссии, нижнего Поволжья и Предкавказья, и в котором господствующей верой была еврейская, при большой терпимости к христианству и исламу, также имевшим в нем распространение.

С собственно еврейской точки зрения хазарский эпизод представляет собою завершение целого культурного цикла, в еврейской (да и во всеобщей) истории очень мало освещенного, несмотря на свою большую религиозно-историческую важность. Государственная и прозелитическая деятельность евреев в Хазарии представляет собою последнюю крупную попытку евреев выйти за пределы своей национально-культурной ограниченности и замыкает собою целую цепь исторических попыток, развертывавшихся на Ближнем Востоке, в черноморских царствах и по обоим берегам Красного моря (Аксумское, Гимьяритское царства). Именно на этих местах впоследствии, с окончательным ослаблением еврейской тяги к прозелитству, обоснуются православные общины — от нынешнего юга России через Балканы и Коптский Египет до далекой Абиссинии [1]), отдельные остатки которых впоследствии выдержат даже стремительный смерч новоявленного ислама. В хазарском каганате иудаизм совершает самую существенную попытку утвердить свою вселенскую сущность в рамках некоего земного царства. Отсюда, из укрепленных убежищ в устьях великих степных рек (Дона Днепра и Волги) иудео-хазарское царство, верное вековым территориально-политическим инстинктам последовательно сменявших друг друга кочевых культур, тянулось на запад, к подчинению и введению в область своего культурно-религиозного влияния южных племен восточного(позднее ставшего русским) славянства. Здесь разыгрались первые эпизоды провиденциальной встречи России с еврейством.

Хазарский каганат осуществил, если не самый первый, то всё же один из самых ранних организованно-государственных замыслов на территории современной России, и притом замысел, нигде не выходящий за ее будущие пределы.

Уже в нем явственно звучит один из лейт-мотивов евразийской истории: восточно-славянский этнический субстрат вовлекается здесь в государственное сожительство с кочевыми народностями туранского и отчасти семитического происхождения — покуда еще только в первом наброске государственных границ будущих евразийских царств: от Карпат до Тмутороканя

1) Интересен вопрос, в какой степени элементы, заимствованные у евреев-иеменитов, фигурируют в своеобразном абиссинском православии.

Но в ход иудео-хазарской истории еще раз вмешался тот таинственный рок, который, начиная с 70 года по Р. Х. неизменно сокрушал всякие попытки еврейства обосноваться в пределах некоего земного царства, вновь и вновь уничтожал воздвигнутые государственные здания и гнал еврейство обратно в рамки чисто духовного, религиозного consensus'a, не отвлекаемого в сторону заботами о мирском властодержательстве. И Хазарское царство, как политическая сила, погибло насильственной смертью: оно пало под ударами воинствующего язычества в лице новой силы, рвавшейся по встречным путям на просторы евразийских степей. Этой силой было Новгородско-Киевское княжество во главе с неутомимым и грозным воином Святославом Игоревичем, этим последним и «сознательнейшим» язычником поры раннего христианства, какой известен истории вне пределов греко-римского мира. В далекой глуши степей, в глубокой тайне от современников и потомства произошла, повидимому, одна из самых кровопролитных сеч в бурной истории евразийского мира; о ней глухо и отрывочно сообщает Несторова летопись под 965 годом. Судьба решила великий спор в пользу славянства; но Хазарское царство не было уничтожено, а только лишилось своего былого политического могущества.

Замечательно, однако же, что интерес иудейства к русскому славянству, как к объекту религиозной проповеди, не минул и после политического столкновения. Знаменитый эпизод с посылкой евреями послов к кн. Владимиру на единственный в своем роде конкурс религий все еще не понят и не истолкован во всем своем значении. Мы все помним летописный рассказ:

«Се слышавше Жидове Хозарьсти придоша рекуще: «слышахомъ, яко приходиша Болгаре и хрестеяне, учаша тя кождо вѣрѣ своей; хрестеяне бо вѣруютъ, его же мы распяхомъ, а мы вѣруемъ единому Богу Аврамову, Исакову, Яковлю». И рече Володимеръ: «что есть законъ вашъ?» Они же рѣша: «свинины не ясти, ни заячины, субботу хранити». Онъ же рече: «то гдѣ есть земля ваша?» Они же рѣша: «въ Ерусалимѣ». Онъ же рече: «то тамо-ли есте?» Они же рѣша: «разгнѣвася Богъ на отци наши, и расточи ны по странамъ грѣхъ ради нашихъ, и предана бысть земля наша хрестеяномъ». Онъ же рече: то како вы инѣхъ учите, а сами отвержени отъ Бога и расточени? аще бы Богъ любилъ васъ и законъ вашъ, то не бысте расточени по чужимъ землямъ; егда намъ тоже мыслите прияти?»

Еврейская периферия доныне видит в словах кн. Владимира чуть ли не первоначальную идеологию русского антисемитизма. На самом деле в этих словах едва ли содержится неприязненная критика иудаизма. Ритуальная практика еврейства не показалась кн. Владимиру чрезмерно обременительной, не в пример

мусульманству с его «сухим законом». Рецепция иудаизма не казалась ему также слишком резким разрывом с традицией отцов: в этом смысле наименее приемлемой верой для него было немецкое латинство. Отрицание еврейства у Владимира вызвано соображениями чисто мирского, политического характера, смешанными со смутным, еще по язычески суеверным страхом перед необычайностью земных судеб Израиля, поразившей его, конечно, еще до непосредственной встречи с еврейством в лице послов. Но, может быть, под понятным нежеланием связывать будущее Руси с трагической судьбой векового исторического неудачника, скрывается еще нечто другое. В лице св. Владимира мы впервые на русской почве встречаем сознание значительности и поучительности судеб еврейства в этом мире и вместе с тем смутное предчувствие, на конкретном примере от противного, иноприродности путей России к ее чаемому мессианскому призванию. Историческому назначению России суждено было осуществиться в своеобразном сопряжении религиозного пафоса аскетической скудости и самоуничижения с упорной волей и оригинальным вкусом к обширному государственному строительству, как высшей форме утверждения и приятия земной реальности в целом. Иудейство всегда шло (и притом в глубочайшем смысле *добровольно*) от одной национально-государственной катастрофы к другой, никогда не завязывая порванной нити, а начиная всякий раз новую и как бы отталкиваясь от соблазнов землеустроения и властодержательства. Россия неизменно воскресает с новыми силами и в новом образе после таких катастроф, усваивая наследие разрушителей и обращая его на новые цели. Не здесь ли, в этой глубочайшей разнице путей и в неясно предвосхищаемом единстве целей и назначений таятся корни русско-еврейской проблемы, даже поскольку она ставится в чисто мирском, культурно-историческом аспекте?

Долговременному плену и русских и еврейских историков у подражательного, шаблонного западничества мы обязаны тем, что историография русско-еврейских отношений все еще не вылилась в связный, непрерывный рассказ. Только оторванные эпизоды, отдаленные друг от друга вековыми промежутками, свидетельствуют об «избирательно-сродственной» тяге евреев на евразийский Восток. Почти одновременно с основанием крупного культурно-политического центра на крайнем юго-западе европейского мира, в рамках и в сотрудничестве с Кордовским халифатом, происходит другое расселение, затрагивающее юго-запад евразийских равнин (еще до того, как он стал русским). Расселение это опирается, как на исходный пункт, на Крымский полуостров, этот замечательный морской привесок «континента-океана», извечный плавильный котел

народов и немаловажный перкуссионный центр переселений-взрывов. Кипучая торговая деятельность еврейских общин Каффы и Херсонеса, от которых остался немой, но красноречивый памятник — некрополь Чуфут-Кале — не раз соприкасалась на побережьи «Русского моря» с военно-стяжательской предприимчивостью варяго-славянских вольниц и с широким ховяйственным оборотом приднепровских князей. Что еврейская «черта оседлости» заходила довольно далеко на север уже при первых христианских князьях-рюриковичах, об этом свидетельствует весьма вероятное еврейское происхождение Никиты-Затворника и новгородского епископа Луки Жидяты, первого русского писателя и проповедника.[2]) Проникновение евреев на Русь продолжалось и позже; так, есть известие о том, что среди ближних слуг и дружинников вел. кн. Андрея Юрьевича (Боголюбского), составивших против него заговор и умертвивших его в 1175 г. (первый дворцовый переворот на Руси революционного характера) находился и еврей, по имени Ефрем Моисич. (Напоминание об этом факте может послужить — или уже послужило — лишним доводом для поддержания антиеврейской аргументации в известных кругах; но — из песни слова не выкинешь).

Золотоордынский период евразийской истории был также весьма небезразличен для судеб еврейства. При всем известной религиозной терпимости монгольских ханов (по крайней мере до принятия ими мусульманства), в разных частях их необъятных владений (в южно-русской степи, в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии и, повидимому, на Руси в тогдашнем смысле) не редкость было встретить еврейские общины. О них неоднократно упоминает Рубруквис в описании своего путешествия в ханскую ставку. К сожалению, эта глава истории евреев в России почти совсем не освещена наукой.[3])

Упадок Золотой Орды и переход политической гегемонии над евразийским миром к Москве совпадают с новой широко задуманной попыткой некоторых еврейских групп развернуть прозелитическую деятельность в пределах Московской Руси. Крымский еврей Схария заносит с собою на Москву зерна

2) См. Собрание трудов по вопросу о еврейском элементе в памятниках древне-русской письменности Г. М. Бараца, Т. I, отд. 2-ой.

3) Факт, в высшей степени характерный для засилья западнических шаблонов и навыков среди еврейских историков нашего времени: в известной (довоенной) «Еврейской Энциклопедии» мы не нашли ни одной статьи, относящейся к Золотой Орде, монгольским ханам и т. п.

нового учения, пытающегося сблизить ветхо- и новозаветное направление асийской религиозной традиции. В Новгороде Великом объявляется «ересь жидовствующих», в которой еврейское влияние проявляется не столько посредством личного участия (количество еврейских полемистов, судя по числу имен сохранившихся в истории, было, повидимому, невелико), сколько в неожиданно обнаружившемся созвучии ветхозаветных начал каким то сектантски-хлыстовским и утопистским элементам русской стихии, здесь впервые встретившимся с еврейским пафосом мессианского избранничества.

Ответные отклики «ересь жидовствующих» вызвала не только среди простонародья, но и в среде крупной думной и приказной бюрократии, при великокняжеском дворе и даже среди духовенства. Благосклонный нейтралитет по отношению к движению занимал сам вел. князь Иван Васильевич. Оно все разросталось, вовлекая в свою орбиту крупные государственные вопросы (напр., вопрос о престолонаследии).

Ересь вызвала в недрах православия ответное движение, некоторыми чертами на сто лет предварившее европейское явление контр-реформации. Пресловутое «бродильное начало» в иудаизме вполне оправдало себя: в диспутах с еретиками впервые получает полемический закал богословская мысль русскаго православия. Для борьбы мобилизуются все его наличные культурные силы, возникает полемическая литература, производится пересмотр положительного содержания религиозной традиции (Библии, Житий Святых). Но приходится отдать справедливость православию в целом: «каленое железо» не фигурировало в числе средств борьбы с ересью. Были уклоны и соблазны, и даже на огромном расстоянии, по наслышке из десятых уст, действовала грозная повесть об Инквизиции (эпоха «ереси жидовствующих» знаменательно совпадает с гибелью мусульманско-еврейского месторазвития на Пиренейском полуострове). Кое-кто грезил и тогда о праведном насилии, о мече карающем и очищающем. Но против почитателей Фердинанда Католика зазвучал предостерегающий голос «заволжских старцев», с знаменитым пустынником Нилом Сорским во главе. По парадоксу истории на полемике вокруг жидовствующих на Руси впервые идеологически оформляется отталкивание от догматики и практики католичества; этим упраздняется то опасное наследие, которое таило в себе «пораженческое» поведение Московско-русской делегации на Флорентийском соборе 1439 г., этом своеобразном церковном прообразе германо-большевицкого действа в Брест-Литовске.

Шестнадцатый век знаменует массовое устремление евреев на места, на целые века сделавшиеся «месторазвитием» восточно-

еврейского народа. Движение надолго задерживается на крайних западных пределах древней Хазарии. Здесь еврейская масса впервые соприкасается с западно-русской стихией, переживающей смутную эпоху польского анархо-владычества. Общеизвестна печальная роль, которую сыграло малорусское и галицийское еврейство, как орудие эксплуатации крестьянства польскими магнатами-колонизаторами и латинизаторами. Она едва ли чем-нибудь может быть оправдана и еврейство за нее жестоко поплатилось ужасами хмельнищины. Едва ли не ужаснее сказалась рука карающей Немезиды в тяжком духовном и нравственном наследии многих поколений еврейских «факторов» и посредников, этих, в известном смысле, еще более жалких жертв тяжело-гнетущего ясновельможного самодурства, чем кабальная крестьянская масса, исповедывавшая «хлопскую веру». Но, с другой стороны, есть основания думать, что и в ответной борьбе западно-русского крестьянства против насилий шляхты еврейство сыграло известную роль. Еще ждет своего исследователя история еврейских отношений с казачеством; отношения эти отнюдь не ограничивались услугами маркитантского характера, бессмертное олицетворение которых мы имеем в лице гоголевского Янкеля. (Последний, кстати, является первым крупным опытом художественного освоения еврейства русской литературой и внедрения его, как составной части, в русский географический и культурный ландшафт).

Вопреки распространенному мнению, уже в XVII (и даже XVI-м) веке проявляется, после долгого перерыва, тяга евреев в Великороссию, несмотря на резко-отрицательное отношение московского правительства. Так, именно в середине XVII века укоренился в России род Шафировых. Знаменитому вице-канцлеру Петра Великого его еврейское происхождение часто припоминалось в ссорах «птенцов гнезда Петра» из-за власти и влияния. Совершенно равнодушен к этой особенности биографии Шафирова был сам Петр, с его умением практически использовать людей различнейшего звания для государственной работы. Великому царю не пришлось раскаиваться: общеизвестен факт спасения Петра из прутской ловушки, расставленной румынским вероломством, благодаря дипломатическому искусству Шафирова.

Ярким примером непреодолимой тяги в Россию у евреев является в несколько более позднюю эпоху судьба известного героя дела «о совращении» в 1738 г.: Боруха Лейбова. В нем как бы оживает дух Схарии Новгородского; его влечение к России (из которой он несколько раз был изгоняем) явно доходит до маниакальной idée fixe, за которую он поплатился трагической гибелью.

Волна массовых еврейских переселений остановилась на пороге пустынных и бесхозяйных пространств нынешнего юга России. Как и малорусское крестьянство, восточное еврейство переходит этот порог только после первого раздела Польши, от которой русская государственность впервые унаследовала территорию с большим еврейским населением. Еврейские публицисты и историки, кажется, ни разу не помянули добром первого крупного факта в истории отношений русской государственности со своими еврейскими подданными: мы имеем в виду расширение границ еврейской «черты оседлости» на обширные пространства Новороссии (кажется, первый пример этого рода в истории христианских государств). В это самое время во многих микроскопических государствах просвещенной и философической Германии евреи при въезде в города еще платили за себя «скотскую пошлину». Вообще, история евреев при Екатерине II производит как бы experimentum crucis над позднейшими предрассудками западничествующих еврейских деятелей и историков, фанатиков рационализма и уравнительства. Например, льготы еврейскому населению Риги давались екатерининским правительством втихомолку от просвещенного остзейского бюргерства.

Первым русским государственным деятелем, обратившим пристальное внимание на еврейский вопрос, был знаменитый поэт Г. Р. Державин. Его пространное «Мнение о предотвращении в Белоруссии голода и устройстве быта евреев» проникнуто искренним доброжелательством к евреям, несмотря на, в общем, отрицательное о них мнение, и обличает желание подойти к трудной и сложной проблеме с широко-государственнической точки зрения. Это не помешало тому, что в еврейской «периферийной» среде укоренился взгляд на Державина, как на отъявленного антисемита.

Конец восемнадцатого века, принесший гибель изжившей себя польской анархо-государственности, вознес в то же время петровскую Россию на большую высоту политических успехов (приобретение Белоруссии, Волыни, Подолии и Новороссии). В это время в духовный инвентарь восточного еврейства входит новый чрезвычайной важности элемент. Зарождается духовное движение хасидизма, одними встреченное восторженно, как ответ на тоску народной души, как избавление от слишком долгого засилья религиозного формализма и законничества; другими же анафематствуемое, как опасная и соблазнительная ересь.

Уже встречались замечания о том, что мистический аскетизм первоучителя хасидизма, Израиля Межибужского, философски разработанный в трудах его ученика Бера Межирецкого и др., во многом сходен с воззрениями его младшего совре-

менника Тихона Задонского и знаменитых оптинских старцев XIX-го века на сущность и назначение монашества. Основной стержень хасидического учения, и по богословским и полемическим писаниям его основателей и в аскетической практике первых знаменитых «цадиков» Подолии, Волыни и Белоруссии (Наум Чернобыльский, Залман Борухов-Шнеерсон, Арон Старосельский и др.), состоит в крайне напряженном ощущении благодатной близости Божества к творению. Из этой близости проистекает возможность посредничества между Богом и человечеством в лице многих праведников одновременно, сокрытых от ведения мира, но уже при жизни почитаемых в тесном кругу посвященных. При всей глубине непрестанного духовного созерцания Божества, сила благодати у праведника обращена не столько к единоличному душевному спасению, сколько к высшему благополучию верующих, проявляясь не только в исповедничестве и учительствовании, но и в мирском делании.

Таким образом, хасидизм, возникая у самого географического рубежа латинства и православия, сближается с последним в своем теургическом и нравственном идеале назначения праведника в этом мире. Как известно, именно в этом пункте традиция русского старчества столь сильно расходится с крайностями воззрений латинства на монашеский затвор и умерщвление плоти. Учение же основателей хасидизма об обязательности духовной радости о Господе, о слиянии с Божественной субстанцией в молитвенном восторге — также противоположно суровому, отрешенному от реальности творения духу католического монашества, доходящего в экзерцитациях Лойолы и в «трупном повиновении» иезуитов, при всей их обращенности к суете мира сего, до некоей болезненной некрофилии.

Есть глубокий смысл в близости местозарождения хасидического движения к русско-восточному миру. Географическое, ландшафтное окружение основателя хасидизма и его ближайших последователей не напрасно совпадает с местностями, освященными в православии старинной религиозной и культурной традицией. Зародившись в глинистых *пещерах* у Буковинских Кутт, где Израиль Межибужский (Бал Шем Тов) проводил целые месяцы в молитве и размышлениях, новое учение неудержимо влеклось на Восток, через Подолию и Волынь в Киевщину и Белоруссию по тем же дорогам, по которым шли паломники в Киевские Печеры, Почаев и Острог. Очень важная и доселе, повидимому, неосознанная сторона хасидизма была в том, что в нем впервые сказался протест против векового загона в немецкое и польское гетто, жажда приближения к земле, к природе, тяга к внедрению в определенные ландшафтные рамки. Хасидизм был порождением,

гл. образом, местечкового и сельского еврейства юго-западной окраины евразийского мира; в нем есть много свежего, степного воздуха и живое ощущение обширности родных пространств с их разбросанными по одиночке жилищами и сборищами верующих. Драматическое действо хасидической легенды развертывается в уединенных степных корчмах, в таинственных далях бескрайных полей, изрезанных бесконечными петлями проселков, по которым ветхозаветные «балагулы» везут через непролазную, черноземную грязь таинственных пассажиров. Над таинственными прибежищами легендарных еврейских затворников Полесья и Белоруссии веют те же древние, мистические ветры, что и над срубами исконно-русских скитских пустынножительств. И белорусский или подольский крестьянин в культурно-географическом реквизите хасидической легенды фигурирует не как статист, но как частый гость, как бессознательное орудие божественных предначертаний, как излюбленный праведниками образец для переодеваний, воплощений и сокрытия от нескромных мирских взоров в их земных странствиях. (Замечательно, что, с другой стороны, картина хасидической религиозности и быта всегда вызывала глубокий интерес окружающего крестьянского населения).

Могучие восточнические тяготения хасидизма оказали решающее влияние на отношение еврейства к событиям 1812 г. Русское командование в Отечественную войну сумело установить наилучшие отношения с еврейским населением западного театра войны и не раз отмечало его похвальную верность русскому делу. Донесения французских разведчиков в штабы о том, что на пути Великой армии «все исчезает и ничего нельзя достать, даже евреев», верно выражают действие, произведенное на евреев ужасом перед именем Наполеона, внушенным слухами о его смесительных и уравнительных новшествах.

Вообще хасидическая культура, развертываясь на самом стыке русского и западного миров, рано и с большой настойчивостью ставит себе вопросы об отношении к государству, о судьбах и иерархии земных царств. Легендарные сказания о могуществе Белого царя упираются в область мистического и потустороннего, кульминируя в личности имп. Николая I. Изощренный политический опыт еврейства с большой ясностью ощутил в этом монархе ту предельную высоту могущества петровской империи, за которой начиналось нисхождение ее фантастической кривой. Странным образом, с этим началом понижения совпадает начало упадка самого хасидизма; именно в эпоху Николая I обозначается впервые ущерб и излет хасидических энергий, который можно приурочить к вынужденному выселению (по мотивам, доселе не совсем выясненным) некоторых «цадиков» с многочисленными группами последователей

из пределов империи. Замечательно, однако же, что вся эта хасидическая эмиграция не рассасывается по западным странам еврейского рассеяния, а жмется тесно к русской границе, как бы в ожидании вести о снятии запрета. Возникает ряд хасидических центров в Галиции, Буковине, Молдавии: Чортков, Боян, Садагора, Бочач, Стефанешты — ожерелье огненных точек, обрамляющее те заветные владения Белого царя, откуда идет беспрестанный поток верующих паломников, идейной переписки и денежных средств от скудных лепт из местечек и сел: все это благодаря благосклонному нейтралитету русских пограничных властей, в общем не чинивших напрасных препятствий. Так возникла своеобразная еврейская вариация Белой Криницы, и паломничества в это близкое заграничье были непрерывной практической школой, где беспрестанно дебатировался извечный вопрос о Западе и Востоке. Ответ на вопрос получался сам собою: только на Востоке способно было соблюсти себя беспримесно строгое благочестие отцов. Разложение хасидизма произошло не только под напором вольнодумных идей «берлинского» просветительства — этой первой ласточки «периферийной» лже-культуры и измельчания: ему способствовал также роскошный образ жизни некоторых цадиков, пришедший на смену освященной преданиями героической бедности, на который тратились трудовые гроши верующей массы. Хасидическая легенда иссякла и изошла уже на глазах современного поколения, когда кое-кто из «цадиков» стал уходить на Запад, в чужую, негостеприимную и грешную Вену и еще дальше, а с Востока пришла, в конце концов, вместо снятия запретов, война и за нею революция. Наконец, тяга «последних в роде» цадиков и хасидов за океан, на потеху и удовлетворение тщеславия снобов и выскочек Бруклинского гетто, является последним грустным аккордом некогда могучей и торжественной мелодии. Без сомнения, однако, некоторые элементы культурного наследия хасидизма еще живы сейчас в искаженном виде в разных областях еврейской жизни. Так, несомненно, что всеобщий социальный утопизм русско-еврейской периферии, восходя идейными корнями своими к западной традиции, получил свою эмоциональную окраску лже-религиозной исступленности из пережитков хасидического наследия. Из него же черпает свою тематику и мирочувствование и еврейское искусство последних десятилетий, в котором столь сильно представлен лже-религиозный пафос футуристского разлагательства и подмены реальности. Есть жуткая символика в том, что как и русская деревня, еврейское местечко, со своей фантастикой беспочвенности, внезапно вырастающей из степного ландшафта, с хаотической перекошенностью перспектив и планов своего убогого строительства

оказалось настоящей находкой для футуристского лже-художества, вышедшего из социальной мути мировых городов Запада. Совпадение русских и еврейских элементов утопического разрушительства в искусстве являет обратное и искаженное подобие тех творческих созвучий, которые в свое время проявились, напр., в деятельности И. И. Левитана и ряда других евреев, сделавших вклад в развитие русского искусства.

Здесь было бы уместно провести некоторые аналогии из области искусства и литературы и остановиться на отражении русско-еврейских отношений в обще-русской культуре. Немаловажное участие евреев в строительстве этой последней не раз трактовалось, по большей части с апологическими и самопревозносительными целями, в писаниях радикально-мыслящей «периферии», с особенным подчеркиванием освободительной и радикально-утопической публицистики. Гораздо новее и своевременнее было бы напомнить, во-первых, о своеобразном отношении (независимо от оценок) к еврейству во всей русской литературе нового времени, столь исключительно отличающейся от европейских своим подходом к теме еврейства как бы изнутри, без европейской расовой надменности (Пушкин, Гоголь, Достоевский, Лесков, Розанов, славянофилы, Мережковский, Л. Андреев); во-вторых, об участии еврейских писателей в антирационалистических и восточнических течениях русской мысли (М. О. Гершензон, Л. И. Шестов, А. Л. Волынский, Ю. И. Айхенвальд) и в литературе, обличающей утопические крайности современного радикализма, в том числе и еврейского (Г. А. Ландау, Д. С. Пасманик, И. М. Бикерман и др.). Но обширность этих тем, выходящая далеко за пространственные пределы настоящей статьи, заставляет ограничиться одним неполным перечислением имен.

В русской революции подвергается полному разгрому весь основной культурный массив восточного еврейства в смысле физического существования, территориально-политического единства, религиозно-культурного процветания и экономического благополучия; в этом смысле она представляет собою одну из самых грозных катастроф в его истории, хотя еще до сих пор — что весьма показательно — неосознанную в качестве таковой современным «правящим слоем» еврейства — его интеллигентской периферией. Но зато в ней же получила полный простор для злой игры своего рационалистического фанатизма и социально-утопического изуверства еврейская западническая полуинтеллигенция. Проблема активности еврейского участия в самых разрушительных крайностях революции на долгие годы останется краеугольной для восточно-еврейского самосознания и требующей для своего уразумения и преодоления, прежде всего, беспощадной искренности и прямолинейности,

не совращаемой со своего пути ложным стыдом или страхом. В другом месте мы попытались показать возможный подход к этой проблеме и не будем здесь повторять там сказанного. Отметим только, что, если еврейское западничество сыграло столь вредную роль в русской истории последних десятилетий, то, с другой стороны, нельзя не поразиться тем обстоятельством, что, если обратить тему настоящего очерка и попытаться найти в русской стихии черты сходства с еврейской и библейской, то наиболее яркое подобие можно будет найти именно в стихии русского религиозно-сектантского, хлыстовского изуверства и революционно-утопического разрушительства. Еще на заре времен библейское мироощущение, в наивной цельности своей воспринимающее действительность исключительно как функцию сверхмирового начала, сводит и олицетворяет стихию разрушительства в идолопоклонном отступничестве; и русский революционный утопизм, развертывая свое злое марево уже в поздний час истории, открыто приемлет наследие тех древних богоборцев, о которых тревожная повесть дошла до нас из уст старейших насельников земли. Так азийское начало в русской стихии, столетиями искривляемое и уродуемое в угоду чужеродным началам, в наши дни кульминирует в небывалом, вселенских размеров, Валтасаровом пиршестве изуверского богоотступничества.

Но, по нашему твердому упованию, судьбы русского утопического замысла уже взвешены на весах вселенских судеб; и, по роковому сплетению исторических свершений, его гибель будет также крушением надежд и идеалов еврейско-западнической периферии.

Минет, наконец, всемирно-историческая катастрофа русской революции, прейдет преходящее, изобличится лживое и фантасмагорическое; но живое, истинное и вечное останется, будет жить и восстанавливать то, что восстановимо из разрушенного.

Освобождение России от цепких пут утопического наваждения застанет восточно-еврейский народ в состоянии небывалого духовного и материального оскудения. Не только развеяны в дыме революционного пожара плоды труда и бережливости целых поколений незаметных, упорных тружеников, но подорваны глубочайшие основы всего многовекового быта, как он успел сложиться на обширных пространствах «черты». И вина за это разрушение падает почти исключительно на идеологов и утопистов, которые сами вышли из «черты», и ни на кого не может быть переложена, вопреки всем самообольщающимся усилиям «общественных деятелей». Экономическая почва, на которой веками держалось еврейское ремесло и мелкая

торговля, надолго, если не навеки, обеспложена, и подвижное, деятельное население, еще столь недавно сыгравшее спасительную роль своей изворотливой борьбой против самодурского декретотворчества военного коммунизма, сейчас окончательно превращено в миллионную массу нищих побирушек. В религиозных гонениях на иудаизм, воздвигнутых уже не жестокими иноверными царями, как во времена оны, а жестокой и фанатичной чернью из «евсеков», что то самое драгоценное и хрупкое из всего тысячелетнего духовного наследия навсегда разбито и обезображено. Значительные части как лесной, так и степной части «черты» разобраны по рукам разными дружественными или самоопределившимися державами и еврейское население этих областей загнано в культурные колодки пресловутых «прав меньшинств» и задыхается в непривычной атмосфере самодовлеющего и нетерпимого провинциализма.

Но еще одна, может быть, самая высшая, и уже, во всяком случае самая невосстановимая и невознаградимая ценность утеряна восточным еврейством в мутных волнах революционного половодья. Это — та, некогда столь прочно установленная, непричастность к неизбежному, функциональному злу, сопряженному со всякими видами участия в управлении и властодержательстве, в которой можно было видеть единственную положительную сторону еврейского бесправия. Сейчас весь нравственный капитал, накопленный в десятилетиях правового прижима, без остатка растрачен в изуверских эксцессах тех десятков тысяч выходцев из черты, которые либо приложили руку к напраснейшим, бессмысленнейшим насилиям революционной стихии, либо образуют собою ее самую убежденную и восторженную клаку. Грубое прикосновение революции и здесь сорвало покровы лжи и условностей с неприглядной истины — и в результате еще на одну легенду — легенду о «народе-непротивленце» — стало беднее наше прозаическое человечество.

Обнищалым, раздробленным, выбитым из колеи привычного быта, духовно опустошенным и обезглавленным, вдобавок, с бременем ужасного обвинения перед судом истории — выйдет восточное еврейство из огненного кольца революции. Но то, что уцелеет от великого пожара, сможет и должно будет жить и изживать лихолетье.

Всякая великая национальная катастрофа есть призыв к пережившим произвести пересмотр духовных ценностей, которыми жил до нее народ, и именно под знаком этого самоуглубленного пересмотра нарождается новая жизнь после урагана, а не из бесславного наследия утопического насильничества. И вопреки оптимистическим прорицаниям социалистических и сионистских утопий, усыпляющим в народе его

острое чутье реальности, для российского еврейства пришла пора радикально пересмотреть основы своего духовного достояния, как оно сложилось в полутора веках жительства в рамках русской государственности и в течение многих веков исторических тяготений к своему современному «месторазвитию». Ему надо прежде всего проникнуться духом реальности — не в том смысле, какой придают ему пошлые адепты материалистической цивилизации и утопические проходимцы, а в ином, религиозном и вечном, ныне вновь освобожденном из под идеологического хлама очистительной грозой революции. Практически это означает — стать на путь, по новому и в положительном смысле этого слова революционный, рвущий со всеми бесславными пережитками европейского XIX-го века, со всем тем, что с таким яростным, псевдо-религиозным рвением проповедуют мистагоги материальной вещественности и устроители всеобщего счастья из еврейско-интеллигентской среды. Утопическое увлечение этого еврейского «правящего слоя» соблазнами западного рационализма и «внешнего», политического революционизма, с его непримиримым отрицанием исторически сложившейся государственности — при всей его кратковременности (можно считать бесспорным, что революционные симпатии в русско-еврейской среде гораздо более позднего происхождения, чем в собственно русской) существенно способствовало разрушению «общего дома» — государства, принесшему с собою, в частности, как раз для еврейства величайшую катастрофу за всю историю диаспоры.

Но поворот на исконные пути своего векового культурно-исторического прошлого означает для русского еврейства отнюдь не только реакцию против духовных корней *минувшего* национального несчастья. Еще не минуло господство утопических изуверов, хотя уже подорвана идейная основа революционной легенды и рассеиваются — пусть и очень медленно — ядовитые туманы одержимости. Своевременное отвержение еврейским народом идейного наследия его перманентно разлагающейся периферии, столь безраздельно и неоспариваемо его представляющей за последние десятилетия, еще способно сыграть (и даже в некоторой степени уже сыграло) известную роль в борьбе живых сил страны против мертвящих объятий коммунизма.

И более того. Есть основания опасаться, что и с падением власти утопистов чаша испытаний России еще не будет выпита до дна. Опасность еще раз угрожает с Запада, но на этот раз уже не в виде утопических учений, против которых Запад, сбыв свое опасное наследие наивному русскому западничеству, оказался в достаточной степени иммунным; дело идет о непосредственных и откровенных захватнических стремлениях.

К настоящему времени вульгарно-народоправческие устремления европейской политической мысли XVIII и XIX веков проделали свой полный круг и обернулись пред лицом изумленной современности небывалым разлитием похоти властвования и угнетения — уже не у отдельных только честолюбцев, а у обширных масс уличной черни современных мировых городов. В частности, по отношению к еврейству совсем неожиданный результат выказала эволюция тех демократических учений, которые еще доныне вербуют столько восторженных адептов в еврейской среде. То, что еще столь недавно считалось одним из наиболее несомненных предрассудков, обреченным очень скоро исчезнуть перед победным шествием разума и демократии — расовые предубеждения — в настоящее время выказало прочную укорененность в самых основах европейской стихии и обрело молниеносное распространение. И, как уже столько раз, первобытная ненависть непросветленного этноса, начинающего одолевать устои национального государства (в этом один из симптомов оскудения Европы) обрушивается в первую очередь на самого подлинного представителя азийского начала в Европе — на европейское еврейство.

Но в то же время расистское поветрие наших дней ищет для себя также и более существенных, а главное — доходных объектов порабощения и эксплуатации. И в первую голову на роковую чреду нового, «массового» империализма поставлена Россия с ее неисчислимыми естественными богатствами и пресловутым «неумением управляться». В расистских ячейках, где фанатическая национальная гордыня уже носится с проповедью железопоклонного язычества и отпадения от слишком еврейского христианства, зреют также планы разделов и аннексий. Таким неожиданным путем выявляется ныне органическая зависимость судеб восточного еврейства от путей России. Так грядущее участие еврейства в борьбе за Россию, в обороне общей родины от опасности, грозящей с Запада — обращается в буквальном смысле в борьбу за самое заветное и последнее — pro aris et focis.

Еврейскому народу пришла пора по новому осмыслить глубокое значение столь трагического для обеих сторон сплетения своих судеб с судьбой России в самый критический час вселенской истории. Есть какие то созвучные струны в древнем еврейском мессианизме, пронесенном через века скитаний, и в мессианизме русском, в муках искупающем вину и грех величайшей на памяти людей национально-государственной катастрофы. И есть, с другой стороны, некое умопостигаемое сходство между нигилистским, пересмешническим богоборчеством еврейской периферии в ее непрерывном состоянии разлагающего брожения—и государственно-самоистребительской

ярostью русского революционного разночинства, этого последыша западнической псевдоморфозы: в последнем, онтологическом плане у обоих обличается лже-религиозная одержимость чисто асийского, библейского типа.

В свое время расцвет хасидизма и в то же время первые робкие шаги в сторону культуры Запада не напрасно совпали с периодом смут и тревог на юго-западной окраине Евразии (разделы Польши, Наполеоновские войны). Есть все основания ожидать, что мировые катастрофы последних десятилетий не останутся без отклика в народной душе восточного еврейства. Пусть еще тянется мучительный бред материалистической утопии: ее засилье и гнет воспринимаются только как нечто внешнее и навязанное, ее внутренняя живая сила подорвана и утрачивает власть над лучшими умами. Новый смысл исторических реальностей постигается в грозном хаосе разбушевавшихся страстей; новые пути открываются перед мыслью, не застывшей в обветшалых западнических шаблонах. Но на эти новые пути может повести народ лишь новое возглавление, новый «правящий слой», а не старая, безнадежно скомпрометированная, обнищавшая духовно «периферия», обреченная вечно вращаться в кругу сменяющих друг друга утопий, неизменно приводящих к новым крушениям и разочарованиям.[4]) И в числе самых насущных духовных задач, стоящих перед новым возглавлением, стоит проблема осознания глубочайших связей восточно-еврейского народа с его современным «месторазвитием» на юго-западной окраине Евразийского континента. Предстоит основательное исследование исторического прошлого этих связей, оформление накопившихся религиозно-культурных, бытовых, языковых, литературных и всяких иных общностей. Только на органическом «приятии» единственно данного земного поприща своих судеб может восточно-еврейский народ обосновывать свое право на сожительство с прочими народами России и на покровительство общей родины. Меньше всего может помочь та слишком шумная и нескромная требовательность «идеологов» и «деятелей», которая все еще носится с правовыми понятиям и концепциями времен поистине допотопных.

В области практической политики перед русским еврейством стоит огромная и настоятельнейшая задача: разрыв со старыми методами «нейтрального выжидания» и «лояльного безразличия» по отношению к государственности, столь дорого обошедшимися ему в наши дни, и поворот на новые пути действенного приятия. Ибо только тот может притязать на уважение и недруга и друга, кто в час великой борьбы совершил свободный и всегда глубоко трагичный акт выбора своих соратников, своей судьбы, своего пути, своего назначения и своих врагов. Значение этого выбора сейчас даже объективно немаловажно: в высоко вероятной решительной борьбе русско-евразийского мира против захватнических предприятий, угрожающих ему с Запада, еврейский народ имеет шансы сыграть видную и даже почетную роль.

Не малодушные жалобы на чужое несовершенство способны вывести восточно-еврейский народ из его теперешнего тупика, а только приятие своей доли ответственности за общие судьбы России в прошлом и в грядущем, свободное от оговорок законнического лукавства «вождей» и «деятелей». И вопрос о том, хватит ли на это у него духовных сил в ныне наступающий двенадцатый час его истории есть вопрос о том, быть ему или не быть.

Право на будущее не выигрывается сутяжнически в безнадежных исторических спорах, а обретается в акте свободного творчества своей судьбы. Ducunt fata volentem, nolentem trahunt.

Я. А. Бромберг

---

4) В момент, когда пишутся эти строки, приходит известие, о крушении сионистского замысла о Палестине, лишившегося покровительства Англии, которой стал уже не нужен этот «выжатый лимон».

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПРАВОВЕДЕНИЯ

Евразийский взгляд на культуру, как на особое органическое единство, выдвигает вопрос об изучении отдельных органических частей культурного целого, как в их специфических особенностях, так и в их взаимных отношениях. К числу таких органических элементовъ, из которых состоит жизнь каждой культуры, принадлежат язык, искусство, право и т. п. Изучение всех этих ветвей культуры, поскольку во всех них обнаруживается единая общая органическая природа, требует одинаковых подходов и методов; но методы эти необходимо индивидуализируются, поскольку дело идет об изучении специфического существа каждой из этих ветвей в свойственных им индивидуальных особенностях.

Органическая природа права более ста лет тому назад подчеркнута и выявлена была исторической школой юристов. Главным источником права, как известно, представители органической школы считали обычай, процессы образования которого имеют явно выраженный органический характер. Сравнение обычного права с языком не раз приводилось и использовалось представителями исторической школы. Вышедший из этой школы позднейший социологизм в правоведении во многих отношениях применял к праву те же методы что и лингвистика — в особенности видно это из примера сравнительного изучения права, методологически сходного во многих отношениях с наукой сравнительного языкознания. И ныне перед социологическим направлением в науке о праве стоят в значительной степени те же задачи, что и перед лингвистикой. Не исключена, например, специальная проблема построения структурных типов в пределах правовых феноменов в том смысле, в каком они изучаются современным языкознанием. Характерно однако то, что все эти проблемы целесообразно ставить по отношению к тем примитивным ста-

диям культурного развития, на которых главным источником права является обычай и бытовая практика. Там же, где начинается господство законного права, там применение единых методов приходит к своим логическим границам. Единство методов, связывающих лингвистику и науку о праве, наталкивается здесь на некоторый предел. Это находит свое объяснение в тех особенностях, которые отличают право от других ветвей культуры.

1. Правовые явления в значительно большей степени подвержены сознательному воздействию, чем язык. Нельзя отрицать возможности организованного общественного воздействия на язык какого нибудь народа или какой нибудь культуры, однако невозможно представить, чтобы процесс языкотворчества стал бы объектом из единого центра исходящей, монополизированной государством деятельности, каковым издавна стал процесс правотворчества в государствах, его монополизировавших. Язык есть культурный феномен, более органический и стихийный, чем право; подобно другим органическим феноменам он родится в особом социальном процессе,который не может быть сполна поглощен сознательным воздействием, как поглощается им образование права в процессе государственного законодательства. Нельзя декларировать законы языка, как декларируются законы юридические. Нельзя искуственным путем построить систему языка, как построяется государством система права. Этим объясняется неуспех искуственно изобретенных языков в роде Эсперанто.

2. Правовым феноменам в большей степени присуще стремление к унификации, которое высшего своего выражения достигает тогда, когда правотворчество становится монополией государственной власти Право, на основе которого жили евразийские народы, унифицировано было законодательством Российской Империи. Это законодательство допускало для отдельных классов населения (крестьян) и для отдельных народов России-Евразии применение собственного обычного права, однако же только в качестве субсидиарного источника. Унификация российского права получила дальнейшее развитие в советском законодательстве с присущим ему стремлением к универсальной кодификации Национальные особенности некоторых юридических институтов признаются и советским законодательством, но только в тех пределах, в каких они находят свое выражение в кодифицированном обще-советском праве. Для юриста таким образом феномен единого права известной многонациональной культуры имеет еще большее значение, чем факт единого и общеупотребительного языка для лингвиста. Единый государственный язык, не смотря

на свои унификационные тенденции, неизмеримо менее влияет на природу других языков, на которых говорит население данного государства, чем единое унифицированное право, которое отменяет национальные правовые институты и в корне преобразует правовой быт входящих в одно государство народов. Феномен языка гораздо более «федералистичен», чем феномен права. Единство языков одной общей структуры есть явление заданное, подлежащее научному нахождению и определению; единство права, напротив того, есть данный факт, от которого должен отправляться, как от основной своей предпосылки, изучающий культурные особенности народов юрист.

3. Право более сочетаемо с принуждением, чем язык и другие культурные феномены. Насильственное насаждение чужого языка есть явление, хорошо известное истории, но процесс такого насаждения всегда постепенен и длителен. Языку нужно научиться, что зачастую наталкивается на трудности чисто стихийные, почти что непреодолимые. Право же просто «применяется» путем средств чисто внешних, менее всего органических и стихийных.

4. Праву присущ, далее, в большей степени момент изменчивости и динамичности, чем присущ он, скажем, месторазвитию или феномену языка. Последние, как было сказано, более органичны, чем право, и менее подвержены преобразованиям и ломке. Этот подвижный характер права мы особенно наблюдаем в революционные эпохи. Русская революция не оставила от права императорского периода камня на камне. Можно утверждать наличность некоторых внешних заимствований, сделанных советским правом у императорского (например, в уголовном кодексе), но основной дух институтов того и другого — принципиально различен, прямо противоположен. Подобной ломке не могут быть подвержены такие области культуры, как, например, язык, хотя он тоже испытывает изменения.

5. В силу сказанного, в правовой области гораздо большую роль играют заимствования и чужеродные влияния. Возможно даже искуственное перенесение чужеродной правовой системы в другую культурную область, где она сможет долго жить, действовать и развиваться. Так кодифицированное право империи, созданное в значительной степени Сперанским, было в большой мере таким чужеродным продуктом, который возник в результате перенесения западных юридических понятий на русскую почву. Заимствованная с запада теория марксизма наполнила в значительной степени на правовые понятия и правотворчество советского союза. Чужеродныя влияния и заимствования известны и языку, но нельзя с такой легкостью перенести чужеродный язык на какую нибудь культуру, пе-

реучив этому языку население и заставив его придерживаться чужой речи так, как можно *заставить придерживаться норм чужеродного права*.

При познании культурных особенностей такого феномена, как право, возникает ряд совершенно специфических проблем, которые можно свести к следующим:

I. Первая группа проблем, которые ставятся евразийством по отношению к праву имеет своеобразно «структурный» характер. Нужно различать при этом проблему нахождения *структурных типов* от проблемы определения структуры единичного культурного явления. Первая проблема может быть поставлена тогда, когда мы имеем дело с известным рядом, параллельно существующих культурных феноменов; вторая возникает тогда, когда мы имеем в виду познание одного единичного явления, которое не сопоставляется с ему подобными или в силу особой методологической установки или потому, что таких подобных явлений просто нет. С этим последним случаем мы встречаемся при познании единого унифицированного государством права. Феномен этот не имеет в пределах той культуры, к которой он принадлежит, ничего себе параллельного. Параллельны ему только чужекультурные законодательства, сравнение с которыми превосходит уже проблему изучение единичной культуры. Поэтому, если и можно искать унифицированному праву какие либо аналогии, то найти их можно не по параллели, но по линиям хронологического движения вглубь, в направление к прошлому. Факты, которые при этом нужно иметь в виду по отношению к евразийскому миру, складываются из следующих групп весьма разнородных явлений: а) законодательные источники древнего русского права вместе с различными превходящими к нему восточными, византийскими и западными влияниями; б) правосознание и правовое чувство широких народных масс, отчасти кристаллизовавшиеся в право народных обычаев, отчасти же не закрепленные ни в какие положительные источники — так называемое интуитивное право, властно определяющее динамику исторической жизни (сюда относятся правовые представления русскаго крестьянского мира, казачье право и т. п.); в) официальное право Российской Империи в его различных источниках, включая не только положительно правовые установления, но и вдохновляющие правотворчество правовые принципы и правовые теории; г) новейшее право народов западной культуры, оказавших и своими положительными установлениями и своим правосознанием и своими правовыми теориями огромное влияние на право Империи; д) советское право, до основания разрушившее право императорское и построившее свою собственную правовую систему,

в которой бессознательно отразились, как разнообразные факты нашего культурного прошлого, *так и извне заимствованные теории западного социализма*. Изучая все эти разнообразные факты, можно установить те общие структурные черты, которые одинаково свойственны праву евразийской культуры, несмотря на разнообразные и часто враждебные тенденции, обнаруживающиеся в отдельные эпохи исторического развития этой культуры.

II. Вторую группу проблем составляют вопросы, связанные с изучением влияния специфических особенностей данной культуры на процессы сознательного государственного правотворчества. Хотя процессы эти являются сознательными и целесообразно организованными, однако в них нельзя не открыть чисто подсознательных стихийных мотивов, обусловленных влиянием свойственного данной культуре духовного мироощущения, культурных традиций, культурных атавизмов и т. п. В частности по отношению к евразийскому миру представляется особо любопытным вскрыть все названные влияния в факте возникшего после октябрьского переворота революционного законодательства. Возникает вопрос, в какой мере настоящее отразило в себе культурные влияния не только ближайшего, но и далекого прошлого — в какой мере, например, революционное законодательство бессознательно воспроизвело старейшие культурные традиции в виде влияний со стороны народного правосознания и со стороны древних, уже отмененных законодательством империи, институтов.

III. В ближайшей связи с этим вопросом стоит другой, не раз привлекавший внимание юристов и у нас, и на западе. Мы говорим об изучении взаимоотношений между официальным, действующим правом и правом неофициальным, не изданным государством, не подкрепленным его авторитетом; иногда даже враждебным основным тенденциям государственного законодательства, и тем не менее проявляющим силу действия — зачастую с необыкновенным упорством и постоянством. В реальной общественной жизни очень часто встречается сочетание двух правопорядков, двух правовых систем, «двойного права» — исходящего от государства и порожденного самой жизнью, ее требованиями, симпатиями и интересами. В последнем и проявляется внутренний дух, свойственный данной культуре или данному культурному слою и проявляющийся вопреки волевым напряжениям государственного правотворчества. Нет другой почвы, более благоприятной для изучения специфических устремлений и тенденций культурного целого, чем эта сфера почти что инстинктивного, подсознательного или полусознательного обнаружения сил, дви-

жущих и регулирующих социальную жизнь. Особо благоприятными для наблюдения являются при этом эпохи ломки старых правовых укладов и создания государством нового права. В такие эпохи с особой силой возникают стихийное правотворчество самой жизни, которая не хочет следовать за государством и упорно ищет своих собственных путей. Исследователи советского права не раз отмечали наличность подобного «двойного» права в советской России. К сожалению им не был доступен богатейший материал, который может доставить современная русская жизнь. Несомненно, что, не смотря на небывалую ломку, в ней огромные слои населения живут на основании какого то своего,возникшего вопреки государственной воли, права. Наблюдение всех относящихся сюда фактов могло бы быть предметом особого систематического исследования, которое возможно только на русской почве и едва ли может быть выполнено силами одного человека.

IV. Совсем особый круг проблем составляет построение специфической для евразийской культуры системы правовых понятий, которую можно назвать *теорией права*. Говоря о такой «евразийской» теории, мы отнюдь не придерживаемся особого, иногда свойственного новейшей философии культуры (например, Шпенглеру) релятивизма. Основные правовые понятия (так называемые «категории» права) должны по своей природе быть достаточно «всеобщими», чтобы обнимать собой право любой культуры — и евразийской, и европейской, и всякой иной. Но фактическая формулировка этих понятий в правосознании различных культур может быть весьма разнообразной, более или менее удачной или неудачной. В частности наша русская общая теория права была формулирована в русской науке императорского периода. Одним из направлений этой науки был и русский марксизм с его основными воззрениями на право, получившими свое подробное развитие в современном советском правоведении. Главной отличительной чертой этого периода в развитии русских юридических знаний был свойственный последним европеизм. Русская философия права, в своих основных течениях, не только воспроизводила основные направления европейской философии (позитивизм, эволюционизм и историзм, экономический материализм, новокантианство, немецкий идеализм), но и создала свои основные понятия по западным образцам — главным образом путем перевода основных правовых понятий европейской, в частности германской теории права. Так возникли такие понятия, как объективное и субъективное право, юридическая норма, субъект и объект прав и т. п. Кто изучал западную теорию права, тот знает, насколько эти основные

юридические понятия, даже в пределах западной науки, не общепризнаны, оспоримы, условны. Западная теория права не находится еще в состоянии вполне сложившемся, в ней борются различные враждебные течения и она до сей поры требует пересмотра, выяснения и углубления своих начал. При таком положении возникает вполне законный вопрос, не представляет ли русское правосознание и возникшие на его почве юридические понятия благоприятного материала для формулировки основных юридических категорий и построения на их основе общей теории права. Быть может юридическая мысль, освобожденная от исторических традиций и условностей запада, найдет более удачные логические формулы для выражения смысловой структуры права, правового эйдоса, чем это удавалось мысли западной, над которой тяжелым грузом висят влияния условной терминологии римского права, его средневековых комментаторов, средневековой схоластики и средневековой латыни. Мы не проповедуем вовсе ненавистничества к западной юриспруденции — она имеет за собой долгую историю и долгий опыт — мы боремся только с рабским ей подражением, с стремлением ограничить свое научное творчество простыми переводами с иностранных подлинников. Мы ставим проблему создания собственной правовой терминологии, которая могла бы лучше, чем западная, выразить правовой эйдос. Мы ставим проблему построения новой теории права, которая соответствовала бы правосознанию евразийских народов и адэкватно выражала бы их основные культурные интенции.

V. В тесной связи с означенной проблемой стоят также и те вопросы, которые можно назвать правно-политическими. При познании культурных особенностей такого единичного, чрезвычайно подвижного, легко подверженного изменениям феномена, как право, дело должно итти не только о вопросах сущего, но и проблемах долженствующего. Приходится определять подвижную проблематику настоящего исторического момента, в котором скрестились и слились в одно целое народное правосознание и правовое чувство, волевые устремления государственного правотворчества, различные внешние влияния и заимствования. Из всего этого сложного комплекса приходится определить то, что действительно обладает характером субстанциальным, что обнаруживает не вполне выявленную, но ценностно необходимую линию настоящей жизни и устремлений ее будущего развития. Основные правно-политические проблемы, соответствующие настоящему историческому моменту, могут быть формулированы в следующих положениях: а) Построенная советским государством правовая система принципиально отрицает идею правомочия и

выдвигает на первый план идею социальной обязанности. б) В этом же направлении движется и развитие западного права, не только в положительном правотворчестве, но и главным образом в западном интуитивном праве, в западных юридических и социально-политических теориях. в) Правосознание эпохи империи, хотя и не отрицало идею правомочия, но не сумело дать ей достаточной практической и теоретической формулировки. В эпоху создания империи государство имело еще тягловый характер — было основано, следовательно, на идее повинности и службы, а не на идее правомочия. В эпоху создания «вольности дворянской» идея правомочия преобрела явно классовой характер. Кодифицированное право империи, хотя и подняло названную идею на достаточную степень всеобщности, однако не съумело выразить в ней правовых интенций и правового чувства широких народных масс. г) Идея правомочия, в виде, например, вольностей крестьянских, вольностей казацких, вольностей национальных и т. п. глубоко жило в правосознании и правовом чувстве евразийских народов, но не получила достаточного теоретического выражения. На западе для выражения названных народных настроений была создана теория так называемого естественного права, истоки которой глубоко коренятся в религиозных верованиях западных народов — в католичестве и, главным образом, в протестантстве. У нас теория естественного права не играла никакой роли. Попытка привить ее, возникшая, отчасти при Петре I, у оффициального публициста Империи, Феофана Прокоповича, и поддержанная сочувствием самого первого императора, отчасти в революционный период, когда по западным образцам стали провозглашать у нас идею возрождения естественного права — попытка эта не имела никакого успеха среди широких народных масс, оказалась им чужой и ненужной. Все эти факты и тенденции выдвигают на первый политический план проблему правомочия — или, в переведенных с иностранного языка терминах, проблему субъективного права. Другой стороной названной проблемы является вопрос о так называемом праве объективном.

Нижеследующие статьи ставят своей основной целью тот пересмотр юридических понятий, о котором говорилось выше в пункте IV. Но в то же время статьи эти, чисто теоретические по своему замыслу, соприкасаются и с выдвигаемым современным моментом основным право-политическим мотивом, одинаково важным как с точки зрения европейской науки, так и с точки зрения евразийства.

Н. Н. Алексеев

К УЧЕНИЮ О «ОБЪЕКТИВНОМ ПРАВЕ»

О НОРМАТИВИЗМЕ В ПРАВЕ

I.

Учение о праве в объективном смысле есть та часть современной юридической теории, в которой среди отдельных юристов царит относительное единодушие — и именно по той причине, что высшие обобщения этой части науки считаются прочно установленными и общепризнанными. К числу таких наиболее общепризнанных обобщений нужно отнести утверждение нормативной природы права в объективномъ смысле — утверждение, что право есть норма или совокупность норм. Изложение и защиту этого воззрения можно найти в настоящее время, за немногими исключениями, почти у всех известных и выдающихся представителей общей теории права. Ее применение можно встретить во всех специальных юридических дисциплинахъ, в учебниках и отдельных монографиях. Иными словами, мы имеем здесь дело, если и не с научной аксиомой, то во всякомъ случае с научной догмой, которая стоит вне сомнения и признание которой и объединяет собою представителей столь ныне различных и враждебных юридических направлений.

Однако это есть только кажущееся единодушие — единодушие более словесное, чем по существу дела. Нужно прежде всего обратить внимание на то, что само понятие нормы у различных современных юристов имеет весьма различный смысл. Можно различать следующие оттенки, которые принимает у представителей современных юридических теорий понятие нормы. Оттенки эти служат основой для построения различных теорий современного правового нормативизма.

1. Отожествление нормы с законом природы в прямом смысле этого слова. Принадлежащие сюда теории относятся

по большей части к старым естественно-правовым воззрениям, не полагающим никакого различия между законами природы (lex naturae) и законами юридическими. [1]) Можно было бы считать эту старую точку зрения в настоящее время совершенно преодоленной, если бы некоторые гипотезы, выросшие на почве новейшаго социологического учения о праве, не наводили на мысль, что она и поныне не потеряла своего актуального значения. Мы говорим о некоторых французских правовых теориях, утверждающих, что право есть ничто иное, как «фактическое правило» (une règle de fait») [2]) следовательно, как закон природы. Право есть совокупность правил, которые приобретают свою обязательную силу не на основании какого либо высшаго нравственного принципа, как, например, принципа добра, пользы или счастья, но на основании присущей ему фактической силы (par la force des faits»). [3]) Право есть закон социальной жизни, который требует от людей придерживаться известного поведения, потому что оно соответствует естественной необходимости фактов: «поступай так, говорит юридический закон, потому что это существует». [4]) Само собой разумеется, что когда с изложенной точки зрения говорят о «правовой норме», под нормой разумеют ничто иное, как закон природы; следовательно, под «нормативным» разумеется здесь нечто сообразное с законами природы, под нарушением нормы — нечто законам природы противоречащее.

Теория эта, с точки зрения россиеведения, имеет то значение, что русский марксизм, хотя и не содержит в своих воззрениях на право прямого отождествления правовой нормы с законами природы, однако, косвенным путем, обнаруживает тенденцию к слиянию этих понятий и даже к их уподоблению. По учению некоторых русских социологов марксисткой школы, первобытный обычай, управлявший жизнью примитивного общества, был как бы законом природы. И будущее коммунистическое общество имеет тенденцию превратить управляющие им нормы в законы природы, лишив их тем самым характера «нормативности», который является обнаружением свойственного буржуазному обществу фетишизма. Противопоставление норм законам природы является таким образом, родом буржуазной идеологии, которая должна быть преодолена тогда, когда падет буржуазный строй и заменится коммунистическим порядком. [5])

Против изложенной точки зрения можно прежде всего возразить, что ни один закон не выражается в подобной императивной форме: «поступай так, потому что это есть». В этом способе выражения заключается некоторая существенная несообразность, так как если нечто необходимо есть, то нечего и требовать, чтобы сообразно с этим поступали: соответственные поступки совершаются в таком случае сами собой на основании природной необходимости. Подобная нормативная форма выражения коренным образом противоречит тому чисто теоретическому характеру истин, который служит для выражения законов природы. Она предполагает, что высказывающий стремится не объективно констатировать факты, но обнаруживает некоторое практическое отношение к этим фактам, требует одно, отвергает другое и, следовательно, производит оценки. Подобная практическая установка чужда теоретическому знанию о природе и теоретической формулировке законов этой последней. Вполне последовательны поэтому те из названных нами русских марксистов, которые считают, что в будущем коммунистичнском обществе право вообще подлежит уничтожению, — иного и не может быть при превращении правовых норм в законы природы. Те же, менее последовательные сторонники отожествления норм с законами природы, которые настаивают на сохранении права, не могут не оттенять особенностей, свойственных «нормативному» способу выражения законов природы. Правовые нормы, как учат некоторые сторонники названнаго воззрения, исходят из предположения человеческого сознания и воли и имеют дело с поведением разумных существ. В этом и проявляется их отличие от законов органического мира, которые регулируют поведение живых, но не разумных существ. Поэтому юридические законы суть нормы, а не простые законы природы. Но закон природы, который служит принципом поведения, должен в отличие от чистой теоретической истины обнаруживать какие то новые особые определения. Стремление познать эти определения и выразить их специфический характер приводит к построению теории нормы, *как обращенного закона природы* — к теории, которая имеет не мало последователей в современной юридической науке.

2. Идея нормы, как обращенного закона природы, ближайшим образом связана с подобным же представлением о цели, как обращенной причине. Если, как утверждают сторон-

---

1) Ср. *Е. Н. Спекторский*, Идея социальной физики т. I, II. — *Н. Н. Алексеев*, Науки естественные и общественные в историческом взаимоотношении их методов, 1911.

2) L. Duguit, Etudes de droit publique, I, L'état, le droit objectif et la loi positive, 1901, S. 16.

3) Duguit, L. c. S. 16.

4) Duguit, Traité du droit constitutionel, V. I, S. 15: La loi sociale.

5) Смотри нашу книгу «Религия, право и нравственность» стр. 57.

ники этой теории, допустить, что движение предшествует нашему представлению о внешних изменениях, то в данном случае мы считаем его причиной этих изменений. Если же, напротив, допустить, что представление внешних изменений предшествует движению, то в данном случае изменения эти представляются нам целью, а движение — средством, при помощи которого цель осуществляется.[6]) Но идея цели служит основанием для создания целого ряда правил — правил целесообразности или технических норм—которые не содержат в себе каких либо безусловных требований, но чисто условно выражают следующую мысль: «если ты преследуешь данную цель, ты должен поступать таким то и таким то образом». Эти технические нормы суть также обращенные законы природы. «Закон природы говорит: во всяком случае, когда существует А, существует и Б; техническая норма, напротив, утверждает: если ты хочешь, чтобы существовало Б, позаботься о том, чтобы существовало А.» [7]) К такому то роду технических норм относятся, как это пытался установить итальянский философ Рава, все юридические нормы. Сообразно этим предположениям он выставил следующее определение права в объективном смысле: «Право есть техническая норма или определение средства для достижения известной цели; цель эта направлена ни на что иное, как на сохранение данного общества.» [8])

С точки зрения россиеведения воззрение это интересно в том отношении, что нашло практическое применение в теории и практике советского права. Исследователи советского права неоднократно указывали, что «нормы» этого последняго суть не что иное, как правила технической целесообразности. Ничего другого они в себе не содержат — и всякое иное, обнаруживающееся в них содержание показательно с точки зрения марксизма для буржуазной стадии в развитии права, для буржуазного фетишизма. [9])

Против этой теории можно сделать два рода возражений. Следует прежде всего отметить, что идея цели так же, как идея нормы, всегда означает нечто большее, чем обращенный закон природы. То представление, которое способно предвосхищать течение естественных процессов, является некоторым плюсом по сравнении с этими последними, плюсом, — невесомым

6) Wundt, Logik, I, 2 стр. 624, ff. Также Siegwart, Kleine Schriften, 11, 2, стр. 43.

7) Rava, Il dritto come norma tecnica, Gigliari, 1909, S. 8.

8) Rava, l. c. S. 46.

9) Подробности смотри в сборнике «Право Советской России» т. I, статья «Источники права», а также в моей «Общей Теории Государства» и в книге «Религия, право и нравственность», Париж 1930.

с точки зрения природных процессов, но обладающим своим собственным смысловым содержанием, в котором раскрывается своя эйдетическая структура, свое сочетание элементов, своя внутренняя последавательность и законообразность. Существует логика телеологии, самостоятельная, по сравнению с теми естественными процессами, через посредство которых осуществляется нечто целесообразное и должное. Особо примечательно, что в представлении цели может содержаться нечто с точки зрения природы невозможное, прямо противоестественное или сверхъестественное. Предвосхищение цели не является пассивным воспроизведением сущего, но обнаруживает некоторую творческую активность. Сама природа, допуская бесконечные вариации своих конкретных проявлений, может менять свою конкретную физиономию в силу осуществления некоторых новых целевых заданий, может подвергаться преобразованию в известном направлении — и это есть основанный на духе творческой изобретательности прогресс техники. Оттого считать цель и норму обращенными законами природы, значит обеднять существо целесообразности и нормативности. Феномен нормативности богаче феномена естественной законосообразности даже в том случае, когда предметом его является чисто физический процесс движения вещества. Но бывают нормы, имеющие предметом своим известные смысловые содержания чисто духовной природы как, например, норма: «надлежит правильно мыслить». Правильное мышление конечно соотносительно с движением мозгового вещества человека, но само по себе, в смысле своей предметности, обнаруживает законы и отношения, которые не только не свойственны природе материи, но в известном смысле противополагаются последней, поскольку она служит предметом мышления.

К этим возражениям юрист может прибавить еще и то, что при изучении различных источников права, он часто наталкивается на такие «нормы», которые мало общаго имеют с правилами технической целесообразности. Сюда относятся прежде всего прямые приказы, которые мы часто встречаем в области положительного законодательства и в административной деятельности государства. Только с большей натяжкой можно считать технической нормой такой приказ: «Все граждане, не состоящие в браке или бездетные вдовцы, призываются под знамена в течение настоящей войны». [10]) Приказ этот отнюд не говорит в гипотетической форме: «если не хочешь быть наказанным, то иди на войну.» Напротив, он содержит категорическое требование стать под знамена, и всякая по-

10) Цитировано у Thon, Das Gesetz im formellen und materiellen Sinne, Arch. f. Off. R., Bd. 5, S. 156.

пытка придать ему гипотетическое выражение была бы равносильна искажению прямого смысла этого государственного акта. И, следовательно, необходимость, содержащаяся в подобном приказе, менее всего является условно-телеологической: она вынуждает не по соображениям целесообразности или технического расчета, но даже вопреки этим последним. На войну нужно итти, с точки зрения отдающего приказ, даже когда это кажется не целесообразным, ни с личной, ни с общественной точки зрения.

Соображения эти отнюдь не отрицают того, что среди так называемых правовых норм имеются многие, обнаруживающие чисто технический характер. Более всего он ясен в законах, касающихся регулирования, например, уличного движения, пользования моторами, в различных медицинских законах, как, например, в законе об оспопрививании, о борьбе с различными болезнями, в санитарных законах и т. п. Все без исключения законодательства всех времен и народов включали в себя большое количество подобных, чисто технических правил или норм. Вполне справедливо поэтому другой итальянский автор — Брунетти — [11]) предлагает различать в области права, с одной стороны, нормы или приказы, с другой стороны, правила юридической целесообразности. Первые из них императивны, содержат категорические требования и не могут быть выражены в гипотетической форме. Вторые, напротив того, не имеют характера приказов и высказывают только телеологическую необходимость.

3. Наиболее популярным возрением на право, как на норму, является старая теория, отожествляющая юридическую норму с приказом. В сущности правовой нормативизм, если иметь в виду его позитивно-юридическую, а не философскую сторону, в значительной степени тожественен с воззрением на право в объективном смысле, как на сумму приказов. Обоснованный выдающимися юристами, преимущественно германской школы, [12]) нормативизм этот является преобладающим в теории права течением, научный вес которого был поколеблен только вследствие развившихся за последние тридцать лет новокантианских влияний. В русской науке его придерживался Н. М. Коркунов и многие другие представители нашего правоведения, преимущественно позитивной школы.

11) G. Brunetti, Norme e regole finali nel diritto, 1919, S. 61 ff.

12) Основателями этой теории являются Thon, Rechtsnorm und subjektives Rechts, 1878, стр. 8. Bierling, Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe, T. I, II, 1877-83. Он же, Juristische Prinzipienlehre, Bd. I-V, 1894-1917. И для Дюги право есть «une regle... qui nous apparait pas comme un rapport, mais comme un imperatif». Ср. L'etat, le droit etc., S. 81.

Особенностью тех норм, которые называются приказами, является прежде всего то, что они в отличие от правил целесообразности, высказывают веления безусловные и категорические. В то же время веления эти не вытекают из внутреннего сознания необходимости, обнаруживающейся в самом содержании норм. В приказе может и не содержаться никакой внутренней очевидности того, что повелевается и требуется. Приказ может казаться нецелесообразным, противоречащим смыслу и т. п., но он всегда притязает на безусловное исполнение. Оценивая теорию юридической нормы, как приказа, следует начать с указания на то, что ее сторонники не достаточно выяснили само понятие приказа, которое для них является основоположным. Нет никакого основания отрицать, что многие нормы положительного права суть приказы, но нужно иметь в виду, что понятием этим обозначается два существенно различных феномена. Приказ есть прежде всего единичный акт отдельного человека или коллектива — монарха, полководца, парламента и т. п., — выражаемый в форме, не претендующей на какое нибудь длительное значение и не имеющей характер общего правила. В этом смысле приказ не правильно называть нормой, так как эта последняя притязает на длительное значение и обнаруживает способность постоянно регулировать нечто, устанавливать длительную законосообразность. Оттого единичный приказ правильнее назвать не нормой, но нормативным актом, подобным, скажем, вышеприведенному приказу об обязанностях стать под знамена во время объявления войны. Такой нормативный акт, не являясь нормой, может служить однако основой для издания целого ряда норм, например, военного права. От таких нормативных *актов* нужно отличать приказы, изданные в форме общих положений, имеющих в виду длительно регулировать поведение людей в известном постоянном общем направлении. В последнем случае можно с полным правом говорить о приказах, как императивных нормах.

Императивная теория права не различает кроме того приказов в прямом смысле этого слова от актов, при помощи которых государство или какой либо другой союз объявляет какой либо закон вступившим в силу. Акт этот выражается обыкновенно в латинской формуле: ita jus esto и существенно отличается, и от нормативных актов, и от императивных норм. [13]) Нормой он не является уже потому, что обнаруживает, подобно нормативному акту, строго единичный характер и не стремится длительно регулировать поведение людей, имея в виду

13) Binding, Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtwissenschaft, Bd. II, (21) 1879, стр. 610. Также Binding, Handbuch des Strafrechts, I, 1885, стр. 157, прим. 8.

лишь придать силу длительного действия другим, издаваемым государствам правоположениям или нормам. Однако, не точно приложить к нему и понятие нормативного акта в вышеназванном смысле этого слова, так как в нем может и не содержаться прямого веления или запрета. Он может сводится к торжественному волеизъявлению, согласно которому то, что ранее не было правом, отныне должно приобрести характер права. В особенности сказанное становится убедительным в применении к изданию таких положений, которые кого то уполномачивают, наделяют правами. Что значит в сущности «приказать», чтобы некто обладал правом? Ясно, что в подобном приказе в первую очередь дело идет не об обязанности, «иметь права» — это просто абсурд, вроде деревянного железа — а скорее о чем то противоположном наложению определенных обязанностей. И только во вторую очередь подобный «приказ» может содержать указание на то, что установление права «следует» уважать. Совершенно справедливо писал по этому поводу германский юрист Биндинг: «Можно без сомнения приказать, чтобы нечто стало правом, ибо в этом случае мыслима деятельность во исполение этого приказа; но нельзя «приказать» существующему праву, что оно «должно быть» ибо исполнение такого приказа просто не представимо». [14]) В виду всего сказанного правильнее говорить в данном случае не о приказе, но об акте правотворчества, который имеет собственное значение и должен быть отличаем от нормативных актов и императивных норм.

Императивная теория права обладает несомненным преимуществом перед учением о правовой норме, как законе природы в прямом или обращенном смысле, так как формально-логически относит право к той категории явлений, к которой оно действительно принадлежит — именно, к категории актов и суждений, обнаруживающих практическое отношение к действительности, а не объективно констатирующих факты. Сверх того с точки зрения чисто эмпирической нельзя отрицать, что институты положительного права включали и включают большое количество «приказов» — и в смысле нормативных актов и в смысле императивных норм. В то же время никак нельзя сказать, что вся область положительного права покрывается приказом. [15]) Мы уже убедились, что среди так называемых «норм» положительного права встречаются технические нормы, а также то, что мы называли актоми правотворчества;

14) Binding, в Kritische Viertelahresschrift, l. c., стр. 552.
15) Сам Биндинг приводит примеры, убеждающие, что не все нормы права суть императивы.. Zur Kritik, II, 1883, стр. 8. Juristitche Prinzipienlehre, стр. 134 и сл.

мы убедимся в дальнейшем, что в область положительного права могут входить и другие весьма различного вида нормы.

4. Отчасти совпадающей с императивной теории права и в то же время отличной от нее является довольно распространенное воззрение на правовые нормы, как на нормы нравственные. Императивная теория особо подчеркивает чисто внешний, из чужой воли проистекающий, гетерономный характер правового долженствования, в то время как воззрение на правовую норму, как на вид нормы нравственной, принимает во внимание также и внутренний его характер — характер внутренней автономии, составляющей особенность моральных норм. Однако при этом не отрицается, что и подобная, обнаруживающая внутреннее долженствование моральная норма, может быть «приказана» внешним авторитетом. Нравственная норма сходна с праказом в том, что она также категорична, и это отличает ее от правила целесообразности, всегда условного и гипотетического. Норма «люби ближнего, как самого себя» для того, кто сознает ее внутренний смысл, предписывает известное поведение не по каким либо внешним соображениям пользы или расчета, но по внутреннему самодовлеющему характеру высказываемого в ней долженствования: потому что требуемое в норме поведение соответствует идее добра, противоположное же поведение соответствует идее зла. Но в то же время категорический приказ, высказываемый в нравственной норме, не диктуется извне, но обнаруживается так сказать изнутри, из внутреннего смысла, раскрывающегося в норме. Оттого приказы можно назвать нормами гетерономными, а нравственные нормы — автономными.

Этическая теория юридических норм в германской науке связана с именем выдающегося государствоведа Георга Еллинека, который в вышедшей 50 лет тому назад работе выступил против попыток резкого отделения права от нравственности, свойственных, по его мнению, эпохе естественно-правового индивидуализма и перешедшего отсюда в философию Канта и Фихте. [16]) В эпоху, когда названная книга была написана, теория германского философского нормативизма только еще зарождалось. И не из этой теории исходил позднее примкнувший к ней автор, а из ряда историко-социологических наблюдений, убедивших его в том, что каждый общественный порядок требует для своего поддержания наличности целой системы социально-этических норм. Но, говорил Еллинек «если мы по отношению к определенному историческому укладу какого нибудь общества поставим вопрос о нормах, исполнение которых делает возможным его существование, то мы и получим то, что можно назвать *правом* этого общества». «Право есть

16) G. Jellinek, Die sozialetische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe, Wien, 1878.

стало быть, ничто иное, как этический минимум».[17]) Наиболее убедительным доказательством этого положения Еллинек считал указание на отношение древних моральных и религиозных систем к соответствующим правовым институтам, как то десяти заповедей Моисея или пяти заповедей буддистов. Предписанные названными религиозными системами нормы, как например «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй», «не лжесвидетельствуй», «чти отца своего и матерь» и т. д. стали теми принципами, на которых было построено право соответствующих народов и государств.[18])

Более философский уклон придал этой теории, спустя 20 лет, наш русский философ, В. Соловьев, выставивший следующее определение права: «право есть принудительное требование реализации определенного минимального добра или порядка, не допускающего известных проявлений зла».[19]) По мнению Соловьева, правовые нормы, составляют в своей совокупности минимум нравственности данного общества и отличаются от нравственных норм следующими признаками: *а*) нравственные требования, вытекающие из этических норм, требуют неограниченного стремления к совершенству, тогда как право удовлетворяется низшей, минимальной степенью нравственного состояния; *б*) нравственные нормы берут волю в ее всеобщности и потому не исчерпываются какими либо ее определенными внешними проявлениями, тогда как право предписывает или запрещает определенные действия и удовлетворяется определенными внешними фактами; *г*) нравственность предполагает свободное, внутреннее состояние воли и не совместимо с принуждением, право же допускает прямое или косвенное принуждение.

При оценке существа этой теории приходится прежде всего обратить внимание на критику нравственного нормативизма со стороны различных направлений и школ новейшей теории права. В этой критике особенно важным является указание, что этика отнюдь не столь тесно связана с идеей нормы, как то думают нормативисты. Этику любви, например, можно и даже должно строить не нормативным путем. Стремление выразить этические чувствования в нормах можно рассматривать, как род своеобразного этического юридизма. Само понятие нормы в этике создано по образу приказа, причем приказывающий субъект утерян, и оттого получается впечатление, что «приказывает» сама норма.[20]) Такая утеря объясняется отрывом

17) Jellinek, l. c., стр. 42.
18) Jellinek, l. c. стр. 44.
19) *В. Соловьевъ*, Оправдание добра (1894-97), Собр. сочинений, т. 7, стр. 383. § 83.
20) Ср. Rehmke, Ethik als Wissenschaft, Greiswald, 1925.

новейшей этики от религии, с которой учение о нравственности было связано исторически и от которого, по нашему мнению, не может быть логически отделено. В конечном счете в основании этических норм всегда лежат некоторые теоритические суждения о ценностях, и всякая этическая норма может быть грамматически обращена в теоретическое суждение, из которого довольно ясно выступает основа, объясняющая самодостаточность нравственного долженствования («люби ближнего» — «любить хорошо» — «любовное отношение к людям есть положительная ценность»).[21]) Основой этой является, следовательно, идея ценности, которая гораздо первоначальнее, чем идея нормы: нормативность есть только своеобразная формулировка ценностного суждения.

В известном смысле можно утверждать, переходя к оценке самой этической теории права, что эта последняя не только не идет слишком далеко в утверждении связи права с нравственностью, но даже в некотором отношении недооценивает эту связь. Мало сказать, что право является минимумом нравственности, правильнее было бы, по крайней мере для некоторых исторических эпох, говорить о том, что оно было *настоящим максимумом* нравственности, понимая, конечно, под последней позитивную, принудительно построенную религиозную этику. Такие источники права, как например законы Ману, законы Моисея, до известной степени Талмуд, представляют собою полноту закрепленных в юридические формы моральных предписаний. Следующий этим предписаниям человек до конца исполняет свою моральную цель, становится в сущности совершенным. Можно считать это извращением этической идеи. Однако это был исторический факт, и моральное сознание человека, живущего под такими законами, в значительной степени исчерпывалось их исполнением, следовательно, легальным поведением. Историческое существование подобной позитивной этики позабывает этическая теория права. По существу своему, она является не научной теорией, а известной политической доктриной. Она стремится провести требование, что право, в нормальном порядке, не должно сливаться с нравственностью, что нравственность не должна быть принудительной, что юридические институты должны апеллировать не к совести человека, но к внешней законности его поведения. Подставляя вместо «должно быть» глагол

21) E. Husserl, Logische Untersuchungen, Bd. I, Zweite Aufl., 1913 стр. 48: «So schliesst z. B. jeder normative Satz der Form «ein A soll B sein» den theoretischen Satz ein «nur ein A, welches B ist, hat die Beschaffenheiten C», wobei wir durch C den konstitutiven Inhalt des massgebenden Pradikates «gut» andeuten».

«есть», этическая теория и создает свою формулу: «право есть необходимый минимум нравственности».

Но и различные институты современного права включают в себя большое количество норм, которые являются не чисто внешними императивами и не простыми правилами целесообразности, но предписаниями, требующими нечто во имя известных ценностных, религиозных или нравственных принципов, обращающимися к нравственному сознанию людей, к их долгу и совести. Заслуга этической теории права сводится к тому, что она выяснила это несомненное присутствие нравственного элемента в правовых институтах, доказав, по прекрасному выражению одного новейшего французского юриста, что между моральной нормой и нормой юридической «нет никакой разницы ни в области приложения, ни в природе, ни в цели». «Такой разницы и не может быть, ибо право призвано воплощать справедливость, идея же справедливости есть идея нравственная».[22]) И это доказывается не только неоспоримыми ссылками на существенную роль моральных представлений в области уголовного права, но и исследованием основ гражданско-правовых институтов, значительная часть которых, например, договорное право, явно базируется на известных моральных принципах. [23]) При всем том об этической теории права, в заключение, нужно сказать то же самое, что было сказано по поводу двух предшествующих теорий: в пределах положительного права есть области, в которых явно доминирует нравственный элемент, однако, в целом своем, положительное право никак нельзя считать минимумом нравственности. Мы убедились уже, что в институтах положительного права могут содержаться нормы, имеющие очень отдаленное отношение к нравственности, например, нормы технические, правила целесообразности, приказы, как нормативные акты и как императивные нормы.

5. Господство философского нормативизма, наблюдавшееся за последние десять лет в германской философии и отсюда распространившееся и на другие страны, в значительной степени уточнило и само понятие нормы, что не могло не отразиться на теории правового нормативизма. Понимая под нормой непосредственно очевидные, первоначальные, ни к чему высшему не сводимые суждения, которые утверждают абсолютное категорическое долженствование, философский нормативизм различал три вида норм — логические, этические и эстетические. Таким образом утверждение «право есть норма»

22) Geny, Science et technique, T. II, стр(361.
23) Срв., J. Rippert, La règle morale dans les obligations civiles, Paris, 1925.

поставило перед нормативизмом вопрос: какая норма — логическая, этическая, эстетическая или какая нибудь иная? [24])

Сам Кант, как известно, решал этот вопрос в том смысле, что за правовыми нормами он отрицал характер внутреннего, автономного долженствования. Правовыми нормами он считал такие, которые, в отличие от норм моральных, требуют легальности вытекающего из них поведения и таким образом не затрагивают вопроса о внутренних состояниях исполняющего эти нормы сознания, — вопроса о совести. Правовые нормы считались, таким образом, гетерономными, что сближало их с приказами (См. выше пункт 3). При распространении кантианства на русской почве это классическое решение вопроса нашло у нас не мало сторонников. В общем его придерживались такие видные представители русской философии права, как П. Н. Новгородцев, Е. Н. Трубецкой и другие. В научной литературе это воззрение на юридические нормы служило предметом неоднократного обсуждения. Не раз было указано, что утверждение чисто внешнего характера юридических норм, с точки зрения чисто опытной не выдерживает критики. Нельзя отрицать, что в большем количестве институтов положительного права имеется в виду момент чисто внутренний — момент, морального сознания, раскрывающийся тогда, когда дело идет, например, о bona fides (добросовестности), об умысле в уголовном праве, о влиянии признания вины на меру наказания и т. п. Можно стремиться из особых политических мотивов к возможному удалению из положительного права этого внутреннего момента, но историческая наличность его не может быть подвергнута сомнению. Таким образом воззрение на исключительно внешний характер правовых норм является правно-политической теорией, а не научно-теоритической истиной. Ее видимые недостатки побуждали последователей Канта и сторонников германского идеализма к пересмотру вопроса о существе правовых норм с точки зрения принципов идеалистической филисофии. В числе таких попыток нужно назвать небезизвестную теорию Фихте старшего, который в один из периодов своего философского развития считал, что правовые нормы отличаются от нравственных своим всеобщим характером. Правовые нормы обращены ко всем и каждому, тогда как нравственные всегда обращаются к индивидуальному поведению отдельного человека — не всеобщи, следовательно, а индивидуальны. Эту теорию в русской философии права защищал Б. П. Вышеславцев в своей книге, посвященной изложению этики Фихте. Едва ли можно считать и эту теорию согласной с историческим опытом. Положительное право не-

24) Ср. Windelband, Præludien, 1884.

сомненно знает нормы, которые обращены к одному лицу, являются чисто индивидуальными. Сюда относятся не только разнообразные приказы и распоряжения из области административного права, но также и конституционные законы, как напр., закон, запрещающий монарху совмещать занимаемый престол с престолом другого государства. Кроме того, едва ли можно утверждать, что моральные нормы, например, норма «люби ближнего, как самого себя», обращена не ко всем и каждому, но только к отдельному лицу. Если утверждение это истолковывать в том смысле, что эта нравственная норма обращена к индивидуальной совести, и если предполагать, что правовые нормы такого обращения не требуют, то мы возвращаемся к уже упомянутой выше теории гетерономности юридических норм, недостатки которой были уже нами обнаружены. Одним словом, нужно сказать, что положительное право включает в свой состав, и нормы гетерономные, и нормы автономные, и нормы всеобщие, и нормы индивидуальные. Никакой единообразной природы у норм положительного права обнаружить нельзя, что свидетельствует о смешанном, «сборном» характере того, что называют правом в объективном смысле.

Но то же самое нужно сказать и о новейших вариантах неокантианских воззрений на правовые нормы, возникших в европейской науке и не успевших найти отражение в русской литературе. К числу них мы относим небезинтересные конструкции венгерского философа права, Ф. Сомло, [25]) который относит право к области особого рода норм, стоящих между автономными и гетерономными. Сомло разделяет все суждения, высказывающие должное, на два основных вида — на абсолютные (т. е. высказывающие абсолютное долженствование) и на эмпирические. Последние в свою очередь он делит на суждения, высказывающие пожелания, и на суждения, имеющие в виду волевые решения. Последние могут быть или чисто автономными, как например, намерение, или чисто гетерономными, как, например, требование, или, наконец, смешанными, автономно-гетерономными, примерами которых является обещание и приказ. Последние, по мнению Сомло, и составляют область чисто правовых норм. Нормы права, иными словами, для Сомло являются или «нормами» обещания или императивами. И те и другие не высказывают никаких требований, вытекающих из содержащейся в нормах внутренней очевидности. Содержание обещания и приказа полагается самими субъектами, как известные требования их воли.

25) Reinach, Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts. Jahrbuch für Philosophie und phän. Forschung, I, T. 2. 1913.

По поводу этой новой теории правового нормативизма можно сказать все то, что было выше сказано о понятии приказа. Обещание, так же, как и приказ, не есть прежде всего норма, но нормативный акт. Это есть единичный акт с нормативными последствиями, на основе которого может возникнуть целый ряд норм, т. е. положений, высказывающих долженствование. Но на основе обещания могут быть созданы и такие положения, которые вовсе не говорят о должном, об обязанностях, — напротив того, утверждают права, т. е. возможность известных свободных действий, получений, причитаний и т. п. Поэтому не точно говорить о «нормах обещания» (Versprechungsnormen), но можно говорить только о нормах, возникших на основе обещания.

Нельзя отрицать, что теория Сомло обращает внимание на некоторые новые стороны тех феноменов, которые объединяются общим именем «право в объективном смысле». Если взять положительное право, то в его пестром составе несомненно содержится большое количество актов, по смыслу своему всего более соответствующих идее обещания. Сюда относятся такие акты, как Великая Хартия Вольностей, Манифест 17-го Октября, различные октроированные конституции, договоры об учреждении федерации и т. п.. В самой торжественной форме любого закона можно видеть элемент обещания, которым законодатель связывает себя, предполагая закон не нарушимым и обязательным. Еще ранее Сомло на эту сторону институтов публичного права обратил внимание Георг Еллинек в своей теории самообязывания, которая нашла многих сторонников среди русских юристов, в лице А. С. Алексеева, Б. А. Кистяковского и других. Внутренний смысл акта обещания и его значение для гражданского права детально исследовал один из сторонников феноменологической школы, Рейнах, оказавший несомненное влияние на теорию Сомло. [26]) После всех этих указаний нельзя оспаривать, что акты обещания играют значительную роль в установлениях положительного права и в то же время никак нельзя утверждать, что все положительное право состоит из обещаний. Обещания и основанные на них нормы составляют только часть того сложного комплекса явлений, который называется «правом в объективном смысле».

6. Влияние философского нормативизма на учение о праве проявилось, наконец, в отожествлении юридических норм с суждениями в логическом смысле и, следовательно, при взгляде на логику, как на науку нормативную, — с нормами логи-

26) Somlo, Juristische Grundlehre, 2-te Aufl. стр. 191.
27) Zitelmann, Irrtum und Rechtsgeschäft, S. 201.

ческими. Теория эта исторически родилась ранее нормативизма и коренится в уже изученных нами воззрениях на юридическую норму, как на закон природы — в особенности же как на закон обращенный, нашедший свое выражение в гипотетическом суждении (См. выше пункт 2). Философский нормативизм дал этому взгляду особое обоснование в различных его вариантах. Наиболее элементарным из этих вариантов является тот, который просто, без всяких оговорок отожествляет норму права с нормой логической. Взгляд этот со всей крайностью элиминативного развивал в России И. А. Ильин. [28]) Под нормой, согласно этому воззрению, нужно понимать суждение, утверждающее некоторый порядок, как должной. Порядок есть некоторое постоянное отношение между элементами некоторого множества. Норма устанавливает это постоянное отношение, как должное. Право, следовательно, есть логическое суждение, утверждающее некоторый порядок, как долженствующий. Другими словами, право есть норма, а норма есть логическое суждение. Из рассуждений этих и делается вывод, что наука о праве ставит своей целью изучение идеально логического смысла (в понимании Больцано и Гуссерля), открывающегося в юридических нормах. [29]) При этом неизбежен вопрос, не утрачивается ли здесь то предметное содержание, которое отличает правовую область от области всех других возможных, высказываемых в различных суждениях предметов. Закон природы есть также логическое суждение, но при изучении законов природы мы имеем дело не с логическим смыслом, или вернее, не только с ним, но с природой, как особым предметом знания. Изучать вместо этого последнего логические качества суждения, в котором закон выражен, это значило бы утерять самую идею естествознания. Но не утратим ли мы идею правоведения, если вместо правого предмета юридических суждений будем изучать чистый логический смысл последних? Следует иметь в виду, что в подобной, стилизированной форме логический нормативизм в праве не имел и не мог иметь широкого успеха и распространения. Распространение он получил тогда, когда на место безбрежно широкой идеи логического суждения вообще, как предмета правоведения, выдвинут был определенный вид логических суждений — именно, то гипотетическое суждение, об отожествлении которого с юридической нормой учили и не одни нормативисты. Такой вариант правового нормативизма формулирован был Кельсеном и его школой. Для Кельсена особенность правовой нормы заключается не в об-

28) Статья «Право и сила», напечатанная в московском журнале «Вопросы философии и психологии»; переведена Der Begriff von Recht und Macht, Arch. f. Syst. Phil., Bd. 18, 1912, стр. 74.
29) Ср. Münch, Kultur und Recht, 1918, стр. 29.

щей форме логического суждения, но в содержащемся в каждой юридической норме условии, нарушение которого следствием своим имеет принуждение. [30]) Поэтому правовая норма, подобно закону природы, есть специфическое соединение элементов по закону основания и следствия. Норма в этом значении подобна закону природы с тем только различием, что правовое основание соединено с правовым следствием в другом смысле, чем причина и следствее в законе природы — и именно в *специфическо-правовом* смысле. Для выражения этой специфической законообразности, свойственной праву, служит понятие долженствования. Правовой закон гласит: «Если существует А, то *должно* существовать и Б», тогда как формула закона природы такова: «Если существует А, то *существует* и Б.» Различие это означает, что правовое основание не является «причиной» правового следствия и правовое следствие не есть «действие» этой причины; оно означает, что из известного фактического состава, как правового основания, вытекает в качестве следствия акт принуждения, который применяется в силу правового закона, а не в силу естественного, в силу правовой необходимости, а не необходимости природной. Оригинальной особенностью теории Кельсена является взгляд, что долженствование в чистом виде мы встречаем только в области права. Поэтому юридически должное не только обладает своей собственной природой, но в нем наиболее характерно обнаруживается самое существо нормативности. Если мы будем изучать нравственное поведение отдельной личности, то мы наблюдаем в нем тесное слияние субъективного желания с объективной нравственной нормой. Принципы так называемой автономной морали заключаются в том, что личное сознание долга считается компетентным решать вопросы об объективной правильности поведения — факт, наличность которого не может наблюдаться в поведении правовом. Последнее — всегда гетерономно, т. е. в нем объективная норма никогда не сливается с личной волей и ее законом. Нормы права всегда исходят из некоторой силы, стоящей вне личности и подчиняющей эту последнюю при помощи фактического господства. Эта сила есть *государственный авторитет*, творящий правовые нормы и приводящий их в исполнение. Кельсен соединяет таким образом кантианское учение о гетерономности правовых норм с так называемой государственной теорией права.

Изложенная теория юридических норм имеет некоторое сходство с учением о норме, как гипотетическом правиле це-

30) Kelsen, Allgemeine Staatslehre, 1925, стр. 47. Он-же, Hauptprobleme, стр. 255. F. Kaufmann, Die Kriterien des Rechts, 1924.

лесообразности (См. выше, пункт 2), — с тем только отличием, что эта последняя теория концентрирует внимание на предметном содержании норм, тогда как теория Кельсена преимущественно имеет дело с формальным моментом долженствования, который отрывается от предметного состава нормы и приобретает характер какой то особой логической сущности. Это и позволяет рассматривать юридические нормы только с точки зрения присущей им формы долженствования и относить их к области суждений в логическом смысле слова. При этом позабывается, что выраженное в гипотетической форме правовое долженствование ни в коем случае не является чисто теоретическим суждением, подобным, скажем, математической аксиоме. Эта последняя совершенно независима от идеи субъекта и не предполагает какого то особого к нему отношения. Напротив, такие высказывания, как:«должно платить долг» или «должно повиноваться законам» всегда разумеют того, *кто* должен платить и *кто* должен повиноваться.В этом смысле можно сказать. что нет юридического долженствования вообще, но есть только *чье либо* долженствование, как нет целей и средств вообще, но только *чьи либо* цели и средства. Положение, высказывающее долженствование, является ничем иным, как некоторым обнаружением отношения субъекта къ самому себе, к окружающему миру и к другим людям. [31]) Можно возразить, что и теоретическое суждение до известной степени предполагает идею субъекта, но это есть так называемый гносеологический субъект, представляющий собою понятие, коррелативное идее объекта. В положениях, высказывающих долженствование, конечно, предполагается и этот гносеологический субъект, но кроме него в них предполагается и еще нечто, в теоретических истинах не содержащееся: именно, *субъект, обнаруживающий свое практическое отношение к миру*. Поэтому так называемые нормы и не суть теоретические суждения — ни гипотетические, ни какие либо иные. —

Обозревая все изученные воззрения на юридические нормы, мы должны из всех них решетельно признать неприемлемыми первое и последнее, только что нами разобранное, — так как оба они искажают самое существо идеи нормативности, обращая нормы в теоретические истины, в законы природы или в логические суждения. В пределах юридического мира не было, нет и не может быть таких, чисто теоретических истин, а если иногда правоположения и высказываются в теоретической форме, то правом их делает всегда подразумеваемый момент отношения к какому либо субъекту, обнаруживающему

31) Что совершенно не принимается во внимание теми сторонниками Кельсена, которые хотят соединить его нормативизм с учением феноменологической школы.

к миру свое личное отношение. Что касается до остальных разобранных нами теорий, то все они страдают одним существенным недостатком: они стремятся подвести все разнообразные юридические нормы, из которых составляется сложное содержание положительного права, под один из видов этих норм. Иными словами, *они стремятся свойства одной из частей положительного права перенести на целое.* И так как это фактически не возможно, то приходится прибегать к разным искуственным обходам — к отрицанию известного рода норм, к игнорированию норм других родов и т. п. Сказанным объясняется упорно проявляющееся в нормативной теории права стремление делить всю область права на «настоящие» нормы и на то, что только эти нормы «дополняет», на «истинные» нормы и на «фрагменты» норм, на нормы«самостоятельные» и «несамостоятельные», «первичные» и «вторичные». [32]) При крайнем разнообразии действительного содержания объективного права нормативную теорию права можно спасти только подобным путем — именно, приписав одной части этого содержания свойства «истинной» нормативности, другую же часть считая только «проявлениями» последней.

В действительности, как мы уже не раз отмечали, в положительное право входит весьма разнообразные виды норм и нормативных актов. Никакой из этих видов не может покрыть собой остальные и притязать на универсальную роль. Положительное право есть некоторое «сборное» понятие, объединяющее под одним общим именем явления весьма различной нормативной природы. Можно даже поставить вопрос, не простирается ли этот «сборный» характер так далеко, что в область положительного права могут входить не нормы и не нормативные акты. Положительный ответ на этот вопрос подводил бы под сомнение самую нормативную теорию права.

II.

Наиболее сильным аргументом против нормативной теории права является существование таких положений, которые по основному своему смыслу не предписывают никакого долженствования и, стало быть, не являются «нормами» в принятом нами выше точном смысле этого слова (т. е. «положениями, высказывающими должное»). Существование таких положений

32) Названные разделения можно найти у Тона, Кельзена, Коркунова и др. Особенно ярко оно проявилось у Биндинга с его различением «настоящих норм, которые в сущности говоря не являются нормами положительного права, и всех других правоположений, не обладающих свойствами нормативности»... Сходный характер имеет теория Дюги, различающая «les lois normatives» и «les lois constructives ou techniques».

издавна занимало внимание юристов, хотя вопрос об их особенностях до сей поры не был поднят на достаточную философскую высоту. Для обозначения этихъ положений в западной теории права применялись весьма различные названия. У нас их называли нормами «представительными», «дозволительными», «управомачивающими», «аттрибутивными». Основным препятствием для познания их особенностей нужно считать отсутствие того общего понятия, которое бы адэкватно выражало их существо. Германская наука, заслугой которой является разработка основных понятий общей теории права, не только не внесла здесь необходимой ясности, но даже безнадежно запутала проблему. Она связала вопрос о существовании этих «аттрибутивных норм» с понятием, не существующим ни на французском, ни на английском, ни на русском языке — мы говорим о понятии «Dürfen», которое в русской теории права переводилось при помощи глаголов «сметь», «дерзать». По смыслу своему понятие это противопоставлялось понятию долженствования («Sollen»), хотя такое противопоставление и не было отчетливым и достаточно диалектичным. На немецком языке «Dürfen» употребляется с одной стороны для обозначения дозволенного («was erlaubt ist», «avoir la permission», «être autorisé», «to have permission», «to by permitted»), с другой стороны — для обозначения силы, мощи, свободы («Macht haben», «avoir le pouvoir», «to have the power», «to by at liberty»). Поэтому содержание означеннаго понятия было довольно противоречивым: то, что «gedürft», означало одновременно поведение, сообразное долгу, и поведение, предоставленное на собственное усмотрение. Поскольку оно имеет первое из этих качеств, оно совпадает с долженствованием; поскольку оно обнаруживает второе — оно противоположно долженствованию. [33]) Таким образом означенное понятие как бы намеренно было выставлено для того, чтобы сгладить противоположность между аттрибутивами и нормами долженствования. Подобное сглаживание можно наблюдать даже у авторов, которые наиболее ощутили названную противоположность, как например у известного немецкого юриста, Биндинга, который в германской науке наиболее ревностно защищал самостоятельность «управомачивающих» норм. [34])

К понятию «Dürfen» германскую науку привела господствующая в ней государственная теория права. Германские юристы, скрыто или открыто исходили из взгляда, что всякое аттрибутивное положение, всякое предоставление или наделение правами основывается *на разрешении со стороны государ-*

33) Fuchs, Logische Studien im Gebiete der Jurisprudenz, Heft I, Die Arten der Rechtssätze, 1920, стр. 2.
34) Binding, Handbuch des Strafrechts, I, стр. 157, прим. 8.

ства. Никакого другого источника для названных актов нет и быть не может. Если исходить из этих допущений, то происхождение разбираемого понятия становится совершенно ясным: «иметь право» можно, поскольку это «разрешено» государством; если мне разрешено, то я, следовательно, «смею» и т. п. Но если в этом предположении усумниться, если допустить возможность таких правомочий, которые существуют не на основании государственного дозволения — тогда привлечение понятия «Dürfen» придется считать только вредным. Германская юридическая теория упускала из вида еще и то, что следует различать между такими правомочиями, которые облечены в форму некоторых общих положений и не вполне точно называются «управомочивающими» или «дозволительными нормами», — и отдельными *единичными управомочивающими актами*. Существование таких актов служит отличным доводом против государственной теории права. Изучая их, мы убеждаемся, что правомочия могут существовать и помимо государственного дозволения. Более всего такие правомочия наблюдаем мы в области международного права, отчасти же и в области государственного. Мы приведем в последующем некоторые их примеры:

1. Типичным примером подобного управомочивающего акта является Декларация о Независимости Соединенных Штатов Америки от 4-го июля 1776 года. В этой декларации говорилось, что представители Штатов, собравшись на общий конгресс, «торжественно объявляют и декларируют, что объединенные американские колонии суть и *по праву должны быть* свободными и независимыми государствами; что они освобождаются от всякой политической связи с Великобританией» и что «*въ полной их власти*, поскольку они являются свободными и независимыми государствами, лежит объявление войны, заключение мира и всякого рода договоров, установление торговых отношений и всего другого, на что *имеет право* всякое независимое государство». Несообразность применения к этим положениям понятия нормы ясна сама собою. В то же время не точно здесь говорить и о нормативном акте, так как смысл Декларации центрируется на установлении прав, а не на наложении обязанностей. Можно возразить, что в Декларации встречается упоминание о «должном» — именно в английском выражении «ought to be» — «должно быть». Но и здесь дело идет не об установлении обязанностей со стороны Соединенных Штатов, не о самосвязывании, но об утверждении «full power», по русски лучше всего сказать «правомочия», силы и права, требуемых новым государством. Спрашивается, что общего все эти последние понятия имеют с идеей должного? Если кто нибудь утверждает за собой

35) Kelsen, Hauptprobleme, стр. 639.

право и власть объявлять войну, заключить мир и т. д., то этим далеко не сказано, что *должно* все это делать. Даже более, понятие «мочь» и «быть должным» стоят, как мы увидим, в полном противоречии. Кто имеет силу и право, тот вовсе не должен, а кто должен, тот в известном смысле уже связан, следовательно, лишен силы и права.

Против сказанного можно еще возразить, что названная Декларация предполагает идею должного, если не в прямом, то в косвенном смысле этого слова — и, следовательно, может быть названа «нормой». Именно, она предполагает, что декларированное право нового государства требует обязанности со стороны Великобритании и со стороны всех других государств признавать это право, считаться с ним и его уважать. Поэтому акту декларации присущи некоторые нормативные элементы. Указание это, конечно, справедливо, но не затрагивает существа названного акта Декларации. Существо это все же сводится к установлению прав, а не обязанностей, что может быть с отчетливостью опознано, если мы введем в рассмотрение акта декларации два новых понятия: понятие декларирующего свои права субъекта и понятие возможных адресатов, к которым декларированные права будут обращены. *По отношению к декларирующему субъекту акт декларации имеет неоспоримо аттрибутивный характер, по отношению же к возможным адресатам он имеет характер нормативный.* Поэтому названная декларация не есть «норма», но аттрибутивно-нормативный акт с ясно выраженным аттрибутивным характером по отношению к исполняющему этот акт субъекту и с потенциально-нормативным характером по отношению к адресатам.

2. Юридический опыт знает и такие акты, в которых ясно выраженный аттрибутивный характер мы находим на стороне адресатов, а потенциально-нормативный — на стороне исполнителя акта. Сюда принадлежат все акты так называемого международного признания или из области внутренне государственного права акты наделения привиллегиями. Если какая нибудь власть обеспечивает какому нибудь городу право свободной торговли в качестве привиллегии, то нет никакого смысла называть подобный акт нормой. Это будет актом, в котором иначе распределены права и обязанности, чем в акте вышеупомянутой Декларации: в нем явно присваиваются права адресату, обязанность же со стороны исполнителя акта только предполагается — в виде долга блюсти дарованные права и уважать их в будущем.

3. Существуют акты, в которых нормативный элемент предшествует аттрибутивному и потому их нужно назвать нормативно-аттрибутивными. К ним принадлежат различные акты дарования конституций, как например Конституционная хартия во Франции 1815 года, конституции различных немецких государств в Германии в 19-м столетии и т. д. Как было указано выше, все они имеют характер торжественных обещаний со стороны правительства по отношению к гражданам и поэтому прежде всего они накладывают обязанность исполнять обещанное. Другой стороной их являются те права, которые аттрибутируются на основании этих обещаний гражданам и создают со стороны последних ряд притязаний. Их можно назвать актами, обладающими нормативным характером со стороны исполнителя акта и потенциально-аттрибутивным со стороны адресата.

4. Приказ или запрещение могут содержать в себе также нормативно-аттрибутивные элементы. Наиболее часто встречающийся вид приказов содержит явно выраженный нормативный элемент со стороны тех, к кому приказ обращен, тогда как со стороны приказывающего отсутствует всякая идея связанности долгом и проявляется голое право на приказание. Но можно мыслить и такие приказы, в которых приказывающий поступает в сознании своего долга перед подчиненными и, следовательно, нормативный элемент проявляется в них не только со стороны повинующегося субъекта, но и со стороны субъекта приказывающего. Идею такой власти, распорядительная деятельность которой исходит из сознания чистого долга, имеет в виду Платон в описанном им царстве философов. Та же идея лежит и в основании христианских представлений о власти. В основанном на подобных приказах обществе, если бы оно было возможным, не было бы вообще никакого аттрибутивного права и оно не могло бы быть названо ни в каком смысле правовым обществом. Приказы же в их обычной форме исходят из права властвующих на распорядительную деятельность и ведут к обязыванию подвластных. Их, стало быть, можно назвать нормативными актами с явно выраженным нормативным характером со стороны адресата и потенциально-аттрибутивным со стороны исполнителя.

5. Весьма часто встречаются и такие акты, в которых нормативный и аттрибутивный элементы в равной степени содержатся и со стороны исполнителя актов и со стороны адресатов. К категории таких актов принадлежат различные международно-правовые и междугосударственные договоры и соглашения, а также договоры в гражданском праве. Правотворческий характер подобных актов особенно заметен в международной области, ибо здесь договоры и соглашения впервые создают права и обязанности. Во внутренно-государственной сфере этот правотворческий характер затемняется тем, что при монополизации государством правотворчества соответствующие права и обязанности считаются происшедшими из государственной воли. Получается представление, что эти права и обязанности источником своим имеют не соответствующие правовые сделки и

правовые акты, но акты, исходящие от государства и из воли последнего черпающие свою силу.

В вышеназванных примерах обнаруживается внутреннее содержание, свойственное правоустановительным актам и составляющее их существо. Это есть утверждение свободы и мощи (по английски «the power», по французски «pouvoir», по немецки «Macht»). Если перейти теперь к правоустановительным актам, которые возникли в пределах государственного порядка и были разрешены государством, то мы убеждаемся, что содержанием этого разрешения является также свобода и мощь. Эти последние понятия нуждаются в дальнейшем разъяснении. Уже их сочетание показывает, что дело здесь идет не о свободе в метафизическом смысле этого слова, противопоставляемой понятию необходимости. В конце концов возможно, что такая свобода стоит в некотором отношении к правовой свободе и мощи, однако не это отношение имеет в виду деятельность правоустановления, которая одинаково может совершаться и детерминистами и индетерминистами. Дело идет также и не о внутренней нравственной свободе в смысле философии Канта и его последователей. Дело идет о так называемой «внешней» свободе, т. е. о возможности свободной деятельности. Но, строго говоря, аттрибутивные акты и аттрибутивные положения имеют в виду не столько фактическую свободу, сколько возможность к ней, потенцию к некоторому действию, закрепленную через единичный акт или через общее правоположение. Для выражения этого феномена на русском языке существует отличное понятие «мощь», соответствующее латинскому «posse» и немецкому «Können» или «Tunkönnen». Это понятие наилучшим образом подходит к описанию соответствующих правовых явлений. Представляется удивительным, что нормативная теория права, которая, особенно в ее новокантианской формулировке, выдается за последнее слово науки, совершенно не принимает во внимание того философского анализа, который выяснил самостоятельное значение идеи, выражаемой понятием «Können» — идеи потенциальной мощи, возможности — по сравнению с идеей долженствования. Об этой самостоятельности нам приходилось говорить в другом месте.[36]) Она выясняется не только путем феноменологического анализа названных понятий, но и путем указания на те совершенно различные социальные функции, которые обнаруживают идеи должного и возможного при регулировании общественной жизни.

---

36) M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Ethik, Jahrbuch für Phil. und Phänom. Forschung, Bd. II 1916 S. 97-98.

Н. Н. Алексеев, «Религия, право и нравственность», стр. 48. «Теория государства», 1931, стр. 104.

Все вышесказанное убеждает нас, что аттрибутивные положения ни в коем случае нельзя называть нормами в прямом смысле этого слова — т. е. положениями, высказывающими должное. То, что они высказывают, на русском языке выражается замечательным словом «правомочие» — словом, которое совершенно адэкватно схватывает внутренний смысл названных положений. Если к управомачивающим положениям и применять понятие нормы, как это между прочим делал и сам Петражицкий, говоря об «аттрибутивных нормах», то это можно делать только, придавая идее нормы совсем особое, новое значение — понимая ее, например, в смысле начала, регулирующего социальную жизнь. Причем регулирование это, как нужно подчеркнуть, осуществляется здесь не путем связывания обязанностью, но иным, чисто специфическим способом, стало быть способом не нормативным. При этих условиях применение в данном случае понятия нормы нельзя признать удобным и логически выдержанным. Лучше говорить об особых *управомачивающих положениях*, которые вместе с разнообразными нормами входят в состав положительного права.

III.

При подобном, чрезвычайно пестром и разнообразном объеме понятие «право» нужно считать понятием «сборным», т. е. таким, которое составлено не на основании логического отбора определенных внутренних признаков соответствующего предмета, но путем включения в одно целое весьма разнообразных явлений, имеющих известный практический смысл и могущих служить определенной практической цели. Подобный способ образования понятий отлично был характеризован Л. И Петражицким. «Специально практические профессиональные словоупотребления — говорит он — имеют тенденцию объединять общим понятием разные сборные группы явлений, не представляющих чего либо одинакового и отличного от всего прочего по своей природе, из за того, что они в данной, специально практической области заслуживают одинакового практического отношения к себе (одинакового поведения). Так кулинарное поварское словоупотребление обнимает своими названиями «зелень», «овощи», «дичь» и т. п. разные группы объектов человеческого питания, разнобразные виды растений и животных». Совершенно сходным путем образовалось и общеупотребительное понятие «право» , — путем сбора в одно целое разнородных явлений, требующих к себе определенного практического отношения. Последнее диктовалось прежде всего тем, что за правом стоял авторитет государства, с которым необходимо было

считаться. Оттого «правом» в еще донаучной терминологии стали называть все, оффициально исходящее от государства, признанное им и требуемое. Иными словами «правом» называется то, что считается «правом» соответсвующими оффициальными установлениями и что обладает оффициальным авторитетом. Названная формула определяет тот общий путь, по которому шло образование понятия о положительном оффициальном праве еще в донаучном сознании, — в практической деятельности общественного властвования и подчинения, в споре из-за частных интересов, в магистратуре, судах и в обыденной жизни граждан. Из формулы этой путем продумывания и развития ее внутреннего содержания родились три основные теории положительного права, послужившие основой наиболее распространенных на западе юридических воззрений — это так называемая государственная теория, теория принуждения и теория признания. Фактически они часто выступали не в раздельной, но в смешанной форме, однако методологически их полезно различать и изучать отдельно.

Классическую формулировку государственной теории права дал Р. фон Иеринг в следующих словах: «Ходячее определение права гласит: право есть совокупность действующих в государстве принудительных норм»... «Государство есть единственный источник права». Теории этой придерживались и придерживаются многочисленные выдающиеся юристы различных стран, но преимущественное распространение она получила в Германии, где до последнего времени она имела преобладающее значение. Успех ее среди юристов объясняется тем, что при современных условиях юридическая практика имеет дело преимущественно с оффициальным правом, т. е. с правом, исходящим от государства, признаваемым государством и им защищаемым. Таким образом внешним критерием для чисто практическаго и технического понятия права с успехом может служить момент истечения из государственной воли. Для юриста-практика момент этот может иногда быть вполне достаточным, чтобы отличить право от всего, что в государстве не считается правом и не имеет стало быть обязательной юридической силы. Однако, этот внешний момент никак не может удовлетворять юриста-теоретика. Самое поверхностное изучение истории права может убедить, что далеко не все правовые институты были созданы государством и что государственная теория характеризует только некоторую определенную историческую стадию в отношении между государством и правом, — именно стадию монополизации государством правотворчества и принятия государством под свою защиту всего права, даже и не исходящего от государственной воли — например, права обычного. В виду этих недостатков юридическая теория подвергла государствен-

ную теорию права некоторым улучшениям, откуда и родились вышеназванные теории принуждения и признания. Государственная теория сильно выигрывает в своей исторической правде, если утверждение, что всякое право истекает из государственного авторитета, заменить более осторожной формулой: «правом является все, что признается государством». Этот момент признания чисто формален и потому совместим с любой гипотезой о происхождении права. Право может иметь любой источник, помимо государственной воли, однако *формально* оно не является правом, пока его не признало таковым государство. Практически этот критерий признания еще удобнее, чем критерий исхождения из государственной воли, именно в силу *своего формализма*: юристу, пользующемуся названным критерием, отнюдь не необходимо спрашивать, *что такое право по существу*, ему достаточно указать, что *нечто признано правом*, — и формально проблема решена. Таким образом «сборный» характер понятия права особо бросается в глаза. Соответствующий авторитет может признать правом все, что ему кажется нужным, — и необходимость практически считаться с признанным будет определять объем понятия «право». Спор может итти только о том, какой из авторитетов способен придавать праву истинно «юридический» характер. Господствующее мнение полагает, что это есть только авторитет государства; некоторые же думают, что всякий другой общественный авторитет, например, авторитет Церкви, как самостоятельного союза. Для первых право, которое не поддерживается государством, никак не может быть правом в юридическом смысле; [37]) для вторых правом будет все, что в определенном кругу людей признается нормой или правилом их совместной жизни, безразлично, как и чем эта совместная жизнь определяется... [38]) Но и для тех и для других правом остается то, что оффициально кем либо признано, что называется оффициально правом в том или ином общественном кругу. И те и другие имеют, следовательно, дело с правом в смысле известного *общественного словоупотребления*, а не с правом по существу. И для тех и для других право остается «сборным» понятием, — с той только разницей, что в одном случае соединение происходит по признаку одинакового отношения к государству, в другом — такого же отношения ко всякому другому возможному союзу.

При всех практических достоинствах своих теория признания не выдерживает логической критики. «Правом» она считает то, что «признается» «правом». А почему же, можно спросить,

37) Bierling, Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe, I, 1877, стр. 1.

38) Bierling, in Zeitschrift für Kirchenrecht, Bd. 10, 1871, стр. 443.

такое признание совершается? По голому ли произволу или капризу? Или по некоторым свойствам, которые присущи признаваемому объекту? Если предположить последнее, то тогда эти свойства нужно указать — и в сущности говоря *они то и будут определяющими для понятия права*. Между тем свойства эти теорией определенно не указываются — и таким образом вся теория оказывается висящей в воздухе.

Большой неоспоримостью обладает теория принуждения, которая тоже часто соединялась с государственной теорией, хотя соединение это отнюдь не необходимо. Для права, как учит эта теория, важен момент принудительной санкции, но практиковать эту последнюю может и любой авторитет, помимо государства. Правом нужно считать все те нормы, которые имеют принудительный характер. «Говоря о праве мы имеем в виду социально санкционированное правило поведения, к которому принуждаются люди, живущие в обществе».[39]) Теория эта также с особой ясностью указывает на «сборный» характер понятия права. Согласно ей, «правом» может стать любая норма,—нравственная, техническая, хозяйственная, религиозная — лишь бы только у общества созрела уверенность, что следует реагировать на ее нарушение. До тех пор пока такого убеждения нет, соответствующие нормы остаются тем, чем они были по своей природе (нравственными, техническими и т. п.); как только общество прибегает к организации принуждения, которое должно следовать за неисполнением норм, — эти последние становятся нормами юридическими. Сторонники названной теории расходятся в определении самого понятия принуждения; одни имеют в

принуждение в буквальном смысле этого слова, в виде применения грубой физической силы, другие говорят о психическом принуждении, третьи заменяют понятие принуждения понятием «социальной гарантии».

Однако все эти расхождения не лишают разбираемую теорию и практической и теоретической силы. Юрист-практик, пользуясь этой теорией, без труда будет различать то, что является истинным, строгим правом (strictum jus), от того, что в правовом смысле не совершенно и что требует к себе иного практического отношения. Что касается до юриста-теоретика, то и ему дается весьма явственный объективный признак, отличающий правовые явления от других, к ним близких (например правовые нормы от нравственных). Теоретическая сила названной теории характеризуется ее способностью справляться с возражениями, против нее выдвигаемыми. В числе наиболее обычных из них, нужно назвать часто делаемое указание, что теория принуждения не охватывает всей совокупности правовых явлений, что она слишком узка, что существуют несомненные области права, в которых принуждение не существует и не применяется, например, естественное право, международное право, некоторые части конституционного права, гражданского права и т. п. Но сторонники разбираемой теории без особого труда отклоняют сделанные возражения указанием на то, что раз нет принудительной санкции, значит нет смысла говорить о праве, как, например, в случае естественного права, которое есть часть нравственности, так же, как и международное право, «нормы» которого в значительной степени являются правилами международной морали, вежливости, добрых нравов и т. п., равно как и «нормы» конституционного права, касающиеся, например, положения верховных государственных органов, которые не подлежат принуждению, так как сами являются носителями высшей принудительной власти. В том же случае, когда по отношению ко всем подобным «нормам» мы можем все же говорить о некотором «неорганизованном принуждении», — войне в международном праве, восстании в праве конституционном — в случае этом мы имеем дело с недоразвившимся, зачаточными правовыми явлениями, лежащими между правом и нравственностью и не выражающими вполне характера права.

Наиболее сильными возражениями против теории принуждения нужно считать впрочем следующие два, против которых, по нашему мнению, ей все-таки удается оборониться. Во первых, указывают на то, что определение права при помощи принуждения заключает в себе «definitio per idem», так как теория принуждения считает правом (X) совокупность таких положений, которые санкционированы не произвольным насилием со стороны кого бы то ни было, но организованным, т. е. правовым (X) принуждением со стороны органов, призванных к этому правопорядком, т. е. «нормами» права (X). X определяется, следовательно, здесь посредством X-а. Во вторых, указывают еще и на нелепость, допускаемую теорией принуждения в другом направлении — именно, в том отношении, что с точки зрения теории принуждения «нормою» права (X) является лишь такая норма, при неисполнении которой другая «норма» права (X) предусматривает применение принудительных мер. Но эта последняя «норма» (X_1), согласно теории принуждения, только тогда может быть правовой «нормой», когда существует дальнейшая «норма» (X_2), предусматривающая применение принудительных мер на случай неисполнения первой (X_1). «Норма» X_2 должна иметь дальнейшую санкцию, предусмотренную новой «нормой» X_3 и так далее до бесконечности. Откуда следует, что если существует хоть одна «норма», подходящая под теорию принуждения, то должно существовать бесконечное число других принудительных норм, а это предположение нелепо.

39) Geny, l. c. стр. 43.

Нельзя не признать большого остроумия приведенных возражений, которые кстати сказать формулированы в русской теории права [40]) — но в конце концов возражения эти все же бьют мимо цели. Первое из них справедливо было бы только в том случае, если бы «организация» принуждения могла быть только «организацией» правовой — и никакой другой; иными словами, когда понятие «организации» всецело совпадало бы с понятием права. Утверждение такого совпадения весьма свойственно современному европейскому сознанию и встречается довольно часто у современных писателей различных школ и направлений. Современное сознание совершенно утратило ту простую мысль, что возможны и другие, не правовые, а, например, нравственные или религиозные виды социальной организации. Древние монархии, например, были сложными организациями, в пределах которых было отведено место праву, но сами они в своих политических организационных формах менее всего были построены на правовых принципах. Бесплодно, например, говорить о «конституционном праве» древнего московского государства, организация которого вся была построена на религии, положительной нравственности, установленном быте. Поэтому, если мы возьмем, например, древнее русское уголовное право (X), то санкционировано было оно не правовым (X), но религиозно-нравственным (У) принуждением. Органы государства черпали следовательно свою власть не из права (X), но из религии (У) — следовательно мы отнюдь не определяем в данном случае X при помощи X, напротив сводим этот X (право) к метаюридическим началам (У). Но подобным же образом же опровергается и то «reductio ad absurdum», при помощи которого хотят опровергнуть теорию принуждения. Санкционированная принуждением «норма» права (X) отнюдь не всегда должна предполагать другую «норму» права (X_1), созданную на случай нарушения первой; вместо этой последней «нормы» права (X_1) может быть какая либо другая религиозная и нравственная «норма», которая и устанавливает соответствующую санкцию для «нормы» X. Получается стало быть не бесконечный ряд «норм» права, но наличность некоторых метаюридических начал, в которые упирается правопорядок.

Эта наличность раскрывающихся в каждой правовой системе сверхправовых основ позволяет говорить о «подчиненности» права религии, культурным идеалам и нравственности. Выдвинутое около десяти лет тому назад в евразийской литературе понятие «подчиненного права» нужно толковать не в том смысле, что право есть род «испорченной», «извращенной» нравственности, как к этому склонна этическая теория права и разные

40) *Л. И. Петражицкий*, О. с., конец первой части.

родственные ей течения. Напротив, самостоятельный феноменологический характер права должен быть опознан и выражен с полной отчетливостью и максимальной силой, что мы и стремимся сделать в этой статье. Но признание самостоятельности правового эйдоса отнюдь не противоречит тому, что он должен быть обоснован в высших эйдосах, которые и раскрываются в религии и этике. «Подчиненность» права должна быть истолкована в смысле его обоснованности в организационных идеях, которые в порядке ценностной иерархии являются вышестоящими и преобладающими.

Истинным недостатком теории принуждения нужно признать вовсе не приписываемые ей логические противоречия, а то не вполне отмеченное обстоятельство, что она, подобно государственной теории и теории признания, отрицает всякую подлинную, специфическую реальность правовых явлений. То, что мы называем, например, телом, является им не потому, что мы его так называем, но потому, что существует ряд объективных «естественных» признаков и черт, присущих телесным явлениям и от них неотделимых. Но то, что мы называем правом, таких «естественных» признаков не имеет и объединяется в одно целое только на основе условной терминологии. Право таким образом как бы лишено всякой субстанциальной основы — лишено эйдоса. Не эйдос объединяет в одно целое различные явления права, но эти последние объединяются чисто внешним моментом происхождения из одного источника, признания или санкции. Нравственная, техническая или какая нибудь иная норма является таковой не потому, что ее так называют, — или вернее не только потому, но еще и по своей внутренней природе (природа и соответствует имени); правовая же «норма» является таковой только по своему названию. Составляющие право разнообразные «нормы» не теряют своей природы, когда они становятся правовыми — напротив они остаются тем, чем были, никакой метаморфозы их мы не наблюдаем. Происходит внешнее, чисто условное изменение имени, практически может быть и полезное, но эйдетически лишенное всякого содержания. Иными словами, все названные теории покоятся на некотором правовом нигилизме: для них «праву», в порядке внутренней объективности, ничего не соответствует, название «право» внутренне ничего не выражает, никаких подлинных правовых феноменов стало быть нет и быть не может и об «объективности» права можно только говорить в смысле большей или меньшей общеупотребительности соответствующей терминологии, которая связывает название «право» с тем или другим из вышеназванных моментов — с происхождением, признанием или принужденением. При этом наиболее общеупотребителен момент принуждения, т. е. практически всего чаще и всего более обосновано «правом» называют снаб-

женные принудительной санкцией «нормы», а, следовательно, условно практически наиболее права теория принуждения.

Существует только одно средство избежать правового нигилизма, свойственного огромному большинству, даже почти всем теориям так называемого «объективного права» — это попытаться выделить из всего разнообразия сборных явлений права некоторое подлинно правовое ядро, которое позволило бы применять к нему имя «право» уже не внешне и формально, но внутренне и субстанциально. Если бы таковое ядро было действительно выделено, тогда мы могли бы с полным основанием противопоставлять разнообразным техническим, нравственным и другим нормам и нормативным актам, входящим в сборное понятие права, подлинный правовой феномен, который мог бы послужить основой для построения подлинно научной теории права.

Основной особенностью построяемой здесь теории права является то, что таким ядром мы признаем акты и положения, устанавливающие правомочия. Их то и следует назвать правовыми в тесном, собственном смысле этого слова. Приходиться только удивляться, что их обычно так не называют. Раз в них устанавливаются правомочия, то какого же иного имени они заслуживают, как не имени правоположений? Все остальные, входящие в сборное понятие права нормативные акты и нормы, приходиться назвать правовыми уже не в прямом, но в переносном, не собственном смысле этого слова. И именно «правовыми» они становятся вовсе не в силу происхождения, признания или принуждения, но в силу того, что они стоят в определенном отношении к управомочивающим актам и к правоположениям. Пока этого отношения нет, все разнообразные технические нравственные и другие нормы, остаются тем, что они являются по своей природе. С того же момента, как они становятся в отношение к правомочиям, они в силу своей отнесенности причисляются к области права. Понятие «правовая норма» означает следовательно, такое положение, которое устанавливает долженствование, имеющее отношение к правомочию. Если такового отношения нет, норма остается той, какой она была по своему существу; если отношение имеется, норма становится правовой

Основным понятием правоведения является таким образом идея правомочия. Термином этим и должно быть заменено переведенное с немецкого языка понятие «права в субъективном смысле» или «субъективного права». Что касается до понятия объективного права, то оно должно быть также элиминировано из русской юридической терминологии — и в силу внутренне присущих ему логических недостатков, [42]) и в силу разобранной

42) Ср. замечания *Н. А. Дунаева* в последующей статье о «Видах правомочий».

нами связи его с идеей нормативизма. С точки зрения русского языка достаточно просто говорить в этом случае о праве, как о совокупности правоустановительных актов и правоустановительных общих положений, с отнесенными к ним различного рода нормами. Если одно это понятие может показаться недостаточным и нуждающимся в дальнейшем определении, то в этих целях может лучше всего служить «установленное право». Понятие это точно передает природу подлежащего явления, так как дело идет именно об «установлении» соответствующих актов или общих положений, — путем приказов, обещаний, деклараций, издания законов и т. п. Установленное право противопоставляется праву естественному, праву интуитивному и т. п. — как тому, которое не основывается ни на каком «установлении». Понятие «установленного права» лучше, чем понятия «позитивного», «положительного» права, ибо эти последние слова невольно наводят на мысль, что существует еще какое то «негативное» — «отрицательное» право, что является нелепостью.

Установленное право — правомочие — обязанность (которая вытекает из понятия нормы) — вот основные понятия, от которых должна отправляться русская философия права и которыми она должна заменить привитую ей иностранную, по существу не соответствующую природе вещей и лишенную смысла терминологию. Принятие этой терминологии может быть одним из средств к осуществлению той основной задачи, которая стоит перед русской наукой. Мы говорим о борьбе со столь распространенной ныне в западной науке утратой самой идеи права. Утрата правовой идеи особенно характерна для преобладающей ныне на западе «школы объективного права», которая, с одной стороны, совершенно отрывает право от метаюридических основ, с другой — лишает право раскрывающегося в нем эйдоса. Для представителей этой школы совершенно не важно, чтобы в «объективном праве» устанавливались «права субъективные», — важно только, чтобы устанавливались «нормы». «Права» следовательно являются несущественным придатком «норм» — и истинная правовая система ничего не теряет от того, что в ней совершенно отсутствует идея «правомочия». Дальше уже итти некуда в смысле утверждения правового нигилизма. При этом нигилизм этот преподносится с известным пафосом — под видом проповеди борьбы за право, с призывами к просветлению жизни правовым содержанием, к облагорожению ее правовыми принципами. Действительным содержанием, раскрывающимся в этой фразеологии, является упорное стремление к широкой регламентации социальной жизни путем установления принудительных норм. Школа «объективного права» является ничем иным, как неосознанной политической идеологией названных

стремлений. Какая то тайная сила, действующая в современной жизни, стремится погубить идею права — и для выполнения этого она как бы ослепила современных юристов. Такой ослепленной юриспруденцией является господствующая ныне школа «объективного права».

Н. Н. Алексеев

ПРАВОМОЧИЕ И ЕГО ВИДЫ

До последнего времени в юридической литературе термины «право в субъективном смысле», «правомочие», «субъективное право» употреблялись как вполне тождественные, ибо все они одинаково обозначали предоставленную объективным правом возможность совершения действий. И то, что этими терминами обозначалось, представлялось также всем чем то единым, всегда себе равным и различий в нем никаких не усматривалось. С некоторыми оговорками к трем указанным терминам можно присоединить еще четвертый — «компетенция», место коему в теории права вообще еще не найдено. Если в отожествлении первых трех в науке царит полное единодушие, то в отношении термина «компетенция» этого сказать нельзя; одни авторы считают его совершенно лишним, так как слово это выражает будто бы то же понятие, что и правомочие или субъективное право, другие же, наоборот, настаивают на самостоятельной, резко отличной от субъективного права, природе того, что они называют компетенцией. В дальнейшем мы должны будем подробно остановиться на всех этих разногласиях, сейчас же заметим следующее. Конечно, можно условиться, пользуясь богатством языка, что одно понятие мы будем выражать несколькими словами; тогда замена одного термина другим не повлечет за собой недоразумений и неясности. Но недоразумения, неясность и споры появятся с необходимостью если то, что этими терминами обозначается, на самом деле не есть нечто единое, постоянно обладающее одними и теми же признаками. В последнем случае с неизбежностью одни авторы будут связывать один термин с наличием таких-то признаков, другие — с их отсутствием или наличием каких-либо иных признаков; наконец у третьих авторов связь будет как раз обратная.

Всеми этими рассуждениями мы хотели только дать схему разногласий и споров по интересующему нас вопросу, к иллюстрации и решению которого мы теперь и перейдем. Мы попытаемся показать, что́ то, что до настоящего времени называется

«субъективным правом», «правомочием» или «правом в субъективном смысле», а некоторыми еще и «компетенцией», не является на самом деле чем то единым, что в нем существуют весьма существенные различия, игнорирование которых лишает возможности решения многих основных вопросов теории права.

I.

Приступая к решению поставленной себе задачи, условимся что под правомочием мы будем понимать возможность совершения каких либо положительных или отрицательных действий предоставленную законом, обычаем или другим каким либо источником права, т. е. короче говоря — предоставленную тем, что называется объективным правом. *Но человек, субъект права, может действовать или в собственном, личном интересе, или же в интересе других лиц.* До настоящего времени эта возможность к совершению действий как в собственном интересе, так и в интересе других лиц одинаково называлась правомочием, субъективным правом или правом в субъективном смысле; все три термина употреблялись, как совершенно тождественные и противопоставлялись праву в объективном смысле, как совокупности норм. И то, что этими терминами обозначалось, казалось чем то единым, простым, никаких различий в нем не замечалось. На самом же деле, как мы попытаемся показать, это совершенно не верно. Уже в вышеприведенном определении правомочия нами указано, что субъект права может действовать либо в собственном интересе, либо в интересе других лиц.

Эта управомоченность, это предоставленное субъекту право в обоих случаях вовсе не одной природы; в каждом случае мы имеем нечто совершенно различное, и различие это легко усматривается. Возьмем несколько примеров для первого случая, т. е. для действий в собственном интересе. Каждое правоспособное лицо может, т. е. имеет право продать или не продать принадлежащую ему вещь, вступить в брак или не вступить принять на себя представительство другого лица или не принять, получать от казны пенсию, если она ему полагается, или не получать, пользоваться пособием для безработных или отказаться от него, и т. п. При всех этих действиях никто не может потребовать от автора этих действий какого либо отчета, мотивов его поведения, за все эти действия он ни перед кем не отвечает. В совершении или не совершении таких действий субъект абсолютно свободен. Совершенно иной характер носят действия совершаемые в интересах других лиц. Так, представитель отвечает перед своим доверителем за все свои действия по представительству, он ему обязан отчетом, он должен мотивировать

свои действия; так, опекун несет ответственность и перед опекаемым и перед опекунским управлением, так судебный следователь, которому законом предоставлено право производить аресты, может напр. оставить на свободе обвиняемого, но такое свое постановление он должен мотивировать, с его мотивами суд может не согласиться и даже привлечь следователя к ответственности; так, член правления какого либо союза, совершая какие либо действия в интересах своего союза, должен доказать их целесообразность и отвечает за них перед общим собранием.

Как видим, управомоченность к совершению действий в собственном интересе характеризуется полной свободой усмотрения, осуществление такого права не подлежит контролю, мотивы действий здесь безразличны, и автор таких действий, совершая их за собственный риск и страх, ни перед кем не несет ответственности. Для управомоченности к действиям в интересах других лиц характерно как раз обратное: большая или меньшая связанность, подконтрольность, а потому должная мотивированность таких действий и ответственность за них. Мы видим, сколь разнятся между собою оба вида правомочия и потому считаем, что к обоим видам нельзя применять одну и ту же терминологию. Различие в существе изучаемого нами явления должно находить отражение и в словах.

Итак, мы пришли к различению двух видов права в субъективном смысле. Один вид права предоставлен субъекту для пользования в собственных интересах, другой для пользования в интересах не собственных. Первый вид характеризуется полной свободой, безотчетностью, безразличием мотивов и безответственностью; права второго вида — как раз обратными признаками.

Необходимо найти название для этих двух видов права. По смыслу наиболее правильным было бы назвать первый вид права — правом субъектным, так как действительно все эти права, как будет видно из дальнейшего, принадлежат субъекту, как таковому, вне зависимости от его особого юридического положения. Но необычность этого слова не позволяет рассчитывать на то, что термин этот получит общее признание. Можно было бы назвать такие права — правами личными. Но, во-первых, этот термин уже употребляется в отношении прав непередаваемых, а во-вторых, так называются некоторыми авторами права личности, не носящие имущественного характера и не вытекающие из семейственных отношений, как то право на жизнь, свободу передвижения, на личное имя, честь, на свободу веры, слова и т. п. Третья возможность назвать эти права — правами индивидуальными. Однако и это слово нельзя признать вполне соответствующим, так как оно обозначает нечто противное обратное коллективному; можно было бы ожидать, что если один

вид права называется индивидуальным, то другой с необходимостью должен называться коллективным. На самом же деле наше различение с таким противоположением дела не имеет.

Не остается ничего другого как назвать этот вид правомочия правами *лично-свободными*. В этом термине соединены наиболее характерные признаки прав, предоставленных субъекту для действий в собственном интересе, а именно связь их с лицом, как таковым, вне зависимости от его особого юридического положения, и свобода в их осуществлении.

Не менее труден вопрос с обозначением второго вида правомочия, т.е. права на совершение действий в интересах других лиц или вообще в несобственных интересах. Всего правильнее было бы назвать этот вид права правом функциональным, так как лицо, действуя в интересах другого, тем самым действительно выполняет функцию. Но хотелось бы избежать введения этого, из математики заимствованного, к тому же для юридической литературы совершенно нового слова, притом еще и иностранного. Назвать такие права правами должностными было бы неправильно, слишком узко, так как к этим правам безусловно относятся права родительские, права опекуна, попечителя, представителя; считать же родителей или представителя должностными лицами было бы по меньшей мере странно. Остается последняя возможность — называть второй вид правомочия — правами *служебными*, понимая под этим, конечно, не состояние на службе государственной, общественной или частной, а просто служебность, служение другому лицу.

Для обозначения же родового понятия мы будем употреблять, как это было и до сих пор, термины «право в субъективном смысле» и «правомочие».

II.

Покончив с вопросом терминологическим, вернемся к существу дела. Мы конечно предвидим, что против выдвигаемого нами различения двух видов правомочия могут быть сделаны существенные возражения. Нам могут указать, что второй вид правомочия, называемый нами служебным или функциональным правом, на самом деле вообще не есть правомочие, а есть простая обязанность. Так, в отношении наших примеров из частного права будут утверждать, что представитель является просто обязанной стороной в отношении доверителя, опекун такой же стороной в отношении своего опекаемого и т. п., что во всех подобных случаях нужно различать не одно, а два правоотношения, а именно отношение представителя к своему доверителю и его отношения к другим лицам, с которыми доверитель вступает в какую либо сделку; отношение опекуна к опекаемому

и его отношение к посторонним. В одном правоотношении представитель , опекун являются лицами обязанными, в другом — управомоченными.

С примерами же из области публичного права дело обстоит еще проще: здесь, будто бы, вообще нет прав, а лишь одне обязанности. Известно, что такой точки зрения придерживался проф. Шершеневич и даже строил на этом свое деление права на публичное и частное: по Шершеневичу частное правоотношение слагается из четырех элементов, субъекта, объекта, обязанности и права, а публично-правовое отношение всего из трех — субъекта, объекта и обязанности. Мы считаем эту точку зрения в корне неправильной и полностью присоединяемся к профессору Л. И. Петражицкому, указавшему, что правовое отношение тем и характеризуется, что в нем всегда имеется и правомочие и обязанность, что юридическая норма тем и отличается от всякой другой, что она всегда двусторонняя, императивно-аттрибутивная. Чтобы убедиться в этом возьмем любой пример — скажем действия сборщика податей. Что собирать налоги он обязан, в этом нет ни малейшего сомнения, но обязан он перед лицом, под начальством коего он находится, в отношении же плательщика он является лицом управомоченным. Плательщик обязан уплатить налог именно сборщику, а не полицейскому врачу, и при том сборщику именно данного участка, а не его сослуживцу из соседняго участка. И это потому, что ни полицейский врач, ни сборщик из другого участка не являются лицами управомоченными на взыскание налога с данного налогоплательщика. Совершенно то же можно сказать о действиях любых агентов государства.

Вся трудность признания в подобных отношениях наличия правомочия происходит по причине невыясненности и дефектности понятия субъективного права. В то время как для одних понятие это равнозначно правомочию, другие авторы стали придавать ему более узкое значение, понимая под ним только свободную возможность совершения каких-либо действий. А так как в действии агентов этой свободной возможности нет, ибо они обязаны совершать эти действия, то отсюда приходили к заключению, что в подобных отношениях нет вообще никакого права. Так, проф. Н. Н. Алексеев в своей «Общей теории государства» на стр. 446 пишет: «субъективное право» в подлинном смысле есть свободная возможность, в основании коей не лежит никакой обязанности. Поэтому субъективных прав в области государственных функций нет, но есть только компетенция свободная или связанная».

По нашему же мнению, в праве в субъективном смысле или правомочии вовсе не содержится указания на какую то степень связанности или свободы; оно означает лишь, что такое

то лицо, при таких-то условиях наделено возможностью, т. е. имеет право совершить какое-либо определенное действие, которое другое лицо, или то же, но при других обстоятельствах, совершить не может, т. е. не имеет права, если же это действие данным лицом будет все же совершено, то это будет не осуществлением права, а правонарушением. На нижеследующих примерах это обнаружится с полной отчетливостью.

Допустим, что кто либо, не зная, что какой нибудь налог уже отменен, вносит в покрытие этого налога определенную сумму в казначейство, выполняя тем самым свою обязанность налогоплательщика, правда в данном случае мнимую. Допустим также, что фининспектор, неправильно поняв закон о новом налоге, взыскивает с налогоплательщика неподлежащий уплате налог, полагая при этом, так же как и налогоплательщик, что выполняет свою обязанность. Квалификация действий того и другого будет однако совершенно различной. Налогоплательщик, уплатив непричитающееся, не совершил правонарушения; действие же инспектора должно рассматриваться, если не как преступление, так как не было умысла, то, по меньшей мере, как действие противоправное. Спрашивается, в чем же разница? Ведь оба они выполнили свою обязанность, хотя и мнимую. Разница конечно в том, что для уплаты налога не нужно никакой управомоченности, это есть чистая обязанность, а для взыскания налога необходимо правомочие. Инспектор не был управомочен на взыскание на самом деле не подлежащего взысканию налога, а потому, взыскав его, он совершил поступок противоправный. Для большей убедительности еще пример. Кто либо, не подлежа призыву, но желая поступить на военную службу, и скрыв с этой целью освобождающие его от призыва обстоятельства, зачисляется председателем призывной комиссии в армию. И наоборот, председатель такой комиссии из личной неприязни к кому либо, скрыв обстоятельства, по коим данное лицо не должно было бы призываться, зачисляет это лицо в армию. И наш доброволец и председатель не были обязаны к тем действиям, кои они совершили, но председатель не только не был обязан, а еще и не был управомочен зачислять в ряды армии данное лицо, а потому, зачислив его, он совершил преступление. Обобщая эти примеры, можно установить следующее : когда мы имеем дело с чистой обязанностью, то действия, совершенные в исполнении такой обязанности лицом, на самом деле к тому не обязанным, ни в коем случае не могут рассматриваться, как противоправные; когда же мы имеем дело с тем, что мы называем служебным, или функциональным правом, которое всегда есть вместе с тем и обязанность, то действие лица, на самом деле к подобному действию не обязанного, во исполнение такого рода «обязанности», — является правонарушением, так как лицо на это действие не было управомочено. Если в первом случае можно сказать : не был обязан, но все же сделал, — тем лучше, тем достойнее, то во втором должно сказать: не был «обязан» — но сделал сам, тем самым совершил противоправный поступок.

После всех этих рассуждений и примеров должно стать ясным, что в осуществлении агентами и органами государства своих функций нельзя видеть только выполнение обязанности. Это всегда есть и осуществление правомочия, права, но конечно не того свободного права, о котором говорит проф. Алексеев, не лично-свободного, как предлагаем назвать его мы, а права второго вида — служебного или функционального. Не касаясь пока нашей новой терминологии, мы должны указать, что признавая в осуществлении агентами и органами государства своих функций осуществление права, мы сохраняем верность и юридической традиции и вошедшей уже в практику терминологии. И в научных трудах, и в учебниках, и в быту принято говорить о *правах* должностных лиц. Постоянно слышишь и читаешь «фининспектор имеет право», «имеет-ли право полиция» и т. д.

Защищаемая нами точка зрения — утверждение наличия в действиях агентов и органов государства элементов и права и обязанности, высказана была еще раньше проф. С. В. Завадским. В своем курсе гражданского права, касаясь вопроса о делении права на публичное и частное, проф. Завадский, возражая проф. Шершеневичу, усматривает отличительный признак публичного права как раз в том, что в отношениях публичноправных на одной стороне объединены и право и обязанность, тогда как в частных правоотношениях право и обязанность разобщены. Прав ли проф. Завадский в том, что наличие на одной стороне и права и обязанности встречается только в отношениях публичноправных, и что такое соединение может служить отличительным признаком публичного права, — вопрос иной, к решению коего мы вернемся в дальнейшем, но проф. Завадский безусловно прав в том, что в действиях агентов и органов государства нужно видеть сочетание и права и обязанности.

Теперь вернемся несколько назад, к первой части предвидимого нами возражения, а именно к тем примерам из частного права, которые мы привели в доказательство того, что в частном праве нужно различать два вида правомочий — право личное - свободное и право служебное или функциональное. Мы предвидели, что нам может быть сделано указание, что в примерах наших с опекуном и представителем мы смешиваем два правоотношения, а потому и усматривали у опекуна и представителя какое то особое право с элементами обязанности, тогда как на самом деле здесь два правоотношения, из коих одно слагается из субъективного права опекаемого или доверителя и обязан-

ности опекуна или представителя, а другое из субъективного права опекуна или представителя и обязанности тех лиц, с коими он вступил в сделку по делам опеки или представительства. Так ли это? Что здесь два правоотношения мы не спорим так же, как и при действиях агентов и органов государства, но ведь не в этом вопрос. Необходимо выяснить, как должны мы рассматривать какое либо отдельное действие опекуна или представителя: как его право, или как обязанность, и если как право, то однородно-ли право опекаемого и опекуна, представляемого и представителя и можно ли права этих лиц одинаково называть субъективными. Попробуем разобраться опять на конкретном примере. Допустим, что одно лицо доверило другому, своему представителю, продать принадлежащее первому лицу имущество; представитель нашел покупателя и заключил договор купли-продажи. Не возникает сомнений, что собственник, продавая свое имущество, осуществляет свое право и при этом право лично-свободное, так как в распоряжении своей собственностью он вполне свободен: может продать, может не продать, может совершить сделку сам лично, может передать заключение ее своему представителю. Представитель, принимая на себя поручение, также осуществляет свое лично-свободное право, так как он также волен принять, волен и отказаться, и до мотивов принятия или отказа никому нет никакого дела, как и до мотивов продажи собственником своего имущества. Но, спрашивается, после того, как поручение принято и представитель для третьяго лица стал лицом управомоченным, т.-е. получил право на осуществление чужого права, можно ли считать такое право представителя его лично - свободным правом. Не нелепостью ли было утверждение, что одному лицу может принадлежать совершенно такое же право распоряжения имуществом другого, как и собственнику данного имущества, что это чужое имущество данное лицо может продать за любую цену или вовсе не продать, кому либо подарить, пожертвовать, вообще распорядиться, как заблагорассудится. Очевидно, что право представителя коренным образом отличается от права лица представляемого, и если последнее называть лично-свободным, то применение этого же термина к праву представителя означало бы намеренное соединение несоединимого, неразличение по существу различного. Положение представителя, да и всякого лица в области частного права, поскольку такое лицо действует в чужих интересах, с формальной стороны вполне аналогично положению государственных агентов и органов, правомочия и тех и других совершенно одного порядка, являются теми правами, кои мы называем служебными или функциональными. Как представитель является лицом управомоченным по отношению к третьим лицам, так государственный агент —

таковым же по отношению к определенному числу граждан; как представитель является стороной обязанной по отношению к своему представляемому, так такой же стороной является и государственный агент по отношению к лицам, выше его стоящим на служебной лестнице. Таким образом тот вид правомочия, который мы называем служебным или функциональным правом, находит себе место как в частном, так и публичном праве. И потому не прав проф. Завадский считавший, что объединение на одной стороне элементов права и обязанности является отличительным признаком для публично-правовых отношений. Усмотренное нами различие правомочий отнюдь не должно заменить деления объективного права на публичное и частное. Оба деления совершенно самостоятельны и необходимы. И не только основа деления в обоих случаях совершенно различна, но и предмет деления совершенно иной. Деление права на публичное и частное есть деление права в объективном смысле, то есть норм, тогда как деление права на лично-свободное и функциональное или служебное есть деление права в субъективном смысле или правомочия.

Еще одно возможное недоразумение хотелось бы нам предотвратить. А именно, не должно смешивать различие собственного и не собственного интереса с делением на частные и общие интересы. Как известно, на последнем различии думал построить проф. Коркунов свое деление права на публичное и частное. Кажется общепризнанным, что это ему не удалось, да и не могло удасться, так как невозможно определить, где кончается частный интерес и где начинается общий. Наше различение построено на совершенно ясном и отчетливом признаке. Если последствия действия возникают для лица действующего, то мы имеем дело с лично - свободным правом; если не для него, то перед нами служебное или функциональное право.

III.

В начале нашей работы мы вскользь заметили, что права родительские относятся нами также к служебным или функциональным правам, а не лично-свободным. С первого взгляда это может показаться весьма странным. Однако своеобразие семейственного права было уже давно замечено многими. Своеобразие это столь значительно, что проф. Петражицкий считал более правильным объединять в одну группу право семейственное и право публичное, а проф. Завадский в своем курсе гражданского права прямо говорит, что родительские права суть собственно публичноправовые обязанности, возложенные на родителей. И действительно, родительские права на самом деле являются сочетанием права и обязанности, т.-е. тем, что мы назы-

ваем служебным или функциональным правом. Совершенно очевидно, что родители имеют право, что они управомочены к воспитанию детей; но вместе с тем они одновременно и обязаны их воспитывать; всякое вмешательство посторонних, помимо воли родителей, в дело воспитания есть нарушение их права, но также и отказ родителей от заботы о детях есть отказ от выполнения своей обязанности. Право родителей не может быть их лично-свободным правом, так как во всех действиях своих по воспитанию они обязаны руководствоваться не своими интересами, а интересами детей. Понятно в нормальной, хорошей семье интересы родителей и детей совпадают, да обычно никто лучше родителей и не может понимать и знать интересы ребенка; но в отдельных случаях такого совпадения может и не быть, и если при таком расхождении родители в своих личных интересах действуют против интересов детей, то они могут быть лишены своего права и даже понести наказание. Однако такое понимание взаимоотношений родителей и детей есть результат последнего времени, еще не везде нашедший себе полное отражение в положительном праве и в правосознании масс. Общеизвестно, что и в недалеком сравнительно прошлом и у древних народов отец имел над детьми почти такую же власть, как над вещами, и право его в то время нужно рассматривать, как его, отца, лично-свободное право. Да и вообще отдельные права с изменением правосознания могут переходить из разряда лично-свободных в разряд служебных или функциональных прав. Так, в настоящее время можно наблюдать изменения правосознания в отношении к хозяйственной деятельности. Даже в странах, социальный строй которых основан на частной собственности, руководство громадными предприятиями, в которых заняты несколько тысяч рабочих и которые обслуживают иногда громадное число потребителей, — воспринимается современным правосознанием как общественная функция, выполнение которой принято на себя собственником, а *не как его лично-свободное право*. Правда, в положительном праве большинства государств новое понимание не нашло себе еще почти никакого отражения. Однако, несмотря на это, нельзя не признать, что хозяйственная деятельность и при частно-хозяйственном строе с какого-то момента, при определенных условиях, становится функцией и потому перестает быть лично-свободным правом собственника.

Мы не закрываем глаз на трудности определения того момента и тех условий, с которого и при которых хозяйственная деятельность становится функцией. Но кое какие замечания по этому поводу могли быть все же сделаны. Во-первых, должно избегать смешения социологической и юридической точки зрения. Социологически всякая хозяйственная деятельность, кроме чистого типа хозяйствования потребительского, не состоящего в меновых отношениях с другими хозяйствами, есть деятельность функциональная. Для того же, чтобы и юридически хозяйственная деятельность стала функцией, необходимо или отделение собственника от его предприятия в смысле размежевания интересов собственника и интересов предприятия, и вместе с тем предоставление кому то права контроля и надзора за действиями собственника; таким контролирующим органом могли быть, скажем, объединение предпринимателей, союз потребителей, рабочие организации, наконец государственные агенты; или же необходимо просто признание положительным правом, что хозяйствование должно быть осуществляемо в интересах потребителей и наделение, так же как и в первом случае, кого-то правом надзора и контроля. При таких условиях собственник будет обязан действовать или в интересах предприятия, или в интересах потребителей, а не в личном своем интересе и таким образом деятельность его из осуществления лично-свободного права превратится в осуществление служебного или функционального права. Положение такого функционального собственника очень напоминало бы положение тех лиц из недавнего прошлого Запада, которые занимая определенные государственные должности, имели право продавать, дарить, завещать их, короче говоря вполне ими распоряжаться при соблюдении одного лишь условия, чтобы деятельность, с этими должностями связанная, не прекращалась. Здесь не место обсуждать, поскольку все это выполнимо и желательно; в задачу себе мы ставили лишь указание тех условий, при коих и с юридической точки зрения хозяйствование становится функцией.

Поскольку же собственник в своей хозяйственной деятельности руководствуется собственным, личным интересом и может юридически (в смысле требования положительного права) не считаться с интересами лиц, кои обслуживаются предприятием, то деятельность собственника при таких условиях остается формально его лично-свободным правом.

IV.

В учении об органах и агентах государства и юридической природы их функций с наибольшей ясностью обнаруживается тот тупик, в который зашла теория права благодаря неразличению двух видов правомочия. Было бы поэтому весьма поучительным и интересным провести подробный разбор весьма многочисленных теорий, касающихся этого вопроса. Однако в настоящей статье такой разбор кажется нам не уместным. Мы ограничимся поэтому передачей лишь самого существенного.

Прежде всего необходимо выяснить и определить понятие органа. Можно ли считать органы субъектами права? Известно,

что весьма многими учеными, вопрос этот решается отрицательно. Так проф. Еллинек в своем «Общем учении о Государстве» пишет: «Каждый союз нуждается в единой воле. Этой волей может быть только воля человеческих индивидов. Индивид, воля которого считается волею союза, должен быть рассматриваем — поскольку отношение касается союза — как орудие воли союза, как орган союза». И далее: «Чтобы выяснить правовое положение государственных органов, необходимо строго отличать органы от функционирующих в качестве этих органов людей. Орган, *как таковой*, не является по отношению к государству лицом. Не существует здесь поэтому двух лиц — личности государства и личности органа, которые находились бы друг к другу в каком бы то ни было правовом отношении, государство и орган образуют напротив единое целое. Государство может существовать только через посредство своих органов; если мыслить его без последних, то останется не государство, как носитель своих органов, а юридическое ничто. Этим отношение органа отличается от всякого рода представительства. Представляемый и представитель суть и всегда остаются двумя лицами; союз и орган всегда составляют одно лицо»...«Так как орган не имеет никаких индивидуальных прав, а только государственную компетенцию, то последняя не может быть также правом функционирующих в качестве органа лиц. Индивид, напротив того, может иметь право на положение органа, т. е. на признание его органом и допущение к отправлению его функций»... «Положение органа занимает всегда конечно индивид, юридически никогда вполне не сливающийся с органом. Государтсво и носитель органов являются поэтому двумя несовпадающими личностями, между которыми возможны и необходимы разнообразные юридические отношения; так напр., все права и обязанности чиновников по отношению к государству представляют собою права и обязанности не государственных органов, а носителей органов; жалованье получает носитель органа, а не орган, и точно также дисциплинарное наказание постигает первого, а не последнего».

Все это учение Еллинека является сплошным противоречием. Действительно, орган здесь и лицо и вместе с тем не лицо, «носителем» органа является то индивид, то государство. И не в праве ли мы задать вопрос, что такое «индивидуальное» и «не индивидуальное» право, о котором говорит Еллинек. Как известно, в теории права такого различия до сего времени не проводилось. Да и сам Еллинек не указывает отличительных признаков этого нового вида прав, и не дает их характеристики.

Но конечно главной ошибкой Еллинека, из которой вытекают уже все остальные, является его требование отличать орган от «носителя органа». Требование это просто противно всякой

логике. Можно и должно действительно отличать должность от носителя должности, должностного лица. Ведь невозможно «быть должностью», должность можно только занимать; наоборот органом можно только быть, занимать же «орган» никак нельзя. И это потому, что должность означает только положение субъекта, тогда как орган—самого субъекта. Требование Еллинека отличать носителя органа от «органа, как такового», равносильно требованию отличать купца, как такового, от лица торгующего, мужа от лица состоящего в браке, отца от человека имеющего детей, чиновника от должностного лица.

Можно говорить об «органстве», если такое словообразование допустимо, а не об органе, как таковом. «Органство», отцовство, как и должность понятно не являются субъектами права, но орган, или носитель органства так же, как отец, так же как чиновник, носитель должности, или должностное лицо, всегда являются и не могут не быть субъектами права, просто уже в силу того, что органом всегда является либо отдельный человек, либо сведенная к какому то единству некоторая совокупность индивидуумов, которые в современном праве не могут не быть субъектами. Индивидуум, делаясь органом, не только не перестает быть субъектом, но наоборот получает новые права. Единственным отличием понятия органа от понятия агента, купца, председателя, чиновника и т. п. является то обстоятельство, что органом могут быть и юридические лица, а не только лица физические. И нет ровно никакого противоречия в том, что юридические лица, являясь органами другого юридического лица будут иметь свои органы. Могут же союзы, состоящие из членов, в свою очередь входить в качестве членов в высшие объединения, в союзы союзов.

Только если под «носителем органа» понимать государство, как случайно обмолвился сам Еллинек, выражение это получает свой смысл. Да, конечно, государство является носителем своих органов, так же как человек своих органов в физическом значении этого слова. Но как нелепо говорить о сердце, как таковом, в отличии от некоторых особых мускулов, функционирующих в качестве сердца, также нелепо различать «органы, как таковые, от людей в качестве этих органов функционирующих».

Но если нельзя отличать орган от его носителей, т. е. от индивидуума, функционирующего в качестве органа, то действительно необходимо различать те разнообразные юридические положения, в которых одновременно может находиться отдельный субъект права. Совершенно верно говорит пр. доц. Рождественский в своей книге «Теория субъективных и публичных прав» (стр. 174): «Носители органства могут быть носителями также и других юридических сфер, при чем и та и другая должны быть строго разграничиваемы друг от друга. Данный субъект

права может быть собственником, отцом семейства, предпринимателем и т. п., и в то же время органом союза, поскольку он всякий раз действует в пределах той или другой юридической сферы. Вот почему следует различать положение данного субъекта, как частного лица и его положение, как органа союза». И это как раз и означает ничто иное, как необходимость различать действия субъектов в собственных, личных интересах и действия их в интересах других лиц, т. е. необходимость различать по нашей терминологии лично-свободное и служебное право. Вплотную к этой мысли подходил и Еллинек, когда говорил об «индивидуальных,» и «неиндивидуальных» правах. Но, к сожалению, он не дал ни ясного обоснования такого различения, ни характеристики этих двух видов права. И таким образом эта ценная и верная мысль затерялась в совершенно ошибочном учении об органах.

Итак, органы являются субъектами права. Но возникает новый вопрос: чем отличается орган от представителя? Не является ли лишним этот новый термин? И по этому пункту мнения диаметрально расходятся. Одни ученые отрицают совершенно самостоятельность этого понятия и утверждают, что юридическая природа органа совершенно тождественна с природой представителя, так как и тот и другой выражают волю другого лица. Другие авторы настаивают на резком различии этих двух понятий и указывают, что в случае представительства мы имеем дело с двумя лицами, лицом представляемым и его представителем, тогда как в институте органства мы имеем дело лишь с одним лицом, действующим через свои органы, кои сами не являются субъектами.

Наша точка зрения предрешена всем предшествующим. Признав органы субъектами права, мы не можем уже слить их в субъектное единство с той организацией, органами коей они являются. Но это еще не означает, что мы отождествляем понятие органа и представителя. Понятие органа есть понятие внутриорганизационное. Только не выходя из пределов организации можно говорить об органах. И тогда органы мы определим, как субъектов права, кои правопорядком (конституцией, уставом) наделены особыми правами, властью по отношению к другим членам данной организации. Оставаясь в пределах организации никак нельзя утверждать, что органы кого то перед кем то представляют. Ведь совершенной безсмыслицей было бы утверждение, что, напр., правление союза представляет союз перед общим собранием, т. е. что один орган представляет целое перед другим органом. Целое, организация, как таковая, здесь вообще не при чем, о ней вообще не может быть речи; организация ни непосредственно, ни через представителя ни в каких отношениях стороной не выступает. Поэтому органы выражают не чужую

волю, а свою собственную, ибо опять явной абсурдностью звучало бы мнение, что напр. правление и ревизионная комиссия, отстаивая разные точки зрения, одинаково выражали бы «единую» волю союза.

Но как только мы выходим из пределов данной организации, то при отношениях ее с внешним, в юридическом смысле, миром дело меняется. Действуя во вне, органы осуществляют функции представительства и являются представителями другого лица — именно той организации, от имени коей они действуют. Совершенно правильно пишет проф. Магазинер: «Орган есть лицо, имеющее правообязанность (служебное или функциональное право *Н. Д.*) действовать от имени общества и защищать интересы всех его членов... Но чиновник, имеющий право распоряжаться чужим правом при помощи чужих средств и от чужого имени есть не что иное, как представитель того лица, чьим правом он распоряжается. Если же он распоряжается этим правом не по личной воле облапателя права, а по безличному велению закона, то он является законным представителем того, чьи права он охраняет. Орган и есть законный представитель». (Лекции по госуд. праву. Петр. 1919, стр. 101). Ошибка Магазинера состоит лишь в том, что он, не различая внешней и внутренней стороны в действиях органов, делает тем самым это понятие совершенно излишним. Ошибку делает и Лабанд, но она приводит его не к отождествлению понятия органа и представителя, а наоборот к неправильному утверждению, что орган никогда не может быть представителем. «Когда, напр.», пишет Лебанд, «бургомистр какого либо города уполномачивает данного присяжного поверенного на совершение определенного юридического действия от имени города, то он действует как орган города, присяжный же поверенный — как его представитель. Правовое отношение того и другого к городской общине совершенно различно». (Arch. für die civ. Praxis, т. 73, стр. 188). На самом же деле разница та, что бургомистр, оставаясь органом городской общины и уполномачивая прис. поверенного, действует по отношению к нему как законный представитель, а прис. поверенный будет действовать, как представитель добровольный.

Остается заметить, что в государственном и особенно административном праве, как изучающих внутреннюю структуру государств, должно говорить об органах, а не о представителях государства. В международном же праве те же органы могут стать представителями государства, поскольку они вступают в отношения с другими государствами. А таковыми являются монарх, президент, министры, послы и консулы; парламент же никак нельзя назвать представителем, ибо до сего времени он ни в какие внешние отношения непосредственно не вступал.

Наоборот, в гражданском праве мы имеем дело почти исключительно с внешней стороной юридического бытия всяких союзов и организаций, и потому здесь вполне правильно считать органы этих союзов их представителями-. Вряд ли возможен на практике случай обращения во вне к суду двух органов одной организации при споре их между собой, а ведь только при этом условии органы нельзя было бы назвать представителями. Вполне понятны поэтому следующие слова проф. Д. Д. Гримма: «Надо сказать, что во вне деятельность лиц, участвующих в жизни союзных образований, именуемых юридическими лицами, поскольку таковая деятельность проявляется в совершении юридических актов, как то в заключении договоров, принятии наследств и отказов, приобретении и отчуждении отдельных реальных объектов и т. д., всецело регулируется нормами о представительстве» (Догма римского права, Прага 1927, стр. 89).

Выяснив таким образом понятие органов мы можем теперь перейти к вопросу о природе их функций. В литературе, как известно, даны решения самые противоречивые. Обычно, сознательно или бессознательно, действия органов и агентов государства или какого-либо другого союза считают осуществлением ими своих прав, поэтому и принято говорить о правах должностных лиц. А так как все права до сего времени назывались субъективными правами, то и права органов должны были почитаться таковыми же. Это прямо и высказывалось многими юристами, напр., проф. Еллистратовым, Лазаревским. На это противники такой точки зрения возражали указанием, что собственно «права» эти только так называются, но что в действительности это суть обязанности, которые органы и агенты должны выполнять, в этом их смысл и назначение. Не может быть будто-бы права, осуществлени которого требуется и вынуждается. Но если это так, то в отношениях органов между собой, а также в отношениях между органами и частными лицами вообще не остается места для прав, отношения эти оказываются состоящими только из обязанностей, и становится совершенно непонятным, почему всетаки эти отношения называются правовыми? Выход думают найти в создании нового понятия «компетенции». У органов и агентов нет будто бы прав, а есть лишь компетенция, свободная, если органу дан некоторый выбор способов и приемов осуществления своих функций, и связаная, когда такого выбора нет.

Когда же дело доходит до определения этого нового понятия, то оказывается, что одни ученые определяют его через понятие права, другие считают компетенцию обязанностью, третьи наконец и правом и обязанностью. Как найти выход из этих противоречий? Только различение двух видов правомочий указывает его. Мы уже раньше говорили и на нескольких примерах старались показать, что в действиях органов и агентов какого либо союза нельзя отрицать наличие элементов правомочия, что элементы эти вносятся отнюдь не возможностью выбора, а присущи действиям должностных лиц, как таковым. В этом мы, таким образом, согласны с первой точкой зрения и потому, следуя обычному словоупотреблению, будем говорить о правах органов и агентов. Но, само собой разумеется, для нас эти права не являются правами лично-свободными, а правами служебными, т. е. правами, предоставленными субъектам для действий не в собственных, личных интересах. Но так как служебные права являются одновременно и обязанностями, то это позволяет нам признать правоту и второго воззрения.

Как видно из всего изложенного оба направления, игнорируя различие двух видов правомочий, покоятся, собственно говоря, на чисто логической ошибке. Ошибка эта в учении сторонников признания функций органов и агентов их правами состоит в том, что к родовому понятию правомочия оказываются присоединенными признаки свойственные лишь одному виду, откуда и следовал тот вывод, что права органов и агентов суть такие же «субъективные» права, как и права, напр., вступить в брак, получить долг и т. д.

Ошибка противников этой точки зрения как раз обратная и заключается в отрицании наличия рода по отсутствию признаков, свойственных так же только одному виду. Подметив совершенно правильно, что в действиях органов и агентов нет свободы, безотчетности и безответственности, но ошибочно считая эти признаки свойственными всякому праву, направление это с необходимостью приходило к выводу, что действия органов и агентов нельзя рассматривать как осуществление ими прав.

Обычно такой взгляд на природу функций органов и агентов развивают юристы, которые признают государство юридическим лицом. Органы, согласно этому учению будто бы не имеют прав потому, что все действия их сводятся только к осуществлению чужого права, именно прав государства, единственного и подлинного субъекта. Оставляя в стороне вопрос, можно ли признавать государство юридическим лицом во внутригосударственных отношениях, мы не можем не указать, что учение это нисколько не уясняет природы функции органов и агентов. Проблема эта им просто обходится. Действительно, даже допустив, что государство является лицом и что органы и агенты осуществляют не свое право, а право государства, все же остается не решенным вопрос о праве органов на осуществление ими права государства. Это-то право, т. е. право на осуществление чужого права, уже никак не может быть «чужим»

правом для органа. Какое же это право и право-ли вообще? Мы таким образом снова вернулись к исходному пункту.

Итак, орган есть субъект права и осуществляет он свое, а не чужое право. Такова же точка зрения по этому вопросу и проф. Магазинера (Лекции по государственному праву, Петроград 1919, стр. 84-96). Отвечая на поставленный вопрос (т. е. на вопрос: чье право осуществляет орган), Магазинер пишет: «мы не можем, конечно, согласиться с тем, что орган имеет какое то собственное, вне правопорядка стоящее право, а думаем, напротив, что права органа даются ему правопорядком, единым, непрерывным и первоначальным источником всякой власти; этим правопорядком орган и создан, и руководим, и облечен властью. Но трудно вместе с тем согласиться, что эти права, полученные органом для использования во всеобщем интересе, являются не его правом, а чужим правом». Некоторая неуверенность, сказывающаяся в этих словах, проистекает конечно от того, что проф. Магазинер не мог не заметить разницы в характере двух видов правомочия, но ясно осознать это ему не удалось, и потому он предпочитает ближе не определять права органов, да и избегает называть их субъективными, так как, возможно даже не вполне сознательно, он этому термину придает более узкое значаие, т. е. то значение, которое придаем мы термину «право лично-свободное», а не то общепринятое, при котором «субъективное право» тождественно с правом в субъективном смысле этого слова.

В вопросе о юридической природе функции государственных органов наиболее близкое нам учение было развито проф. Hanel'ем, изложенное в его книге «Deutsches Staatsrecht». Проф. Hanel, так же как и мы, различает сферу индивидуальных прав субъекта и сферу тех прав и обязанностей, которые составляют органскую компетенцию. «Права органов», пишет автор, — «не индивидуальные права, а их *органские, профессиональные или должностные*». Но нас отличает от проф. Hanel'я то, что мы считаем права органов только частью того класса или вида правомочий, кои предоставлены субъекту для использования им не в его личных интересах и целях, и тем самым даем и отличительный признак и основу деления правомочий на два вида. У проф. Hanel'я мы этого не найдем, он говорит лишь о правах органов, на что указывает уже его терминология, и не дает ни основания различения, ни характеристики «индивидуальных» и органских прав. Поэтому все учение автора теряет в значительной мере характер научного положения; совершенно верная по существу мысль, лишенная твердого обоснования, не могла получить должного признания.

Остается сказать несколько слов о «компетенции». По существу наиболее правильное определение этого понятия дано

проф. Мейером: «Компетенция есть право и обязанность чиновника или учреждения, в пределах определенного круга действий, осуществлять государственные функции». Сочетание же права и обязанности, как мы уже знаем, является характерней-шей и главной особенностью того вида правомочия, который мы называем «служебным». Компетенция однако не совпадает с понятием служебного права, так как означает одновременно и способности к обладанию служебным правом и способность к их осуществлению. В нем таким образом слиты служебное право и дееспособность, которые вообще никогда не могут быть разобщены. Только в области лично-свободных прав право и дееспособность могут не совпадать. «Компетенция есть сфера специальной право идееспособности», как совершенно верно указывает пр. доц. Рождественский в своей, уже цитированной книге.

V.

Большие разногласия вызывает в литературе и вопрос о природе избирательного права. Попытаемся разобраться в них и, исходя из основной мысли всей настоящей работы — установленного нами различия двух видов правомочия, так или иначе решить этот вопрос.

Не может быть спора о том, что в недавнем прошлом европейских государств борьба за возможность участия в создании государственных органов, за влияние на законодательство, воспринималась именно как борьба за «право», а не как борьба за участие в несении государственных обязанностей, государственной повинности. Не говоря уже о том, что участие это было вполне добровольным, оно давало только выгоды и потому естественно не могло восприниматься как какая то обязанность. Поэтому и в науке до сего времени говорилось об избирательном «праве», а не об избирательной обязанности. И понятно, что право это считалось всеми правом «субъективным», во-первых потому, что никакого другого не знали, во-вторых и потому, что оно действительно весьма похоже на все лично-свободные права: гражданин мог и не воспользоваться этим правом, а если пользовался, то пользовался как хотел, свободно голосуя за того или иного кандидата.

И все же, несмотря на все изложенное, было высказано мнение, что участие в выборах есть по существу не право, а обязанность. Проф. Шершеневич в своей «Общей теории права» (стр. 617) пишет: «Правда, избирательное право, как результат борьбы населения за соучастие во властвовании, конструируется как право, но по существу это повинность. Гражданину дана возможность выбирать властвующих в интересах всего общества,

а не его лично, как это имеет место в праве собственности, в праве требования по обязательствам».

Мнение проф. Шершеневича после войны нашло себе и опытное подтверждение. Известно, что в Чехословакии, например, участие в выборах обязательно, и уклоняющиеся подвергаются штрафу.

С воззрениями Шершеневича вполне согласен и проф. Алексеев. На стр. 448-9 его, уже неоднократно цитированного труда, мы читаем: «На самом деле допустим, что «избирательное право» есть та сфера несвязанных возможностей, которая характеризует правомочия в частном праве. Такое допущение еще было бы возможным в конституционной монархии, так как последняя имеет некоторый постоянный двигательный центр власти в воле монарха. Здесь государственная жизнь не остановится от того, что ни один избиратель не придет к избирательным урнам. Такой факт будет обозначать смерть народного представительства, а не смерть государства, ибо жизнь последнего не зависит исключительно от народного голосования. Совсем иное дело в современных демократических государствах, где к народному голосованию сводятся главнейшие организационные функции власти. Допустим, что германский народ не прийдет к избирательным урнам, не изберет ни парламента, ни президента, — где же тогда будет германская республика. Фактически такая возможность довольно невероятна, но теоретически она всецело вытекает из воззрения на голосование, как на субъективное право. Если голосование есть такое право, то каждый волен воспользоваться им и не воспользоваться, в конце концов все имеют право не голосовать, а следовательно граждане могут свободно умертвить государство, аннулировать его, как аннулируется просроченный вексель, — по частному усмотрению, по нежеланию делать то, что в конце концов можно и не делать, наконец, просто по небрежности»... «А если неиспользование его (избирательного права) ставится кому либо в вину, если манкирование голосованием порождает ответственность, — тогда это уже не право, но публичная служба», заканчивает проф. Алексеев.

Мы считаем, что в приведенном отрывке проф. Алексееву с исчерпывающей убедительностью удалось доказать, что участие в выборах есть государственная функция, выполнение же функции, как это и раньше нами утверждалось, никогда не может быть субъективным , личным или индивидуальным правом кого бы то ни было. Но отсюда вовсе не следует, чтобы голосование не было правом вообще, правомочием. Здесь опять все дело в том, что понятие правомочия или права в субъективном смысле подменяется понятием лично-свободного права, характерными признаками коего, как это нами уже указывалось, яв-

ляются полная свобода в его использовании, безответственность и бесконтрольность. Но остается еще второй вид права в субъективном смысле, тот, который мы называем служебным или функциональным, и именно к этому разряду права и принадлежит избирательное право. Этот второй вид права характеризуется сочетанием элементов права и обязанности, как это было показано нами ранее, оба эти элемента находим мы и в избирательной функции. Наличие здесь элемента обязанности доказано Алексеевым, и нам остается только присоединиться к нему. Наличие же элемента права легко усматривается из следующего. Чтобы принимать участие в голосовании, нужно быть не только к тому обязанным, но и управомоченным; поэтому то лицо, не достигшее совершеннолетия или возраста, с которым правопорядок связывает допущение к голосованию, добровольно принять участие в голосовании не может. Если бы голосование было только повинностью, только обязанностью, то было бы не понятно, почему к исполнению такой обязанности не допускаются и лица не обязанные; не запрещается же поступать добровольно на военную службу, вносить налоги тем, кто к этому на самом деле не обязан, участвовать добровольно в трудовой повинности и т. д. Почему же к избирательной повинности не допускаются те, кто голосовать не обязан. Да потому, что для участия в голосовании нужно быть не только обязанным, но и управомоченным, а правомочие это предоставляется далеко не всем.

Таким образом и в случае голосования мы имеем полную аналогию с любыми действиями органов и агентов государства, анализу коих были посвящены предыдущие страницы. Иначе и быть не может, так как во всех случаях мы имеем дело с государственными функциями, юридическая природа коих всегда одна и та же. Участвуя же в голосовании, избиратель действует в качестве органа.

И действительно, гражданам предоставляется возможность участвовать в голосовании не для осуществления, конечно своих личных интересов; выбирая, он должен действовать в интересах всеобщих, правда руководствуясь при этом собственным пониманием и личной оценкой этих интересов. Поэтому напр., продажа своего голоса, т. е. использование своего права явно в личном интересе и может рассматриваться как преступление. Если же видеть в избирательной функции лично-свободное право, как это делалось до сих пор, то остается совершенно непонятным, почему собственно нельзя продавать свой голос, и почему продажа его считается преступлением. С нашей точки зрения ответ ясен: потому, что участие в голосовании не есть право лично-свободное, подлежащее бесконтрольному распоряжению субъекта этого права.

VI.

Перейдем теперь из области государственных функций в область частного права. Несмотря на то, что частное право гораздо тщательнее разработано, все же в нем есть много отделов, можно сказать, совершенно не освоенных теорий. К числу таких принадлежит, напр., и институт так называемых «пожертвований с определенной целью», по французски «la fondation».

Известно, что до сего времени не дана никем более или менее удовлетворительная конструкция этого института. В отношениях, возникающих в связи с таким пожертвованием, никак не удается указать субъекта, коему принадлежало бы право собственности на пожертвованное имущество. Таковыми, конечно, не являются лица, которые этим имуществом так или иначе пользуются (теория дестинатариев Иеринга и др.). Больница ведь не принадлежит больным, школа учащимся, музей посетителям. Не принадлежат эти имущества и лицам, ими управляющим, как не принадлежит, напр., пожертвованный и предназначенный на стипендию студентам университета капитал ректору этого университета, как больница не принадлежит старшему врачу и т. д.

В поисках выхода из создавшегося положения было даже высказано мнение, что такие имущества следует считать самостоятельными субъектами права. Это уже полная бессмыслица: как известно, имущество есть совокупность прав и обязанностей; поэтому утверждения, что имущество может быть субъектом означает ничто иное, как признание того, что право может быть субъектом самого себя.

Не спасает положения и выдвинутое проф. Бринцем понятие «целевого имущества». Бринц различает два вида имуществ, именно: имущества личные и имущества целевые, т. е. предназначенные на особые цели; первое имеет своим субъектом определенное лицо, принадлежит ему; второе — не принадлежит никому, оно бессубъектно. И эту теорию нужно признать несостоятельной: бессубъектное имущество также невозможно, как невозможно бессубъектное право или обязанность; это логический и юридический «nonsens».

Причина всех этих неудач нам совершенно ясна; она все та же — неразличение двух видов права. Все изложенные теории с поразительной настойчивостью ищут субъекта, который был бы носителем лично-свободного права, права собственности на пожертвованное с определенной целью имущество. И конечно не находят просто потому, что здесь нет лично-свободного права, а потому не может быть и его носителя. Во всех подобных случаях мы имеем дело исключительно со служебным правом. Все такие имущества действительно на праве собственности,

т. е. лично-свободном праве никому не принадлежат; Бринц в этом совершенно прав, но это отнюдь не означает, что они вообще бессубъектны. Субъектами служебного права на такие имущества и будут те лица или учреждения, которые по завещанию или закону управомочены в указанных пределах ими распоряжаться, не изменяя их назначения, их цели. Лица эти могут сменяться; душеприказчика, или судью, к которым поступило после смерти имущество, могут, напр., заменить особый комитет по разпределению стипендий из завещенного капитала, или вновь созданное правление музея, если капитал был завещен на устройство такового и т. д. Но ни на один момент имущество это не делается бессубъектным. Прекратившееся со смертью завещателя лично-свободное право заменяется вновь возникшим у другого лица служебным правом на то же имущество.

Поэтому мы принимаем выдвинутое Бринцем понятие целевого имущества и условимся под ним понимать имущества, на лично-свободным праве определенным лицам физическим и юридическим не принадлежащие. У Бринца, как известно, деление имуществ на личные или целевые было предназначено для замены деления субъектов на лиц физических и юридических, так как последние им не признавались. В этом мы за ним не последуем; понятие юридического лица мы считаем нужным и законным и подлежащим сохранению, так как признание целевого имущества в значительной мере освобождает проблему юридических лиц от тех трудностей, с которыми проблема эта была до сих пор связана.

Произведенный анализ еще раз показывает, к каким невероятным трудностям приводит невыдержанность и сбивчивость терминологии. Все дело сводится, как видим, опять к подмене родового понятия правомочия видовым понятием так наз. «субъективного права».

VII. *)

Переходим к вопросу о делении права на публичное и частное. Не излагая всех существующих по этому поводу воззрений, мы прямо выскажем нашу точку зрения. К публичному праву мы относим, во-первых, нормы, регулирующие отношения между государствами, во-вторых, нормы, определяющие взаимоотношения между государственными органами и агентами,

*) Глава о юридической природе государства не могла быть помещена по причинам техническим в настоящем сборнике.

Но во избежание недоразумений считаем необходимым дать основные положения этой главы.

Государство является бесспорно субъектом права в международных отношениях. Но во внутригосударственных отношениях

и, наконец, в-третьих, нормы, регулирующие отношения между частными лицами с одной стороны и государственными органами или агентами с другой, когда последние выступают в качестве носителей власти и когда права и обязанности сторон предусмотрены непосредственно правопорядком, или, короче говоря, отношения власти и подчинения.

К частному же праву будут нами отнесены во-первых, все нормы, касающиеся отношений между частными лицами, а во-вторых, нормы, регулирующие отношения частных лиц и государственных агентов, когда отношения эти вытекают не в силу требования непосредственно правопорядка, а из договора между агентами и частными лицами и когда, следовательно, отношения эти лишены характера властных отношений.

Предлагаемое деление отнюдь не претендует на новизну. Наоборот, можно сказать, что в данном случае наша точка зрения полностью совпадает с воззрениями большинства теоретиков, так и с делением, принятым на практике.

Еще в начале нашей работы мы указали, что деление норм на публичные и частные не должно смешивать с делением правомочия или права в субъективном смысле на право лично-свободное и право служебное или функциональное. Это даже, так сказать, «терминологически» невозможно, ибо что могло бы означать такое словосочетание, как напр. «лично-свободная норма» и «служебная или функциональная норма». Оба деления совершенно самостоятельны, в них различны как предмет, так и основание деления. Поэтому одна и та же норма, не меняя своего характера, может определять правоотношения, в которых мы будем иметь то личное, то служебное право в зависимости от того, в собственном или не в собственном интересе действует активный субъект.

Правда, в области публичного права мы весьма редко встретим тот вид правомочия, который мы называем лично-свободным. Пожалуй, кроме права на получение пенсий и всякого рода пособий из государственных средств, сюда ничего больше не может быть отнесено. И это потому, что те многочисленные «основные права граждан» обычно считавшиеся главными «публичными субъективными правами», как то право на всякого рода свободу, новейшими теоретиками (проф. Завадский, Алексеев) совершенно справедливо относятся к частным правам, а не публичным. Единственным основанием причислять их к публичным являлось то обстоятельство, что права эти нарушались большей частью органами и агентами государства, да пожалуй еще тот факт, что декларировались они в первых разделах государственной конституции. О достаточности такого основания распространяться не приходиться.

Но малочисленность публичных лично-свободных прав не должны служить оправданием к смешению обоих делений.

* * *

В заключении нашей работы мы хотели бы еще указать как близки были к нашей точке зрения некоторые авторы. Близость эта послужит лучшим доказательством тому, что отстаиваемая нами точка зрения не есть только проявление желания сказать новое слово, выдумать что-либо свое, оригинальное, а является наоборот попыткой синтеза и логического завершения мыслей, высказанных ранее другими авторами.

В основной нашей установке, в различии нами двух видов правомочия, мы стоим, пожалуй, ближе всего к Л. И. Петражицкому. Близость эта обнаруживается даже в терминологии. Как известно проф. Петражицкий предложил новое деление права на право лично-свободное и социально-служебное или на право децентрализованное и право централизованное. К этому делению он пришел путем анализа характера властных отношений. Проф. Л. И. Петражицкий различает два вида этих отношений, а именно: власти ховяйския и власти социальные. Под первыми он понимает, «подлежащие свободному пользованию со стороны господина для своих *личных* имущественных или других целей или интересов»; под социально-служебными же такие «с которыми сочетаются обязанности заботиться о благе подвластных или об общем благе известного общественного союза (семьи, рода, племени и т. п.) и которые подлежат осуществлению в пределах этой обязанности и как средство ее исполнения» (Теория права и Государства, т. I, стр. 200).

Может показаться с первого взгляда, что в этих суждениях сказывается полное совпадение точки зрения проф. Петражицкого и нашей. На самом же деле это не так. Мы исходим во-первых не из характера власти, а из характера правомочия, что конечно не одно и то же и что позволяет нам распространить наше деление и на отношения, лишенные властного характера; во-вторых, мы говорим не о социальном служении, а просто о служеб-

---

оно субъектом быть не может, как не может быть субъектом собственного устава любая организация, любое юридическое лицо частного или публичного права. Кроме того, если признано, что органы государства являются субъектами права, то государство уже тем самым не может мыслиться как лицо во внутригосударственных отношениях. И в имущественных, частно-правных отношениях государство не является лицом, субъектом имущественных прав. Так называемое «казенное» имущество, не есть имущество принадлежащее особому субъекту «казне», а является тем, что мы называем «целевым имуществом», к управлению коим призваны органы государства, и которые распоряжаются этим имуществом попредоставленному им служебному праву.

ности, и благодаря тому признак совершения действий в собственном и не в собственном интересе становится действительно ясным отличительным признаком двух видов правомочия, в то время, как понятие «социальности» характеризующее социально-служебное право проф. Петражицкого, необходимой ясностью и отчетливостью не обладает. В силу этого и приложение обоих схем, проф. Петражицкого и нашей, не дает тождественных результатов.

При нашем делении, напр., правомочие представителя попадает в разряд служебных или функциональных прав, тогда как по схеме проф. Петражицкого оно должно быть отнесено к правам лично-свободным, ибо действия в интересах отдельного, частного лица вряд-ли можно считать действиями социальными.

И, наконец, третьим и пожалуй наиболее важным отличием служит то обстоятельство, что наше различение двух видов правомочия не заменяет деления норм на публичные и частные, тогда как проф. Петражицкий именно взамен этого деления, не выдерживающего по его мнению критики, и создал свое новое деление права на лично-свободное и социально-служебное. Но переход от различения двух видов властных отношений к различению двух видов норм является, по нашему мнению, логически неоправданным скачком с одного объекта деления на другой, т. е. с деления права в субъективном смысле к делению права в смысле объективном.

И поневоле встает вопрос, не является-ли этот переход главной причиной тому, что схема проф. Петражицкого не была принята другими авторами и не нашла последователей.

Наше деление полностью совпадает с различением, которое устанавливает проф. Н. Н. Алексеев в очерке своем «Обязанность и право», помещенном в X номере «Евразийской хроники».

Н. Н. Алексеев указывает, что имеются два типа правоотношений: один тип, в котором наблюдается «случайное, внешнее, механическое сочетание прав и обязанностей», и второй, — в коем мы имеем «внутреннее, органическое сочетание прав и обязанностей», в котором собственно «право превратилось в правообязанности».

Примерами первого могут служить большинство отношений из области частного права. Так собственник управомочен к совершению всякого рода действий по отношению к своей собственности,но он обязан уважать такое же право других собственников; так продавец имеет право на получение установленной цены за проданную вещь и в то же время обязан передать эту вещь и т. д. Здесь собственно право и обязанность касаются не одного действия, а двух или нескольких, при чем совершение или несовершение одного действия рассматривается как право, а совершение или несовершение других,как обязанность. Примерами второго вида правоотношений являются многие отношения из области публичноправной. Здесь одно действие является одновременно и правом и обязанностью. О том, что такое соединение права и обязанности возможно, мы уже много говорили в начале этой работы. Мысль эта высказывалась уже многими авторами. Таково было мнение проф. Петражицкого, Завадского, Магазинера и др. Для большей убедительности сошлемся еще на проф. Д. Д. Гримма. В своих лекциях по догме римского права (стр. 132), проф. Гримм пишет: «Необходимо иметь в виду, что противоположение общих форм и конкретных отношений управомоченности и долженствования и корреспонденции ему противоположения субъективных прав и субъективных обязанностей или повинностей не имеет абсолютное, а только относительное значение. Ибо на практике не существует ни абсолютных прав, не сопроваждающихся никакими обязанностями, ни абсолютных обязанностей, без всяких прав. Вопрос лишь в том, какой из этих элементов в данной комбинации преобладает. В одних случаях, напр., в праве собственности преобладает элемент управомоченности, факультативности совершения соответствующих действий, по сравнению с которым момент долженствования, облигаторности, обязательности совершения (или несовершения) известных действий, отступает как бы на задний план, намечая лишь пределы, которыми ограничивается управомоченность или субъективное право лица. Наоборот в других случаях (напр., в институте воинской повинности или налоговой и в соответствующих конкретных отношениях) выдвигается как раз момент долженствования, а момент управомоченности или субъективного права в свою очередь играет лишь второстепенную роль, определяя пределы, где кончается долженствование и вновь признается встречное право обязанного лица — Бывают и такие случаи, в которых оба момента являются равнозвучащими, в которых субъективные права и обязанности так тесно переплетаются и взаимно обусловливают друг друга, что отдавать предпочтение одному из означенных моментов перед другими представляется затруднительным». К сожалению проф. Гримм не использовал эту мысль для установления определенных типов правоотношений, ограничившись лишь примерами и общими замечаниями. От его взгляда ускользнуло и то обстоятельство, что важен не момент преобладания, а способ сочетания права и обязанности, т. е. как раз то, что так удачно подметил проф. Алексеев. Наше разделение является только дальнейшим развитием его схемы. Мы не могли не заметить, что при «случайном, внешнем, механическом» сочетании права и обязанности мы иеем дело с несколькими действиями, из которых совершение одних является правом действующего, совершение других — его обязанностью, тогда как при органическом сочетании перед

нами одно или несколько действий, при чем осуществление каждого из них является одновременно правом и обязанностью. В этом собственно и состоит «органичность». Нужно-ли добавлять, что «органическое» сочетание права и обязанности и есть как раз тот вид права, который мы называем служебным или функциональным и что механическое соединение их на одной стороне возможно лишь в отношении права лично-свободного.

Н. Дунаев

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕВРАЗИЙСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
1921-1931
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЕВРАЗИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев. Статьи: Петра Савицкого, П. Сувчинского, кн. Н. С. Трубецкого и Георгия Флоровского. София 1921, с. 125 + VII.

С выхода в свет этого сборника и ведет свое начало евразийство. В предисловии выражена мысль о всемирно-историческом призвании России:

«Мы чтим прошлое и настоящее западно-европейской культуры, но не ее мы видим в будущем... С трепетной радостью, с дрожью боязни предаться опустошающей гордыне, — мы чувствуем, вместе с Герценом, что ныне «история толкается именно в наши ворота». Толкается не для того, чтобы породить какое-либо «зоологическое» наше «самоопределение», — но для того, чтобы в великом подвиге труда и свершения Россия так же раскрыла миру некую общечеловеческую правду, как раскрывали ее величайшие народы прошлого и настоящего».

В этом же предисловии выявлена религиозная и церковная установка евразийства:

«Мы не отказываемся определить, — хотя бы для самих себя, — содержание той правды, которую Россия, по нашему мнению, раскрывает своей революцией. Эта правда есть: отвержение социализма и утверждение Церкви».

Названные установки подвергаются разработке в отдельных статьях сборника. Религиозно-церковный вопрос затронут в статьях Г. В. Флоровского («Разрывы и связи», «О народах не-исторических»). Статью «Хитрость разума» тот же автор

посвящает философскому опровержению западного рационализма. Под это определение попадает у него и философия Бергсона:

«Кости щелканье сухой» слышится явственно даже в поэтической философии жизни самого, быть может, яркого выразителя современного интуитивизма — Бергсона... генетически этот выдающийся противник ratio является, ведь, прямым продолжателем французской философской традиции, восходящей в конечном счете к великим рационалистам — Декарту и Мальбраншу; у последнего можно неожиданно встретить прямые предвосхищения самых, казалось бы, «модерных» идей Бергсона».

Две статьи П. Н. Савицкого («Поворот к Востоку» и «Миграция культуры») рассматривают вопрос о передвижении в сторону востока (в пространства Евразии) культурных средоточий современности. Н. С. Трубецкой, в своих работах («Об истинном и ложном национализме» и «Верхи и низы русской культуры»), занят проблемами созидания русской культуры. В основу истинного национализма он кладет два положения: «познай самого себя» и «будь самим собою». Их применение на практике должно устранить в жизни не-романогерманских народов вредоносное и противоестественное слепое подражание европейцам. Обнаружению неблагоприятных последствий такого подражания автор посвящает красноречивые страницы. Во второй из названных статей Н. С. Трубецкого, имеющей подзаголовок: «Этническая база русской культуры», кладутся основания этнографическому учению евразийцев. На основании большого конкретного материала Н. С. Трубецкой приходит к следующим выводам:

«Та культура (в смысле общего запаса культурных ценностей, удовлетворяющих материальные и духовные потребности данной среды), которой всегда жил русский народ, с этнографической точки зрения представляет из себя совершенно особую величину, которую нельзя включить без остатка в какую-либо более широкую группу культур или культурную зону. В общем, эта культура есть сама особая «зона», в которую, кроме русских, входят еще некоторые угрофинские «инородцы», вместе с тюрками волжского бассейна... Русские вместе с угрофинами и с волжскими тюрками составляют особую культурную зону, имеющую связи и с славянством и с «туранизмом» Востоком, причем трудно сказать, которые из этих связей прочнее и сильнее».

Основания хозяйственно-географического учения евразийства даны в статье П. Н. Савицкого: «Континент-Океан (Россия и мировой рынок)». — Рассматриваемый сборник произвел впечатление на русскую читающую публику по обе стороны рубежа, между прочим, широтою того культурного фронта, который был в нем развернут и который, начинаясь в основных вопросах религиозного мировоззрения, доходил до конкретных проблем этнографии и хозяйственной географии.

Эта широта культурного фронта была достигнута путем согласованного сотрудничества представителей различных специальностей (Г. В. Флоровский — богослов и философ; Н. С. Трубецкой — языковед и этнограф; П. Н. Савицкий — экономист).

На путях. Утверждение евразийцев. Книга вторая. Статьи: Петра Савицкого, А. В. Карташева, П. П. Сувчинского, кн. Н. С. Трубецкого, Георгия В. Флоровского, П. Бицилли. Берлин 1922, с. 356.

В сборнике обращает на себя внимание философско-публицистическая статья Г. В. Флоровского: «О патриотизме праведном и греховном». Она занимает центральное место в сборнике. В ней поставлен вопрос об отношении евразийцев к революции:

«Как бы ни относиться к программе большевиков в смысле ее соответствия реальным потребностям исторической жизни, необходимо признать верность руководившего ими инстинкта: они поняли, что нужно ломать и созидать наново». Ими «учтена собственная ритмика жизненной стихии».

В терминах позднейшего учения евразийцев это означает, что коммунисты воплотили в себе закономерность «первой фазы революции». Г. В. Флоровский подвергает резкой критике политические установки эмиграции:

«В основе ходячего «неприятия» революции лежит в сущности «антиисторический» постулат действовать так, как будто с определенного момента жизнь и история остановились и в некотором хронологическом интервале «ничего не случилось», так что грядущую деятельность надо примыкать к какому-то, произвольно выбираемому, моменту прошлого, а не опирать ее на то конкретное сочетание сил и возможностей, которые реально сложатся ко времени настоящего «открытия действий».

Г. В. Флоровский выставляет требование «базировать свои дальнейшие пожелания и попытки на изменившемся лике земли». — Именно на исполнении этого требования и построена выработанная в последующие годы политическая программа евразийцев. В статье Г. В. Флоровского впервые (в евразийской литературе) дана историческая оценка «белого движения»:

«Попытною не считаться с жизнью, попыткой пойти на пролом было «белое» движение, и здесь именно коренился его неизбежный неуспех... оно родилось из... стремления внести мир и лад в разъярившиеся исторические стихии одной формальною энергией воли, одною дисциплиною, одним темпераментом власти».

Эти утверждения тогда же вызвали ожесточенную полеми-

ку с евразийцами в эмигрантской печати. Это не помешало многим молодым и деятельным участникам бывшего «белого движения» стать евразийцами.

По указанию Г. В. Флоровского, преодоление революции лежит в религиозной плоскости:

«Жить и действовать в Церкви, творить свое дело в духе Христовом, исходя из религиозного восприятия жизни, — вот единственный путь, которым возможно выйти из исторических тупиков, образовавшихся среди развалин рухнувшей жизни. Великая Россия восстановится лишь после того, как начнет созидаться русская православная культура, — и только православное дело, творчество в духе и под сенью Церкви есть в наши дни праведное русское дело».

Невнятна статья на общую тему П. П. Сувчинского («Вечный устой»). Две других статьи того же автора берут темы из истории литературы: «Знамение былого (о Лескове)» и «Типы творчества (Памяти А. Блока)». Сами по себе они интересны. Но о б щ е й евразийской концепции истории русской литературы (и тем более — литературы других народов Евразии) из них никак нельзя вывести. Эта область и до сих пор осталась неразработанной в евразийстве, что несомненно является большим пробелом. — В статье П. Н. Савицкого «Степь и оседлость» впервые в евразийской литературе поставлен вопрос о влиянии монголов на Россию. Автор отмечает исключительное значение этого вопроса для понимания русской истории: «без «татаршины» не было бы России». — Работа П. М. Бицилли «Восток» и «Запад» в истории Старого Света» заключает в себе попытку рассмотреть историю Старого Света, как целостный и согласованный процесс, проникнута стремлением установить вселенские горизонты. Сотрудничество П. М. Бицилли в евразийских изданиях продолжалось не долго. Но то стремление, которое выражено в его статье, не иссякло в евразийстве. И как раз сравнительно недавно, уже в 1930-м году, в совсем другой области, в лингвистике, оно привело к замечательному открытию Р. О. Якобсона. Именно рассматривая Старый Свет, как целое, Р. О. Якобсон пришел к установлению существования е в р а з и й с к о г о я з ы к о в о г о с о ю з а.

Е в р а з и й с к и й В р е м е н н и к. Н е п е р и о д и ч е с к о е и з д а н и е п о д р е д а к ц и е й П е т р а С а в и ц к о г о, П. П. С у в ч и н с к о г о и к н. Н. С. Т р у б е ц к о г о. К н и г а т р е т ь я, Б е р л и н 1923, с. 174.

Третий сборник евразийцев значительно слабее предыдущих. Впрочем, и здесь есть несколько работ, явившихся зерном дальнейшего развития. В статье П. Н. Савицкого «Подданство

идеи» есть некоторые мотивы, послужившие потом, в углубленном и систематизованном виде, к обоснованию евразийского учения об идеократии (творцом которого является Н. С. Трубецкой). В статье этого последнего: «Вавилонская башня и смешение языков» впервые установлено (на материале языков Балканского полуострова) научное понятие «языкового союза». С большим публицистическим подъемом написана статья «Оппонентам евразийства» безвременно скончавшегося многообещавшего молодого евразийца Я. Д. Садовского.

. . . . . .

С 1923 г. основной ствол евразийских изданий, представленный тремя только что рассмотренными сборниками, начинает пускать отдельные ветви, в виде книг и изданий, посвященных специальным вопросам.

Р о с с и я и л а т и н с т в о. С б о р н и к с т а т е й. С т а т ь и: П. М. Б и ц и л л и, Г е о р г и я В е р н а д с к о г о, В. Н. И л ь и н а, А. В. К а р т а ш е в а, П е т р а С а в и ц к о г о, П. П. С у в ч и н с к о г о, к н. Н. С. Т р у б е ц к о г о и Г е о р г и я В. Ф л о р о в с к о г о. Б е р л и н 1923, с. 219.

Сборник направлен против ведущейся в России и эмиграции пропаганды католичества (латинства, по греко-византийской и древне-русской терминологии). Авторы стремятся уяснить установку Православной церкви в ее вековом споре с католичеством. Вступительная статья в сборнике написана П. Н. Савицким. Следующая за ней статья П. П. Сувчинского «Страсти и опасность», в смысле доступности для читателя, является, пожалуй, наиболее удачной из работ этого автора, помещенных в евразийских изданиях. Впрочем, в своей значительной части она отклоняется от темы сборника, будучи посвящена вопросу о расколе в среде русской церкви, возникшем в связи с появлением «живой церкви». В исторической части сборника основное значение имеют работы: «Католичество и Римская Церковь» П. М. Бицилли и «Соединение церквей» в исторической действительности» Г. В. Вернадского. Первая из них представляет собою краткий очерк истории Римской Церкви, причем изложение сгруппировано вокруг генезиса ватиканского догмата (о непогрешимости Папы). Работа Г. В. Вернадского дает историю «уний». Первая глава («Попытки унии в XIII-XV веках») интересна, между прочим, и как этюд по культурной и церковной истории Византии, в которой Г. В. Вернадский является специалистом. Из прочего содержания сборника отметим содержательную статью В. Н. Ильина: «К проблеме литургики в Православии и Католицизме».

С. Л. Франк. Религия и наука. Берлин 1925, с. 23.

С. Л. Франк — один из выдающихся русских философов, сложившийся задолго до революции (по первоначальной своей специальности он — экономист). Соприкасается он с евразийцами только некоторыми сторонами своего мировоззрения. Это не лишает рассматриваемую брошюру большого значения для евразийства. Основные выводы ее выражены в следующих словах:

«Вопреки распространенным представлениям, не только наука не противоречит религии, и вера в науку — вере в религию, но дело обстоит как раз наоборот: кто отрицает религию, по крайней мере основную мысль всякой религии — зависимость эмпирического мира от некоего высшего, разумного и духовного начала — тот, ставаясь последовательным, должен отрицать и науку, и возможность рационального мирообъяснения и совершенствования... высокомерное чувство: «я все знаю, и мне все ясно, и я презираю с высоты своей просвещенности всякие тайны и загадки, которых для меня уже больше нет», — это чувство, основа презрения к религиозному сознанию и насмешки над ним, есть характерная черта невежды — человека, который не только ничего, как следует, не знает, но не знает даже того, что он ничего не знает».

Брошюра С. Л. Франка, непосредственно после выхода ее в свет, возбудила большой интерес среди учащейся молодежи в СССР.

Л. П. Карсавин. О сомнении, науке и вере (три беседы). Берлин 1925, с. 31.

Л. П. Карсавин, специалист по «всеобщей истории», исследователь истории духовных движений средневековой Италии, принадлежит, как и С. Л. Франк, к числу ученых, определившихся задолго до начала евразийства. В этом — его отличие от таких лиц, как Г. В. Флоровский, Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, которые складывались, как ученые, в самом процессе развития евразийства. В 1925-28 гг. Л. П. Карсавин сделал целый ряд существенных вкладов в развитие евразийства. Рассматриваемой брошюре придана форма передачи нескольких бесед, происходящих в общей камере «одной из большевицких тюрем». В этих беседах излагается учение Православной церкви. Оно вложено в уста человека возраста «за 60», «живого и деятельного», которого камера «полу-шутливо, полу-уважительно» называла «отцом». Сначала происходит его беседа с посаженным в эту же камеру комсомольцем. Затем он разъясняет положения веры другому заключенному — «учителю», пожилому интеллигенту «из тех, которые любили себя называть «эволюционными

социалистами». Он «много думал и читал, знаком был и с философией, раньше преподавал где-то литературу». «Отец», опровергая сомнения «учителя», показывает существование несомненного в мире:

«Сомневаться можно только на основе несомненного или из несомненного... Сомнение — недостаток достоверности, которая богаче, полнее сомнительного. В сомнительном, как таковом, нет несомненного, хотя сомнительное есть и таково потому, что есть несомненное. Таким образом в самом сомнении достоверное, несомненное, безусловное всецело человека не покидает. И только потому человек может сомневаться и рассуждать. И ясно: не рассуждениями не доводами разума постигается несомненное, так как сами рассуждения, сами доводы разума возможны только потому, что оно есть... мы не могли бы думать о сомнительном бытии, если бы не были двуедины с бытием несомненным, т. е. Богом».

В этом смысле разъясняет «отец» и церковный догмат о Богочеловечестве. Однако, говорит он,

«не смешивайте безусловного бытия с обусловленным... И Иисус Христос отличен от других людей по Своему Богочеловечеству не только количественно, а и качественно... только через обоженность одного и «первого» из всех возможны единство и обоженность всех. Иначе бы получилось не всеединство, а множество без достаточного единства».

Брошюра написана живо и стоит на значительной философской высоте.

А. С. Хомяков. О Церкви. С примечаниями, предисловием и под редакцией Л. П. Карсавина, Берлин 1926, с. 89.

Во вступительной статье Л. П. Карсавин развивает основные свои богословские идеи:

«Ведь даже стоящему вне Церкви ясно, что либо существует первооснова истинного, сама уже не обосновываемая, либо совсем нет истинного, а следовательно не может быть и отрицания его и сомнения в нем».

Здесь же дается православное понимание авторитета:

«Ни у кого, кроме вселенской Церкви, нет безошибочности: ни у святых отцов и учителей, ни у церковной иерархии, которой церковь по преимуществу поручает учительство».

Согласно православному учению, вера христианина должна быть свободной:

«Разве Церковь стремится нас сделать несмысленными младенцами или рабами подзаконными? Разве она ревнует не о нашей свободе? А конечно, только от рабов можно требовать слепой веры, и только рабам пристало в страхе закрывать глаза и затыкать уши.

Бог даровал нам разум, и Церковь просвещает его не для того, чтобы мы от него отказывались и чтобы мы в н е ш н е отсекали наши сомнения. Надо не бежать от сомнений, а преподбеждать их. Если мы живые члены Церкви, мы стремимся и к знанию, которое в ней не может быть таким ограниченным и не свободным, как вне ее. Если церковность наша — полнота нашей жизнедеятельности, наша церковность немыслима без постижения церковной догмы, в которой заключены начала всяческого знания».

В брошюре перепечатано основное богословское сочинение А. С. Хомякова (известного славянофила и незаурядного поэта) «Церковь одна», написанное в середине 1840-ых годов и впервые опубликованное в 1864 г. В примечаниях Л. П. Карсавиным даны параллельные места из других трудов и писем автора. Здесь мы не можем делать выписок из творений А. С. Хомякова. Скажем только, что богословствование его — животрепещуще современно. На идеях его совсем не отразился тот факт, что он писал в обстановке царской России. То значение, которое он приписывал в церковной жизни не иерархии, но самому церковному народу, более отвечает условиям церкви гонимой, чем церкви «господствующей»:

«Мученик, умирающий за истину, судья, судящий в правду (не ради людей, а ради самого Бога), пахарь, в скромном труде постоянно возносящийся мыслью к своему Создателю, живут и умирают для поучения братьев; а встретится в том нужда — Дух Божий вложит в их уста слова мудрости, каких не найдет ученый и богослов».

Теперь в России запрещено, самым непререкаемым и действительным образом запрещено ученому быть богословом. И Дух Божий вкладывает слова мудрости в уста пахарей и пастухов. Богословствование А. С. Хомякова — это пророческое приуготовление Церкви и мысли ее к тем испытаниям, которые она переживает в настоящее время. Таким отвечающим современности характером богословских сочинений А. С. Хомякова и объясняется перепечатка части их Евразийским книгоиздательством. Что же касается Л. П. Карсавина, то в названных здесь работах своих он обнаруживает себя в качестве продолжателя и ученика А. С. Хомякова.

Л. П. Карсавин. Церковь, личность и государство. Париж 1927. с. 30.

Автор определяет государство «как самоорганизацию грешного мира».

«Поскольку государство объединяет грешный мир, как таковой, и действует в порядке и характере его греховности, оно необходимо от Церкви отличается. Если оно при этом все же стремится руководствоваться истинами и идеалами Церкви и совершенство-

ваться, оно может называть себя христианским. Такому наименованию нечто соответствует, однако не действительность, не полнота действительности, а только стремление и упование стать христианским». «Итак, неизбежны ли, необходимы ли в государстве насилие, кары, войны? — Эмпирически, в меру греховности людей и государств, неизбежны и необходимы. Оправданы ли они нравственно и религиозно этой необходимостью? — Нет, не оправданы, но всегда и при всяких условиях остаются грехом». Однако, в войне, напр., «совершается и такое великое добро, как жертва своей жизнью за других. Поэтому, если государство отказывается от войны во имя правды так, что оно отказывается от защиты и осуществления своей правды, оно лжет и отказывается во имя бездействия, т. е. совершает грех не меньший, чем война. Если оно отказывается от войны в расчете на чудо Божие,— оно испытывает Бога и, помимо этого греха, совершает еще тяжкое преступление, подвергая опасности благо и жизнь подданных и их потомства».

Брошюра Л. П. Карсавина проникнута признанием бездействия за тягчайший грех. Отношение между Церковью и государством намечены в следующих чертах:

«Действуя в своей сфере, государство само и свободно стремится на основе церковного миросозерцания выработать свою государственную идеологию, ставить и решать свои чисто эмпирические задачи. Оно не подчиняется Церкви, как церковной организации, ибо, как и Церковь, знает в чем задача Церкви и в чем его, государства, задачи. И чем глубже сознание этого, тем интимнее взаимоотношения Церкви и государства, тем менее поводов для недоразумений. В идеале предстает согласованное действие Церкви и государства, их, говоря термином византийских канонистов, «симфония»... Православное государство должно о д н о с т о р о н н и м своим актом признать н е з а в и с и м о с т ь Церкви от государства и свою обязанность эту независимость гарантировать, сделать действительною и всячески охранять. Это значит, во-первых, что признается независимость и свобода Церкви в ее деятельности религиозно-богословской, учительной, нравственно-воспитательной, миссионерской и культовой. Это значит, во-вторых, что за Церковью признается право обличения и нравственного наставления ее чад и самого государства... Это значит, в-третьих, что государство не вправе т р е б о в а т ь от Церкви благословения его и его актов, хотя сама Церковь может по собственному свободному разумению такие благословения даровать. Это значит, в-четвертых, что государство признает правомочным юридическим лицом церковное общество, возглавляемое церковной иерархией».

Для того, чтобы независимость Церкви не оставалась пустым словом, необходимо, по мысли автора, обеспечить полную независимость ее от государства в финансовом отношении. — Рассматриваемая брошюра Л. П. Карсавина послужила основой для составления раздела, посвященного вопросам религии, в программе евразийства, выработанной в 1927 году (о ней см. ниже).

. . . . . .

Приведенные выше замечания дают представление об изданной евразийцами литературе по религиозно-церковным во-

просам. Нужно заметить, что этим вопросам посвящены и другие, неупомянутые в предыдущем статьи в Евразийских Сборниках, изданных в 1921-23 годах — напр., статьи: П. Н. Савицкого «Два мира» и Н. С. Трубецкого «Религии Индии и христианство» в сборнике «На путях» (1922).

Евразийский Временник. Непериодическое издание под редакцией Петра Савицкого, П. П. Сувчинского и кн. Н. С. Трубецкого. Книга четвертая. Берлин 1925, с. 446.

Сборник заключает в себе несколько основоположных для евразийства научных работ. К числу таковых нужно отнести статью Н. С. Трубецкого «О туранском элементе в русской культуре». Автор, на примере языка, музыки, устной поэзии, обычного права и религии, устанавливает общие черты туранского психологического типа:

«сравнительную бедность и рудиментарность материала и полное подчинение простым и схематичным законам, спанвающим материал в единое целое и придающим этому целому известную схематическую ясность и прозрачность».

В дальнейшем Н. С. Трубецкой прослеживает влияние туранского типа на русский, в частности, на жизненный и религиозный уклад Московской Руси. Как в статье П. Н. Савицкого 1922 г. (см. выше), здесь ставится вопрос о значении монгольской традиции в образовании русского государства:

«Московские цари далеко не закончив еще «собирания русской земли», стали собирать земли западного улуса великой монгольской монархии: Москва стала мощным государством лишь после завоевания Казани, Астрахани и Сибири. Русский царь явился наследником монгольского хана. «Свержение татарского ига» свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву. Чудо превращения татарской государственности в русскую осуществилось благодаря напряженному горению религиозного чувства, благодаря православному подъему, охватившему Россию в эпоху татарского ига. Это религиозное горение помогло древней Руси облагородить татарскую государственность, придан ей новый религиозно-этический характер и сделать ее своей. Произошло обрусение и православление татаршины... Массовый переход татарской знати в православие и на службу к московскому царю явился внешним выражением этой моральной притягательной силы».

Начало собственно-исторической разработки вопросов монгольского ига в евразийской литературе обозначено помещенной в том же сборнике статьею Г. В. Вернадского «Два подвига св. Александра Невского». Одним из

подвигов князя было мудрое подчинение Орде. К статье Г. В. Вернадского примыкает талантливо написанная книга Н. А. Клепинина «Святой и благоверный великий князь Александр Невский», изданная в Париже в 1927 г. — Истории государственных идеалов в Древней Руси посвящена статья М. В. Шахматова «Государство правды». Некоторый намек на евразийскую трактовку вопросов истории художественной литературы содержит очерк кн. Д. П. Святополк - Мирского «О Московской литературе и протопопе Аввакуме (два отрывка)». К сожалению как об этом было уже сказано выше, этот намек так до сих пор и остался намеком. Опубликованная в 4-ом «Временнике» обширная богословская статья Л. П. Карсавина посвящена рассмотрению, с православной точки зрения, католического догмата «Filioque», а также догмата о «непорочном зачатии», вопроса о предопределении и др. А. С. Хомяков, в своих богословских работах, обычно не вдается в критику «Филиокве» по существу, но рассматривает его как областное церковное новшество, являющееся нарушением церковного единства. Л. П. Карсавин, в упомянутой статье, стремится восполнить этот пробел, давая анализ догмата «филиокве» именно по существу. Заключительные слова статьи говорят о судьбах Русской Церкви:

«Она гонима—тем больше надо радоваться и веселиться. Она «умирает» — ничто не оживет, если не умрет. Перед нами темное будущее. Но разве оно страшно, разве оно не прекрасно во всей загадочности своей и не зовет нас, если с нами Христос? И если умирает Русская Церковь, так для того, чтобы еще здесь, на земле ожить в новом, более совершенном и прекрасном бытии. Ведь она, церковь Первозванного апостола, хранит дух апостола Любви и, верная ему, должна пребыть пока не приидет Иисус Христос».

Остальные статьи сборника посвящены, по преимуществу, политическим и экономическим вопросам. В очерке П. Н. Савицкого «Хозяин и хозяйство» мы находим первый набросок евразийской государственно-частной системы. Написанная им же вступительная статья сборника дает общее изложение евразийской доктрины, в том виде, как она сложилась к 1924 — 1925 гг.

И. Р. Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока. Берлин 1925, с. 60.

Подписанная инициалами брошюра представляет собою дальнейшее развитие и систематизацию мыслей, выраженных в статье Н. С. Трубецкого «О туранском элементе в русской культуре» (см. выше). Только здесь мысли эти выражены, по

преимуществу, в публицистической форме и не свободны от явных преувеличений. Очень убедительно описан процесс «замены ордынского хана московским царем» (XIV-XV вв.). В ярких чертах намечен тот строй «бытового исповедничества», который автор находит в Московской Руси XVI-XVII столетий. Реформа Петра изображена в полемических и публицистических чертах:

«Знаменитые «птенцы гнезда Петрова» были, большею частью, отъявленными мошенниками и проходимцами, воровавшими несравненно больше прежних приказных. То обстоятельство, что, как с грустью отмечают русские историки, «у Петра не нашлось достойных преемников», было вовсе не случайно: действительно — достойные русские люди и не могли примкнуть к Петру».

В даваемой автором критике «европеизации» — много правильного: период «европеизации» породил в русском народе культурную рознь между «верхами» и «низами», которой не было ранее. Правильно и другое его утверждение — о том, что период коммунистической власти представляет собою видоизмененное продолжение того же периода европеизации. Но вполне обоснованный, по мнению пишущего эти строки, призыв к построению новой и самостоятельной культуры России-Евразии осложнен в этой брошюре не нужным и не плодотворным отталкиванием от чужих культур.

С. Л. Франк. Основы марксизма. Берлин 1926, с. 49.

Опыт критического рассмотрения марксизма. Не лишен существенных недостатков. Так, напр., тот социальный строй, который сложился в СССР к середине 1920-х годов, автор в нескольких местах называет «социалистическим», между тем сами коммунисты считали и считают его не более, как «переходным» к социализму. Это несоответствие ослабляет, конечно, аргументацию С. Л. Франка. Но в общем, брошюра С. Л. Франка должна быть признана одной из самых проникновенных, осведомленных и остроумных критик марксизма. Автор отнюдь не является однозначным защитником капитализма. Наоборот, как представитель религиозного начала, он в энергичных словах обличает его «бездушие». Но

«не потому человек обездушел, что жил в капитализме, а потому он попал в плен капитализму, что обездушел».

В главе, посвященной «экономическому учению марксизма», он отмечает, что взамен класса собственников в СССР возник новый класс «управляющих и советских служащих, заведующих и командующих производством».

«Какой же вывод мы можем отсюда сделать? Вывод состоит в том, что установить совершенное экономическое рабство, отнять класс людей, заведующих производством и организующих его, и сделать так, чтобы рабочий, занятый физическим трудом, получил бы весь продукт, выработанный при его участии, вообще невозможно».

В главе о «социологическом учении марксизма» С. Л. Франк возводит теорию экономического материализма ко «внутреннему духу капитализма, с большой чуткостью уловленному» марксизмом. «Мня преодолеть этот строй», марксизм, в названной теории, «обнаруживает свою внутреннюю плененность им».

«Экономический материализм совсем не есть новая и абсолютная истина, возвышающаяся над буржуазно-капиталистическим строем и выражающая новую прогрессивную идеологию будущего; он есть, напротив, попытка увековечить и прославить в качестве вечной основы человеческой жизни то духовное и нравственное разложение, которыми отмечена буржуазно-капиталистическая эпоха... экономический материализм есть ничто иное как культ буржуазности».

Говоря о «нравственных и религиозно-философских предпосылках марксизма», С. Л. Франк утверждает, что

«марксизм безнадежно запутался между аморализмом и самым явным моральным догматизмом. Он должен одновременно проповедывать и аморализм, доказывая, что «добра» вообще, «нравственного долга» не существует, что мерилом поведения может быть только материальный интерес, и суровый моральный ригоризм, требующий от человека самопожертвования, чувства долга и абсолютного бескорыстия в служении — «классу», из которого делается какая-то химера, высасывающая человеческую кровь».

Еще на одно интересное обстоятельство указывает С. Л. Франк:

«В самом деле, что является, согласно экономическому материализму, последним двигателем исторического развития? ведь «сама экономическая жизнь — производна от развития способов производства, т. е. от технического развития». Совершенствование же техники «есть в сущности процесс чисто умственного развития, с течением которого возникают все новые технические изобретения... технические знания и умения зависят сами от знаний естественно-научных, а последние, в свою очередь, от общего умственного развития данной эпохи. Так марксизм, пытаясь доказать, что «не сознание определяет бытие, а общественное бытие людей определяет их сознание», совершив большой круг, в конечном итоге приходит к выводу, что общественное бытие все же определяется человеческим сознанием, и притом сознанием чисто умственным, именно состоянием человеческих знаний и умением их развивать и совершенствовать. Это есть, следовательно, чисто интеллектуалистическая теория общественной жизни, совершенно в духе наивных представителей XVIII века... если всем остальным содержанием своего учения экономический материализм протестует против этого наивного миросозерцания, то в лице своей последней основы он сам является его выразителем».

В то же время история самого коммунизма показывает автору, что

«экономический строй вообще не имеет того определяющего значения, которое ему приписывает марксизм, а наоборот, в самой значительной мере, определен началами нравственного и идеологического порядка».

Евразийство (опыт систематического изложения), 1926, с. 78.

В «Опыте» сильно представлена богословская часть, выдержанная в тонах и мотивах богословствования Л. П. Карсавина (см. выше). Для автора брошюры «Русская Церковь, уже существующая, как средоточие русской культуры, есть цель всей этой культуры». Языческие вероисповедания Евразии он трактует, как «потенциальное Православие». Русское Православие,

«признавая себя обладающим полнотою истины в одном из ее аспектов, не отрицает других существующих и возможных ее аспектов, как иных выражений Православия, но хочет их свободного самораскрытия, дабы приблизилась его собственная полнота в христианском взаимообщении с ними. Оно не замыкается в себе, но в своем саморазвитии призывает к свободному саморазвитию и других».

В философской части брошюры выдвинуто на первый план понятие «симфонической личности», «как живого и органического единства многообразия». Такой личностью признается, между прочим, и «субъекть культуры» — в том числе культуры русско-евразийской:

«Сознание того, что религиозно - культурное единство, объемлемое и выражаемое русским государством, шире, чем русская в узком смысле этого слова культура, должно получить некоторое терминологическое закрепление. Надо выбирать между уже вошедшими в употребление понятиями: неудобопроизносимым четырехбуквием СССР и Евразией».

В дальнейшем изложении автор делает существенный вклад в евразийское учение о «правящем слое». Целью революции он считает именно «создание нового правящего слоя». Евразийское действие должно базироваться «на нынешнем правящем слое», но в то же время, в жизни этого слоя, —

«коммунистической идеологии противопоставляется принципиально иная — сознательно-религиозная, православная и не отлеченно - интернациональная, а евразийско-русская».

Посвященный экономическим вопросам отдел брошюры стоит под знаком понятия «функциональной собственности». Это понятие автор брошюры считает специально присущим России.

«Несмотря на все старания императорских университетов, римское право у нас в России не привилось. Его принципы были слишком чужды духу русского правосознания. Это сказалось и в сфере основной проблемы — проблемы собственности... В России собственность всегда рассматривалась с точки зрения государства... Понятие собственности строится не индивидуалистически, не из индивидуума, которому потом аналогизируется государство, но — политически, т.е. из симфонического целого, которое, как единство, и утверждает всякое индивидуальное право... Мы говорим о «функциональной собственности» или о «собственности, обусловленной государством», т. е. проистекающей от него и связанной с обязанностью по отношению к нему».

Произведенное автором рассмотрение, с этой точки зрения, вопросов торговли и промышленности довольно беспомощно. Интереснее трактовка земельного вопроса. По мнению автора, в области земельного права государство

«должно удержать за собою захваченное большевиками «доминиум директум» и всемерно охранить землевладение, как «доминиум утиле».

Эти положения евразийцы разделяют и в настоящее время.

Евразийство (формулировка 1927 г.), 1927, с. 15 (ин кварто).

Составленная в Москве в феврале 1927 г. политическая и экономическая программа евразийства. Из ее семи разделов в наибольшей мере устарел к настоящему времени раздел VII-ой: земельное дело. Предшествующие шесть разделов озаглавлены: I — Россия — особый мир, II — Евразийство против коммунизма, III — Политический строй, IV — Вопросы религии, V — Национальный вопрос, VI — Промышленность. Этот последний является довольно подробной формулировкой принципов евразийской «государственно-частной системы хозяйства».

Евразийский Временник. Непериодическое издание под редакцией Петра Савицкого, П. П. Сувчинского и кн. Н. С. Трубецкого. Книга пятая. Париж 1927, с. 309.

Одно из удачнейших, в научном смысле, евразийских изданий. Отметим, прежде всего, статьи на исторические темы. В очерке «Иран, Туран и Россия» востоковед-евразиец В. П. Никитин дает общий обзор истории Ирана, его борьбы с Тураном и отношений того и другого с Россией. Попутно он набрасывает характеристику иранского психологического типа, восполняя

тем самым характеристику туранцев, данную Н. С. Трубецким (см. выше).

«Наряду с туранскими чертами, вошедшими в наш духовный облик и выражающимися в чувстве дисциплины, в боевых добле-стях, прямоте и выносливости, удали, равно как и в известной пассивности в области гражданского устроения, и нелюбви к отвле-ченному мышлению, мы может быть откроем некоторые черты ира-нского типа, особенно в области религиозных переживаний, склон-ности к мистике, постоянном душевном брожении и неудовлетво-ренности, дроблении на секты; сюда же быть может относится и на-ша непримиримость, излишняя приверженность к программам в плоскости политической».

Целый ряд весьма интересных замечаний содержит статья Г. В. Вернадского «Монгольское иго в русской истории» — вто-рое звено в занятиях этого талантливого историка монгольским периодом русской истории (о первом см. выше). Здесь очерчены мировые масштабы Монгольской Империи, отмечена та помощь, которую Золотая Орда фактически оказала Москве в ее борьбе с Литвою (способствуя тем самым возвышению и укреплению Москвы), рассказана история русско-православной епископ-ской кафедры в Сарае (столице золотоордынских ханов). Эта история свидетельствует о несомненных, хотя и не осуществив-шихся возможностях, открывавшихся в раннюю эпоху суще-ствования Золотой Орды. Первые ханы ее колебались между Исламом и Православием. По некоторым сведениям, Сартак, сын Батыя, был православным.

«Если бы монгольские ханы, потомки Джучи, приняли право-славие, то вероятно не Москва, а Сарай оказался бы духовным и культурным центром русской земли».

Статья С. Г. Пушкарева «Россия и Европа в их историче-ском прошлом» дает цельную, разработанную концепцию рус-ского исторического процесса в его отличиях от европейского. В русской истории отсутствует присущая Западу стадия «го-родского хозяйства». Что касается аграрной эволюции, то в России она шла

«от частной собственности к земельно-передельной общине, которая достигла своего наибольшего развития именно в новое время, в XVIII-XIX вв., когда на Западе частная земельная соб-ственность окончательно восторжествовала над общиной».

Понятие феодализма, в точном смысле этого термина, не применимо к России. Зато

«в своей исторической роли русская верховная власть должна была быть и в действительности была большим творческим фактором, гораздо более всеобъемлющей и активной общественно-организую-щей силой, чем монархические правительства европейского Запа-да».

Во всех областях жизни «мы шли своим особым путем, от-личным от путей Запада, а не являлись лишь наиболее отста-лой страной Европы». — В статье «К украинской проблеме» Н. С. Трубецкой прослеживает украинские корни современной русской культуры, делающие ее способной к выполнению обще-русских функций. Работа Л. П. Карсавина «Феноменология революции», рассматривая закономерности «революции вообще», намечает общую социологию революции. Революция—это

«длительный процесс вырождения правящего слоя, уничтоже-ния его национальною государственною стихнею и создания нового правящего слоя... Первая фаза революции должна быть определе-на как вырождение и гибель старого правящего слоя». Его симп-том — «исчезновение у правящего слоя воли к власти». В вырожде-нии этом соучаствуют и «оппозиционные слои прежней правящей среды». «Безвольные и бессильные, новые временные правители за неспособностью управлять начинают излагать свою идеологию»

Наступает анархия — вторая фаза революции.

«Для революционной «анархии» характерно не то, что не при-знается власть, а то, что всякий признает себя властью и считает себя ее носителем... Революционная анархия — как бы доведенный до своего предела, но утративший начало иерархии феодальный строй, не анархия, а панархия». В этот момент «воля народа» и новой государственности обнаруживается... как появление на по-верхности народной жизни слоя насильников, честолюбцев и фана-тиков. Это и можно обозначить, как третью фазу революции. Госу-дарственность, утратив историческую и религиозную санкцию, проявляется в виде грубой, но потому именно импонирующей си-лы, снова разделяя на «управляющих» и «управляемых».

Это есть фаза «революционного правящего слоя», который нужно отличать от «нового правящего слоя», как временный и переходный, хотя он уже и заключает в себе элементы этого последнего.

«Фанатики уже нуждаются в действенном оправдании своей идеологии. Они, значит, уже усумнились в ней, но, как люди мало образованные и мало развитые, нуждаются в эксперименте... Социально-хозяйственная сторона жизни аргументирует быстрым, убедительным и для доктринера образом — нищетой и голодом. Здесь есть неодолимые ни для какой идеологии границы экспери-ментирования... Таким образом встает последняя проблема револю-ции. — Народ должен найти свое настоящее правительство, которое бы в тесной связи с правящим слоем взяло в свои руки выпадающую из рук его главарей власть и, покончив с революционным доктри-нерством, осмыслило новую государственность и само появление свое во главе ее ясными и конкретно-действенными идеями».

В пятой книге «Евразийского Временника» выступил автор, работ которого не было в предшествовавших евразийских изда-ниях, но которому предстояло внести исключительно большой вклад в евразийское дело: это — государствовед, бывший про-

фессор Московского Университета — Н. Н. Алексеев. Его статья говорит о «советском федерализме». Общее заключение автора таково:

«Форма федерализма, которую можно назвать советской обладает целом рядом преимуществ, не достаточно оцененных современной политикой. Политика эта при оценке советского федерализма, обычно, строит такого рода суждения: советский федерализм не похож на федерализм западный, а потому он вообще не может быть назван федерализмом и должен быть признан системой дефектной и ничего не стоющей. При этой оценке громадную роль играет скрытое допущение: западный федерализм и есть настоящий, нормальный, следовательно, то, что от него отступает, должно быть признано отступающим от норм. Между тем условия политической жизни России и государств западной культуры — весьма различны, и нормальное для Запада может быть совершенно непригодным у нас. Безумием было бы, если бы будущее правительство России повторило по отношению к децентрализационным процессам все ошибки самодержавия и все ошибки белого движения. Но не меньшим безумцем нужно считать и того, кто, придя в современную Россию, применяя в ней федералистическую программу в стиле старого российского радикализма, попытается перестроить Россию на манер Соединенных Штатов Америки... Для реальной политики за точку отправления следует принять не заветы отжившних эпох и не радикальные бредни, но ту фактическую ситуацию, которая уже создалась, ту постройку, которая стихийно выросла. Извлекая положительные стороны стихийно создавшегося, мы приобретаем наиболее надежную опору для построения будущего здания Российского государства».

. . . . . .

Несколько ранее пятого «Временника» и вслед за ним появился в свет целый ряд евразийских монографий, посвященных различным отраслям знания.

П. Н. Савицкий. Географические особенности России. Часть I-ая. Растительность и почвы. Прага 1927, с. 180 + таблица + карта.

Обоснование географической теории евразийства. Автор стремится систематизовать научные данные о географическом своеобразии России. Привлекая, по преимуществу, материал ботанической географии и почвоведения, он отмечает, что данные эти складываются в особую «периодическую и в то же время симетрическую систему зон». — Евразийская концепция русской географии связана с изменением географической терминологии. Если Россия не принадлежит ни Европе, ни Азии, но составляет особый географический мир, то отпадают такие понятия, как «Европейская Россия» и «Азиатская Россия», и отвечающие им («европеиская часть СССР» и т. д.) Поскольку нужно различать пространства, лежащие к западу и к востоку от Урала, следует говорить о «Доуралье» и «Зауралье».

Россия — особый географический мир. I. Континент — океан. II. Географический обзор России — Евразии. Прага 1927, с. 68.

Значительная часть этой брошюры занята сокращенным и переработанным изложением только что рассмотренной книги П. Н. Савицкого. Более подробно обосновано учение о «месторазвитии». Этим термином П. Н. Савицкий обозначил социально-историческую среду, рассматриваемую неотрывно от содержащей ее территории. В брошюре исследуется соотношение между культурою и географической обстановкой:

«культурные традиции оказываются как бы вросшими в географический ландшафт, отдельные месторазвития становятся «культурно-устойчивыми», приобретают особый, специально им свойственный «культурный тип»... Порукой тому, что отмечаемые черты обособленности и целостности Евразии имеют не только географическое, но также историческое значение — служит русская историософия. В вековом развитии, независимо от тех или иных географических определений... она пришла к пониманию России, как особого исторического мира. Не может быть случайным совпадение географического и историософского вывода, возникших независимо друг от друга: Россия, как особый географический и Россия, как особый исторический мир. Этим совпадением в чрезвычайной мере обосновывается категория «месторазвития», стяжение географических и исторических начал».

Кн. Н. С. Трубецкой. К проблеме русского самопознания. Собрание статей. Париж 1927, с. 94 + два приложения.

В этом «собрании» перепечатаны две статьи Н. С. Трубецкого из сборника «Исход к Востоку» и одна — из «Евразийского Временника». Около половины книги посвящено очерку: «Общеславянский элемент в русской культуре», впервые здесь напечатанному. В предисловии автор излагает свое понимание учения о личности, лежащего в основе евразийства:

«Наряду с частночеловеческими личностями существуют личности многочеловеческие, как частнонародные, так и многонародные. Всякая личность конкретно проявляется в каком-нибудь определенном своем состоянии или индивидуации... Но в то время как у частночеловеческой личности имеются только разновременные (т. е. сменяющие друг друга во времени) индивидуации, у личности многочеловеческой, наряду с разновременными, имеются и одновременные (т. е. сосуществующие друг с другом в одно и то же время) индивидуации; такими одновременными индивидуациями многонародной личности являются отдельные входящие в нее народы... Для ученых, принимающих участие в евразийском движении, главным предметом описательного исследования является та многонародная

личность, которую в совокупности с ее физическим окружением (территорией) евразийцы называют «Евразией»... Здесь нужна... определенная организация совместной работы специалистов по самым разнообразным отраслям знания, причем целью этой работы является известный научный и философский синтез, который, оформляясь во время самой научной работы и благодаря этой работе, в то же время сам определяет собой не только смысл, но и направление как всей совместной работы в целом, так и каждого отдельного специального исследования».

Организация такой работы и составляет одну из научных задач евразийства. — Статья Н. С. Трубецкого об «Общеславянском элементе в русской культуре» имеет дело с вопросами языка, в которых автор (лингвист по специальности) и видит звено, соединяющее Россию со славянством. Основной тезис этого очерка гласит:

«Современный русский литературный язык получился в результате прививки старого культурного «садового растения» — церковнославянского языка к «дичку» разговорного языка правящих классов русского государства. Русский литературный язык в конечном счете является прямым преемником старославянского языка, созданного св. славянскими первоучителями в качестве общего литературного языка для всех славянских племен эпохи конца праславянского единства».

Он является не только прямым, но и единственным преемником этого языка. Во всех других частях славянского мира непосредственная языковая традиция пресеклась. Непрерывность более чем тысячелетней традиции дает русскому языку большие преимущества пред другими славянскими языками. Эти преимущества и перечисляет Н. С. Трубецкой. Назовем одно из них:

«Благодаря органическому слиянию в русском литературном языке церковнославянской стихии с великорусской, словарь русского языка необычайно богат. Богатство это заключается именно в оттенках значения слов. Целый ряд представлений допускает по русски два словесных выражения: одно по своему происхождению церковнославянское, другое — русское. Оба словесные выражения дифференцируются в своем значении, притом, либо так, что церковно-славянское слово получает торжественный и поэтический обертон, отсутствующий у соответствующего русского... либо так, что церковнославянское слово имеет переносное и более абстрактное, а русское — более конкретное значение... Трудно указать нечто подобное в каком-нибудь другом литературном языке... Нет полной аналогии между русским литературным языком и романскими, напр., французским. Правда, во французском языке мы находим использование латинских словарных элементов, напоминающее использование церковнославянских элементов русским языком... Но, все же, аналогия неполная... Французский язык гораздо сильнее отличается от латинского, чем русский от церковнославянского... Французский язык не может так свободно дублировать чисто французские слова соответствующими латинскими, как это делает русский язык, напр., заменяя русские слова з о л о т о, б е р е г церковнославянскими з л а т о, б р е г исключительно из стилистических соображений, для придачи речи торжественно - поэтического оттенка... Русский литературный язык в отношении использования преемства древней литературноязыковой традиции, стоит, повидимому, действительно особняком среди литературных языков земного шара».

Н. С. Трубецкой указывает на причины, которые препятствуют русскому языку стать языком междуславянского общения, к чему он, казалось бы, призван, в силу традиции, которую представляет. Но автор подчеркивает, что русский язык является центром радиации в среде не-славянских языков евразийского мира. Очерк заканчивается следующими словами, ярко характеризующими общую историческую и историософскую концепцию автора:

«Россия-Евразия — страна наследница. Волею судеб ей приходилось наследовать традиции, возникшие первоначально в иных царствах и у иных племен, и сохранять преемство этих традиций даже тогда, когда породившие их царства и племена погибали, впадали в ничтожество и теряли традиции. Так, унаследовала Россия традицию византийской культуры и хранила ее даже после гибели Византии, унаследовала Россия и традицию монгольской государственности, сохранив ее даже после впадения монголов в ничтожество, наконец, унаследовала Россия и церковнославянскую литературноязыковую традицию и хранила ее в то время, как гибли один за другим древние центры и очаги этой традиции. Но любопытно при этом, что все эти унаследованные Россией традиции только тогда становились русскими, когда сопрягались с Православием. Византийская культура с самого начала была для русских неотделима от Православия, монгольская государственность только оправославившись превратилась в Московскую, а церковнославянская литературноязыковая традиция только потому и могла принести плод в виде русского литературного языка, что была церковной, Православной».

Г. В. Вернадский. Начертание русской истории. Часть первая. С приложением «Геополитических заметок по русской истории» П. Н. Савицкого. Прага 1927, с. 264 + три карты.

Один из немногих, выпущенных в пореволюционные годы научных курсов русской истории. К сожалению, до настоящего времени появилась в свет только первая часть, обнимающая политическую и дипломатическую историю России от древнейших времен до 1914 г. — Вторая часть должна быть посвящена культурной и социальной истории. Судьбы русского народа Г. В. Вернадский прослеживает на широком фоне истории Евра- зии, в чем, в первую очередь, и заключаются новаторские тенденции его курса. Изложение начинается не с Рюрика, но со ски-

фов и сарматов. Особые параграфы посвящены готам и гуннам и затем «роли кочевых народов в истории». «Вся история Евразии есть последовательный ряд попыток создания единого всеевразийского государства». Состояние политической раздробленности неизменно сменяется в истории Евразии единой государственностью (Скифская держава, Гуннская, Монгольская и Российская империи). На этом основании Г. В. Вернадский и намечает «схему периодической ритмичности государствообразующего процесса России-Евразии». В истории первоначальной Руси очень интересно трактована фигура Святослава (X век):

«Захватом Дунайских Болгар Святослав осуществлял широкого размаха политический план: он становился преемником кочевых императоров, использовавших обмен между странами и народами «твердой культуры». Географически, империя Святослава достигала в этот момент большего протяжения, чем империя авар (потому что в руках Святослава был не только нижний Дунай, но и нижняя Волга) или империя хазар (обратно: не только Волга, но и Дунай). Империя Святослава по своему протяжению может быть сравниваема только с гуннской империей IV-V вв. Только к стихии кочевнического степного государства Святослав прибавил еще стихию лесного государства (Киев — Новгород)».

Центральное место в книге Г. В. Вернадского занимает история XIII-XV вв. Автор излагает ее в теснейшей связи с историей Монгольской Империи, а затем Золотоордынской державы, в состав которой входила тогдашняя Русь. Этот метод дает ему возможность нарисовать цельную, а в значительной степени и новую картину происходившего в эти века на пространствах России-Евразии. Очень ярко характеризована историческая обстановка 1440-х годов, когда, в связи с упадком Золотой Орды, татары массами стали переходить на службу к Московскому Великому князю Василию Василиевичу:

«Татары приходили прежде на Русь, как агенты чуждой и далекой татарской власти; теперь татары хлынули на Русь в качестве постоянных служилых людей своей русской великокняжеской власти... Лишь более дальновидные из московских государственных людей понимали, что такой массовый прием татар на московскую службу означает собою в сущности конец Орды. Для большинства москвичей, наоборот, такое неожиданное легальное завоевание московского великого княжества татарами представлялось неслыханным бедствием и нарушением прав и преимуществ коренных русских людей: отсюда те жалобы, которые раздавались против Василия».

Г. В. Вернадским даны интересные характеристики Ивана Грозного, патриарха Филарета (отца царя Михаила Романова), Алексея Михайловича, Петра Первого. Своеобразна трактовка 1812 г.:

«Организация социальной революции в России — была единственным шансом успеха для Наполеона при... «скифской» системе войны (со стороны русских). Занятие Москвы Наполеоном могло бы иметь значение лишь для создания центра русской социальной революции. Наполеон, однако, не захотел или не сумел организовать русскую социальную революцию».

Русской дипломатии «петербургского» периода Г. В. Вернадский ставит в укор ее европоцентризм:

«Среди руководителей русской дипломатии за последние два века бывали блестящие таланты..., но деятельность их приверженностью к европейской дипломатической системе увлекалась в сторону от основного русла русского исторического развития».

В приложенных к книге Г. В. Вернадского «Геополитических заметках по русской истории» П. Н. Савицкий рассматривает русскую историю, «как процесс создания России-Евразии, как целостного месторазвития». В этой связи, геополитический облик Российского государства сопоставляется им с обликом Джучиева улуса (Золотоордынской державы). Уясняется тождественность геополитической плоти одного и другого. Московское государство рассматривается, как одно из царств-наследников Золотой Орды. Русское же расширение XVI-XIX вв. трактуется, как восстанавливающее, в основных чертах, ту геополитическую конъюнктуру, которая существовала в эпоху расцвета Золотоордынской державы.

«Так, принадлежность к золотоордынской геополитической системе и сопряженность с нею красной нитью проходит в русской истории последних столетий. В этом смысле значение Золотоордынской державы в русской истории не меньше значения империи Карла Великого в истории европейской».

Н. П. Толль. Скифы и гунны. Из истории кочевого мира. Прага 1928, с. 80 + пять карт.

История скифов и гуннов, тесным образом связанная с историей России-Евразии, в течение долгого времени была неизвестна широкому кругу русских читателей, ввиду отсутствия доступного ее изложения. Этот пробел и призвана восполнить книга молодого историка и археолога — Н. П. Толля. Она использует данные как греческих и римских авторов, так и китайских хроник, а также весь материал, собранный археологией. В центре изложения стоит, по преимуществу, история гуннов. П. Н. Савицкий так резюмирует содержание книги Н. П. Толля:

«Именно этапы этой эпопеи (истории гуннов) являются стержнем, на который нанизываются отдельные главы этой книги, от II-ой

до V-ой. Отметим исключительное богатство содержанием и драматическую напряженность гуннской истории. Стоящий в начале образ великого завоевателя Мотуна, объединителя восточно-евразийских степей. Судьбы созданной им державы, сначала наполненные успехом, затем все более клонящиеся к упадку. Трагическое метание вождей и масс между подчинением Китаю и борьбой за независимость, часто в условиях голода и холода, неизбежно—с уходом из родных мест. Не подчинившиеся уходят в срединноевразийские степи. Видимая или действительная двухвековая передышка. А затем — ошеломляющий удар на Запад, занятие в несколько лет западно-евразийских степей; несколько позже — Аттилины походы в Европу. История гуннов знаменует собою историческое единство Старого Света. В IV-V вв. бывали моменты, когда гуннские династии господствовали в северном Китае, гунны-эвталиты повелевали восточным Ираном и Северной Индией, западно-гунская держава охватывала причерноморские степи и значительную часть Европы».

П. Н. Савицкий. О задачах кочевниковедения (почему скифы и гунны должны быть интересны для русского?). Прага 1928, с. 26.

Эта брошюра представляет собою попытку систематизовать некоторые данные по истории степных народов. Прежде всего, очерчивается их месторазвитие, «прямоугольник степей», простирающийся от Карпат до Хингана. Описываются отдельные его части, при чем особое внимание уделяется черноморско-степному и китайско-степному рубежу, т. е. тем районам, где степи выходят к берегам Черного моря (на западе) и к пределам Китая (на востоке). Здесь степные культуры в течение долгих веков соприкасались с оседлыми культурами западной и восточной периферии материка. Отмечается единство исторического и экономического быта на всем пространстве степи. Подчеркивается близкая связь, сопрягавшая степных кочевников с культурами северной лесной зоны. Тем создавалось культурно-историческое единство, близкое по своим пределам к очертаниям нынешнего русского мира. Очерк заканчивается следующими словами:

«Есть основания думать, что кочевниковеденье станет, по преимуществу, русской наукой. Но желанны и другие силы. В частности необходимо привлеченье к кочевниковедной работе культурных сил современных кочевых народов. Народы эти должны найти свое место и свою почетную роль в общем деле России-Евразии».

Д-р Эренжен Хара-Давan. Чингис-Хан как полководец и его наследие. Культурно-исторический очерк Монгольской империи XII-XIV века. Белград 1929, с. 232 + карта + иллюстрации.

Очерк истории Чингис-Хана, стоящий в ближайшей связи с идеями евразийцев и написанный ученым калмыком. Книга делится на две части. Первая дает сведения о личности и деятельности великого завоевателя, вторая прослеживает судьбы созданной им державы (в особенности, западной ее части). В общем, в книге весьма удачно скомбинирован материал, позаимствованный из произведений монгольских, персидских, европейских и русских историков. Совершенно особый характер придает повествованию тот факт, что автор непосредственным, бытовым образом знаком с жизнью кочевников. Это позволяет ему в ряде случаев прийти к ценным и убедительным выводам. Ввиду малоизвестности темы, интересна глава: «Болгария и Сербия, как вассалы Монгольской империи». Вообще книга Э. Д. Хара-Давана, написанная просто и живо, может быть с пользою прочтена каждым образованным читателем.

Евразийская Хроника. Выпуск 1-ый. Прага 1925, с. 43. Выпуск II-ой. 1925, с. 74. Выпуск III-ий. Прага 1926. Выпуск IV-ый. Прага 1926, с. 84. Выпуск V-ый. Париж 1926, с. 86 (литографованное издание).

Первые пять выпусков «Евразийской Хроники» были изданы литографским способом. По содержанию своему, некоторые из них вполне стоят на уровне лучших евразийских изданий. Заключающиеся в этих выпусках попытки дать общее изображение сущности евразийства (доклад И. С. Белецкого в выпуске 1-ом, статья «Евразийство» Л. В. Копецкого, записка «Что делать?» в выпуске III-ем, подписанная буквою С) могут служить материалом по развитию евразийских идей в течение 1925-1926 гг. Записка «Что делать?» является предварением упомянутой выше «формулировки 1927 г.». Удачна статья В. П. Шапиловского «Новым оппонентам евразийства» (выпуск II-ой). Несколько работ посвящено «предшественникам» евразийства; таковы очерки: К. И. Флоровской «Леонтьев, как предшественник евразийства» и В. Н. Ильина «Евразийство и славянофильство». К. А. Чхеидзе, в статье «Национальная проблема» (выпуск IV-ый), рассматривает единство геополитической, этнической и культурно-исторической системы, которым обосновывается государственное единство России-Евразии. Он намечает пути евразийского решения национальной проблемы, основанного на «принци-

пиальном признании равноценности всех наций, входящих в состав евразийской системы». Отношению евразийцев к вопросам народного просвещения посвящена записка Л. П. Карсавина «О педагогике» (выпуск IV-ый). В. П. Никитин поместил в «Евразийской Хронике» несколько статей и обзоров по вопросам востоковеденья. Очерк его «Персия в проблеме среднего востока» (выпуск IV-ый) рассматривает историю Персии от начала войны до середины 1920-х годов. Рассказ весьма выигрывает от того, что автор, в качестве Российского генерального консула в Урмии, сам являлся участником ряда описываемых событий.

Евразийская Хроника, под редакцией П. Н. Савицкого, Париж, ин кварто. Выпуск IV-ый, 1926, с. 46. Выпуск VII-ой, 1927, с. 64. Выпуск VIII-ой, 1927, с. 86. Выпуск IX-ый, 1927, с. 102. Выпуск X-ый, 1928, с. 102 (печатное издание).

Выпуски VI-ой и VII-ой, по содержательности своей, скорее уступают литографованным выпускам, чем превосходят их. Только с выпуска VIII-го начинается новый подъем. В нем помещена статья кн. Н. С. Трубецкого «О государственном строе и форме правления», которая обосновывает евразийское учение об идеократии. Этот очерк Н. С. Трубецкого необходимо прочесть всякому, кто хочет основательно ознакомиться с евразийством. В выпуске IX-ом помещена другая, не менее замечательная статья того же автора об «Общеевразийском национализме». Основная тенденция ее усматривается из следующих утверждений:

«национальным субстратом того государства, которое прежде называлось Российской Империей, а теперь называется СССР, может быть только вся совокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемая как особая многонародная нация и, в качестве таковой, обладающая своим национализмом. Эту нацию мы называем евразийской, ее территорию — Евразией, ее национализм — евразийством».

Целая серия работ Н. Н. Алексеева посвящена выяснению особенностей правового строя и правовых традиций России-Евразии. Таковы статьи: «Народное право и задачи нашей правовой политики» в выпуске VIII-ом, «Записка о суде» в выпуске IX-ом, «Обязанность и право» в выпуске X-ом. В первой из них Н. Н. Алексеев, систематизуя имеющуюся литературу, устанавливает особенности русского обычного права. Оно отмечено «правовым субъективизмом»:

«Даже курьезно, что у старых защитников нашего «народного права» можно прямо прочесть те формулы, которые ныне проводятся на Западе школой, так называемою «свободного права» в ее борьбе против юридической схоластики и юридического формализма».

Русское народное правосознание отмечено своеобразной «классовой» точкой зрения:

«обязательства, напр., между одним крестьянином и другим народ наш свято чтил... а вот в договоре с помещиком не считалось предосудительным обязательства и не исполнить».

Вообще в договорном праве «народное правосознание отдает предпочтение нанимаемому перед нанимателем». Исключительное значение в народном праве приписывается трудовому принципу.

«Полная оторванность труда от производственного организма, взгляд на него, как на частное соглашение с нанимателем, как на вопросы только рабочей платы, — все это не уживалось с народными представлениями, что без труда нет и производительной деятельности и что интересы труда в производстве суть интересы органические».

Это объясняет, почему на русской почве смогла утвердиться трудовая теория ценности: здесь намечается совпадение (конвергенция) русского народного сознания и некоторых сторон марксизма.

«Революция осуществила многие начала народного права. Изучая беспристрастно законодательные памятники революции, нельзя не придти к заключению, что они стоят ближе к народному правосознанию, чем законодательство Империи. И это приходится констатировать, несмотря на то, что официальная идеология революции — марксизм — не имела никаких сознательных намерений проводить в жизнь основы русского права».

«Народное право» стоит под знаком нравственных и религиозных воззрений:

«Когда марксизм изживет сам себя, а иначе он и не может быть ликвидирован, тогда революционное право силой вещей вернется к своим народным, религиозным и нравственным истокам».

В статье «Обязанность и право» Н. Н. Алексеев отмечает, что русскому правовому развитию свойственно органическое сочетание права с положительною обязанностью (т. е. не сводящейся только к воздержанию от действий), чего в такой форме не наблюдается на Западе.

В области внешне-политических изучений отметим статью К. А. Чхеидзе: «Лига Наций и государства-материки» (выпуск VIII-ой). В ней он анализует наметившуюся в современности тенденцию к созданию политических объединений материкового масштаба. Россия-Евразия есть сложившееся объединение та-

кого типа. Но о том же идет речь в пан-американском, пан-азиатском, пан-европейском движении. Что касается до нынешней Лиги Наций, то в ней «нужно видеть, по преимуществу, эмбрион правительства.... пан-европейского союза». — Статья В. Т. «Понятие Евразии по антропологическому признаку» (выпуск VIII-ой) установила основы антропологического учения евразийцев.

. . . . . .

В 1928 г. появились в свет две книги о евразийстве на английском языке, принадлежащие перу евразийцев.

Английский Евразиец. Воскресающая Россия. Сводка взглядов и целей новой Партии в России, Лондон 1928, с. 266.

Одно из самых обстоятельных, если не самое обстоятельное из вышедших доселе на иностранных языках изложений евразийского учения. Передача основных тезисов евразийства связана здесь с общим очерком географии и истории России. Две обширных главы посвящены «большевистской России». Географический обзор воспроизводит основные выводы евразийцев по этой части. В отделе, рассматривающем этнографию евразийского мира, отмечены «дружественные отношения», существовавшие и существующие между народами этого мира. В проникновенных словах охарактеризованы идея и факт «святой Руси» (в особенности, в главе «Дух России»). Вообще, во многих местах книга написана с большим поэтическим подъемом. — Кратко, но вразумительно изложена история русского революционного движения. Она является как бы введением к характеристике идей и практики марксизма-ленинизма. Экономическая и политическая программа евразийства очерчена на основании, главным образом, «формулировки 1927 г.» Особая глава посвящена евразийскому пониманию отношений между Церковью и государством и самой природы Церкви. Повторяем, разбираемая книга является одним из лучших изображений евразийства. Нужно, конечно, иметь в виду, что автор ее — англичанин и что изложение носит печать английского духа. При основательном знакомстве автора с евразийством, это обстоятельство дает ему возможность по новому осветить целый ряд вопросов.

П. Н. Малевский-Малевич. Новая партия в России. Лондон 1928, с. 119.

В этой работе, в отличие от книги «Английского Евразийца», почти отсутствует философская и собственно историческая

часть, но зато сделано ударение на политической стороне евразийства. Дано резюме той критики, которую евразийцы выдвинули по адресу белого движения. Подробно изложено учение о «правящем отборе», а также об «идеократии» (см. выше). Подчеркнуто, что и нынешний режим, в некоторых отношениях, подготовляет «идеократический» строй будущего:

«поскольку идея служения входит в коммунистическую систему, даже в ее чисто материалистическом и потому дефективном аспекте, природа этой последней не абсолютно чужда идеократии».

Свои взгляды на самые общие и коренные вопросы культуры П. Н. Малевский-Малевич излагает в следующих выражениях:

«Если вселенская культура не только мечта (а мы глубоко уверены, что она может быть реализована), она должна проистечь из культурного сотрудничества. Должен существовать симфонический гармоничный союз, федерация независимых культур, предоставляющая каждой расе и каждому народу свободу развития. В чем мир действительно нуждается — это в «идеократическом» интернационале, выражающем высочайшие идеалы человечества».

Книга П. Н. Малевского-Малевича сопровождена введением, написанным известным английским публицистом Ланселотом Лоутоном. Приведем некоторые выдержки из этого введения:

«Пересмотр русской истории дал евразийцам возможность формулировать совершенно новое понимание России. Евразийцы — археологи и строители в одно и то же время. Под императорскими руинами и лавою коммунизма они вскрыли фундаменты русской народности, и на этих фундаментах, в свете современных идей, они наметили здание Евразии... их горизонт широк, столь же широк, как сама вселенная; и они воспользовались опытом всего человечества».

Евразийский Сборник. Книга VI. Под редакцией: Н.Н. Алексеева, В. Н. Ильина, Н. А. Клепинина, П.Н. Савицкого и К. А. Чхеидзе. Прага, 1929, с. 80.

В этом сборнике отметим следующие статьи: 1) Н. Н. Алексеев. Евразийство и марксизм. В ней автор противопоставляет евразийство марксизму в областях религиозной, философской и др. В понимании социальной жизни евразийство, в отличие от марксизма, с его «классовой» теорией государства, выдвигает

«значение в жизни человеческих обществ чисто служилых правящих групп, в господстве которых проявляется не односторон-

ний групповой интерес, но нейтральные интересы общественного целого».

2) В. Н. Ильин. О религиозном и философском мировоззрении Н. Ф. Федорова. Общий очерк мировоззрения этого философа (1828-1903), соединявшего глубокое религиозное миропонимание с идеей преображения мира при помощи техники. 3) К. А. Чхеидзе. Евразийство и ВКП (б). Краткая формулировка основных тактических задач евразийства. 4) Я. А. Бромберг. О необходимом пересмотре еврейского вопроса. Автор является поборником еврейского «восточничества», отстаивает необходимость евразийской ориентации духовных сил восточного (т. е. русского) еврейства. 5) Н. А. Клепинин. Материалы к социальной программе евразийства. Попытка применить начала государственно-частной системы к области социального обеспечения.

. . . . . .

Три работы Н. Н. Алексеева посвящены обоснованию политической и экономической программы евразийства:

Н. Н. Алексеев. На путях к будущей России (советский строй и его политические возможности). Париж 1927, с. 78.

Эта брошюра, имеющая большое значение в развитии политических воззрений евразийства, существенна в то же время, как один из немногих объективных юридических анализов советского строя. Обычно суждения эмигрантских юристов бывают окрашены враждою к этому строю. Наоборот, работы юристов советских, все без исключения имеют более или менее официозный характер. Н. Н. Алексеев одинаково свободен от предвзятости в смысле как похвал, так и обличений. Он описывает советский строй, как тот складывается согласно писанной конституции (как известно, не писанная конституция устанавливает фактически режим партиправства):

«Советское государство, в противоположность новейшим европейским демократиям, отправным пунктом своим считает не отдельного гражданина, образующего вместе с другими гражданами неорганизованную массу народа; напротив того советское государство отправляется от первоначальных организованных ячеек граждан, — именно от советов — деревенских, городских, фабрично-заводских ...советская политическая система принципиально отрицает всякое разделение властей и всякую специализацию функций... Исполнительный комитет в промежутки между сессиями съезда советов исполняет все функции этого последнего. Мы говорим о принципе замещения, который столь характерен для советского государства. Любой Исполнительный Комитет вполне замещает съезд советов,

но в свою очередь избранный комитетом его Президиум вполне замещает комитет... Такой порядок отношений между органами незнаком правовому государству нового времени. Если искать сравнений, то нужно обратиться к учреждениям абсолютной монархии. Так, напр., сенат, учрежденный Петром Великим, всецело замещал монарха на время его отсутствия... «Исполнительная власть да подчинится законодательной» — такова основная норма западного конституционализма. «Исполнительный Комитет да будет наиболее сильною властью во всех сферах, даже в делах законодательства» — таков принцип советского государственного строя».

В советском строе, как таковом, Н. Н. Алексеев видит целый ряд положительных сторон, отвечающих потребности России - Евразии в сильной власти.

Н. Н. Алексеев. Собственность и социализм. Опыт обоснования социально-экономической программы евразийства. Париж 1928, с. 83.

Первая часть брошюры представляет собою юридический анализ понятия собственности вообще. Затем рассматривается правовая природа различных проектов социализации (в которых субъектом права собственности являются коллективы — организованные и не организованные). Демонстрируется крайняя спутанность юридических представлений, сказавшаяся в программах и практике русских социалистических партий. Особенно противоречивы воззрения социалистов-революционеров. Они требовали, напр., чтобы земля принадлежала «всему народу», т. е. неорганизованному коллективу, и признавали права собственности за всеми и каждым. Но уже в своих более детальных предположениях, открещиваясь от этатизма (государственного хозяйства), они фактически приходили к его утверждению. В земельном вопросе тот же путь на практике проделали коммунисты. Они сначала провозгласили обращение земли «во всенародное достояние» (в 1917 г.), а затем, последовательными этапами, перешли к резко выраженному этатизму. Н. Н. Алексеев отвергает социализм, как стремление к изменению субъектов собственности.

«Чтобы достигнуть истинного и плодотворного преобразования института собственности, нужно стремиться не к изменению субъектов, но к изменению самой природы института».

Порядок частной собственности должен восполняться деятельностью государства, наделенного положительной миссией и осуществляющего государственно-частную систему хозяйства.

Н. Н. Алексеев. Теория государства. Теоретическое государствоведение. Государственное устройство. Государственный идеал. Париж 1931, с. 188.

Автор прослеживает, как у современных западных народов «пробуждается ощущение государства». Он намечает те методологические требования, которые должны характеризовать теорию государства, в русской ее постановке. Это — освобождение от засилия юридизма:

«общая теория государства должна перестать отожествлять себя с общей теорией государственного права». Необходимо также «преодоление европейского эгоцентризма в теории государства; привлечение в орбиту своих исследований всех возможных типов государств различных культур поможет теории государства увидеть в изучаемых явлениях такие стороны, усмотрение которых закрыто для европейских государствоведов, воспитанных в условиях утраты человеком чувства реальности государства».

Во исполнение первого из этих требований (т. е. ради отыскания широкой социологической базы, чуждой одностороннего юридизма), Н. Н. Алексеев сопоставляет учение о государственной территории с выводами новейшей геополитики и в частности с выдвинутой евразийцами геополитической характеристикой России. Россия-Евразия определяется им, как «государство - мир», в отличие от «государств - волостей», «земель» и т. д. В учение о народе вводится представление о нем, как о коллективной «многочеловеческой» личности. «Ведущий слой» рассматривается, как необходимая принадлежность государства. Нужно отличать «ведущий слой» от «правящей группы»:

«Политически управляющая группа, образующаяся из среды ведущего слоя, ... является распорядителем или «диспозитарием» внешней мощи государства».

Мы не будем излагать здесь тех характеристик нормоустановительной и правоустановительной деятельности государства, закона, государственных функций и их распределения, которые дает Н. Н. Алексеев. Отметим только, что в отделе, посвященном «государственному идеалу», он останавливается на необходимости демотического (народного) характера «идеального» государства, и воплощение демотичности видит в особым образом сконструированной «системе советов». Большое внимание уделено «организации ведущего слоя». Он строится «на принципах общественной самоорганизации».

«Единство ведущего слоя должно покоиться... на единстве духовной жизни, на единстве убеждений и духовных стремлений».

Ведущему слою «должна быть открыта высшая религиозно-философская истина, которой он призван служить и которая не может не объединить его в одно целое. Здесь раскрывается извечный смысл учения Платона о царстве философов, а также и смысл понятия теократии, как государства, высшим принципом которого является верховная из идей — идея религиозная».

Степан Лубенский

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
Вступление.	
В борьбе за евразийство П. Н. Савицкий	1
Научные задачи евразийства П. В. Логовиков . .	53
Своеобычное в русской фольклористике Иван Савельев	65
О кочевом быте Д-р Эренжен Хара-Даван	83
Главы из «Очерка географии России» П. Н. Савицкий	87
Из области русской геополитики К. А. Чхеидзе .	105
Заметки о Ленине Г. Вернадский	115
Эйдократическое преображение науки В. Н. Ильин	123
Власть организационной идеи П. В. Логовиков	129
Под знаком диалектики В. Н. Ильин	135
Время, культура и тело В. Чухнин	147
Еврейское восточничество в прошлом и будущем Я. А. Бромберг	191
Современные задачи правоведения Н. Н. Алексеев	213
К учению о «объективном праве» Н. Н. Алексеев	221
Правомочие и его виды Н. Дунаев	255
Приложение	
Евразийская библиография 1921-1931 С. Лубенский	285

Imp. de Navarre, 8, rue des Gobelins, Paris.